

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

**7/2018**

## Содержание

### ПРОЗА

- Евгений МАМОНТОВ. А потом поедem в Ялту.** Повесть. .... 3  
**Андрей ИГНАТЬЕВ. Облака на том берегу.** Рассказ. .... 109

### ПОЭЗИЯ

- Алексей ИВАНТЕР. «Из тех времен, где Волга-Волга...»** Стихи. .... 102  
**Андрей БОЛДЫРЕВ. Чужих речей абракадабра.** Стихи. .... 118  
**Василий НАЦЕНТОВ. Убитые птицы полей.** Стихи. .... 122  
**Борис КРАСНОВ. Облака на воздушном ходу.** Стихи. .... 126

### ДРАМАТУРГИЯ

- Надежда КУЗНЕЦОВА. Почтальон не приходит в субботу.**  
Пьеса в двух действиях. .... 128

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Геннадий ПРАШКЕВИЧ, Сергей СОЛОВЬЕВ. Дуче.**  
*Главы из книги.* .... 159  
**Владимир СКИФ. С байкальских берегов. О Леониде Бородине.** .... 176

### *Картинная галерея «Сибирских огней»*

- Тамара БУСАРГИНА. О творчестве Евгения Богомолова.** .... 187

- Авторы номера* ..... 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

Евгений МАМОНТОВ

## А ПОТОМ ПОЕДЕМ В ЯЛТУ

Повесть\*

Он представил себе небо над морем, узкие улочки, маленький домик, где они снимут комнату, вообразил шелест гальки на пляже, пестрый зонтик и Лизу в купальнике. Озаренный этим видением, он прошел мимо ювелирного магазина. Ему хотелось зайти и купить кольцо уже сегодня, прямо сейчас. Но сегодняшнее число было под знаком Марса, и Сева не стал рисковать. Ждал знака Венеры. Он вытянул пальцы правой руки и представил, как будет смотреться кольцо на безымянном. Надо привести в порядок ногти, прямо безобразие какое-то с ними.

— Че-то давно этот твой не заходил, чокнутый, — сказал Стасик своей сестре Лизе.

— Не называй его так. Он вовсе не чокнутый.

— Скажешь, он нормальный? — ухмыльнулся Стасик.

— Он увлеченный человек.

Стасик втянул щеки и свел глаза к переносице.

— Ты на себя посмотри, — заметила Лиза брату.

— Я, между прочим, пролетарий, человек труда! А он старый шарлатан.

— Он ученый!

— Ученый! — хохотал Стасик. — Составил гороскоп Иисуса Христа!

Стасик был не злой мальчик, но ему нравилось дразнить старшую сестру.

— И он не старый. Ему только сорок, это расцвет для мужчины.

— Угу, угу, — кивал брат, — а когда тебе стукнет, ну там, полтос — ему сколько будет?

Для двадцатидевятилетней Лизы пятьдесят казалось чем-то предельно далеким, почти как смерть, даже немного хуже.

— Ну, я пока за него замуж не собираюсь, — сказала Лиза.

— Че-то ты долго «не собираешься», — брякнул Стасик.

Лиза повернулась и вlepила такую затрецину, что братишка грохнулся на спину вместе со стулом. Он забыл о взрывном характере сестры, и вот ему напомнили. Раньше он в таких случаях звал маму — теперь было неудобно: все-таки он учился на сварщика, считал себя пролетарием.

---

\* Журнальный вариант.



Родители назвали Севу в честь Себастьяна Баха. Мама, Ядвига Карпинская, была пианисткой, преподавателем на кафедре специального фортепиано и усаживалась за «Хорошо темперированный клавир», как другие за рукоделие или семечки, то есть полностью растворяясь в процессе. Отец Севы, Тимур Александрович Григорьев, окончил судоводительский факультет ДВИМУ и ходил первым помощником капитана сначала на спасателе «Диомид», потом на сухогрузе «Владимир Маяковский». Мама надеялась, что Сева пойдет по стопам отца, отец же мечтал видеть сына знаменитым футболистом. Сева бесконечно посещал спортивные секции, в том числе и футбольную, однако не блистал. «Зачем ему футбол? — говорила мама. — Это несерьезно! Пусть будет капитаном. Как ты. Будет у меня два капитана!» — «Может стать капитаном футбольный команды», — парировал Тимур Александрович.

Но Сева обескуражил обоих, когда поступил на театральный факультет. «Будешь как Боярский, что ли? — спросил отец. — Пока-пока-чивая перьями...» — «Не нужно так, Тима, — взяла его за локоть супруга. — Он будет как Марлон Брандо». Действительно, фактура у Севы была выигрышная. Почти как у всех в юности.

В дипломном спектакле «Ревизор» Сева играл Добчинского, он вышел на сцену с приклеенным носом, в лысом парике, и нарядные родители, сидевшие в первом ряду, не узнали его.

После учебы Севу распределили в драмтеатр города Советская Гавань. Услышав об этом, Тимур Александрович, который знал это место не понаслышке, сказал сыну: «Давай, пока не поздно, матросом на плавкран устрою, к Тихону Федоровичу, ну, для начала... К себе взять не могу, виза нужна в загранку». Но Сева собрал чемоданы и уехал. «Что это за Совгавань такая?» — тревожно спрашивала Ядвига Францевна. «Нормальная», — пожимал плечами муж.

Засекин, сорокалетний премьер совгаванской труппы, играл в театре все главные роли, включая Тома Сойера в детском спектакле. Был он сухой, крепкий, с мослатыми кулаками. Перед выходом на сцену выпивал для вдохновения стакан водки. По совместительству был председателем профкома. Учил опыту молодых актеров. Некоторых бил. Севе досталось место в грим-уборной рядом с Засекиным. Когда Сева пришел в первый раз, поздоровался и занял свое место, он с ужасом понял, что забыл отчество премьера — Сергей Петрович или Сергей Палыч? Засекин гримировался, не глядя на новобранца. Потом, покосившись, спросил: «У кого учился?» Сева ответил. «У Захарыча?! — просиял премьер и протянул руку: — Дядя Сережа».

В репертуаре была старая, с клепаными бортами мхатовской школы пятидесятых, выходящая раз в месяц на театральный рейд постановка «Короля Лира», оставшаяся еще от прежнего главрежа и, как сказал бы Тимур Александрович, в штить едва дававшая десять узлов ходу, зато копоты на весь горизонт. Здесь Севе повезло, его ввели во второй состав на роль Эдмунда. «Природа, ты моя богиня!» — повторял он благодарно. «Ну что ты поешь? Это не ария, — обрывал его Глостер, заслуженный артист Рева. — Ты пойми: он рассуждает. Отвернись после первой строчки, улыбаясь. А на пятой заплачь. Чтобы слезы в глазах стояли, когда ты говоришь: “За то, что я родился позже брата // На год иль два?”»

А в детском спектакле у Севы была роль зайчика с двумя репликами, обилием визга и беготни.

Из соседнего поселка Заветы Ильича, где была база Тихоокеанского флота, раз в неделю привозили по четыре роты матросов. Тогда в театре был аншлаг и пахло казармой.

На задней, глухой стене театра еще висел вылинявший транспарант: «Навстречу БАМу!» Порт считался конечной точкой строительства Байкало-Амурской магистрали.

Город окружали лесистые сопки, откуда открывался вид на судоремонтный завод и Татарский пролив. Теперь все это было уже далеко в прошлом.

Дома в серванте, за стеклом, витринно лежали два конверта. В них до поры тихо зрела мечта. В одном были деньги на кольца, во втором — на Ялту. Севастьян в своих мечтах был педантичен. Он размышлял, что сказать, как сказать. В мыслях уже преподносил Лизе бархатную коробочку и говорил... Но все казалось неподходяще, как-то выспренно или, напротив, легкомысленно; и то и другое пошлово. Сева в своей жизни уже делал предложение. И к несчастью, успешно. Опыт неудачного брака закалил его, и он думал, что закалки хватит на всю жизнь. Встреча с Лизой протаранила эту броню, и теперь Севастьян тонул, погружаясь в зеленую прохладу ее глаз, со сладким ужасом наблюдая сильный дифференциал на левой борт, и, как Эдмунд, берясь за сердце, моргал со слезами на глазах. «Молодец, вот так пойдет», — некстати доносился из далекого воспоминания голос заслуженного артиста Ревы.

Перед днем Венеры (красота, роскошь, украшения) по гороскопу идет день Юпитера (увлечения, азартные игры, удача), поэтому Сева не удивился, что именно в этот день к нему зашел Коля Михайлов. История этого человека поучительна. Коля Михайлов был строг в быту. Он выбил жене передние зубы во время семейной ссоры. Потом она вставила пластмассовые. У них был маленький, тем не менее крепкий семейный бизнес. Они продавали детские игрушки. Дарили, так сказать, людям радость. Михайлов был невысокого роста, но властный мужчина и вполне, что называется, патриарх в своей многодетной семье. Жена страдала от его характера молча — берегла вставленные зубы.

У русского человека кроме семьи и бизнеса должно быть еще что-нибудь. Увлечение. Коля Михайлов имел две страсти. Он любил играть и лечиться. Играл он не с опостылевшими игрушками из собственного магазина. Он играл в автоматах, которых тогда было множество, и были они на каждом шагу. А лечился от паразитов. Однажды он прочел книгу, что во всем виноваты паразиты. Это была третья по счету книга в его жизни после «Незнайки» и «Устава караульной службы». И как только Коля ее прочел, сразу почувствовал себя худо. Недомогание кочевало в его теле от одного органа к другому с такой скоростью, что Коля не успевал записываться на прием к узким специалистам. Брал талончик к хирургу, а глядь — уже требовался окулист. Такие вот плоды просвещения.

Самое досадное, что в связи с пошатнувшимся здоровьем от него отвернулась удача. Он стал сильно проигрывать в автоматах. Тогда он

заказал еще вагон игрушек в Китае, взял билет в Москву, посадил жену за прилавок, сам же улетел на прием к светилам медицины. В Москве он истратил много денег, однако расстроило его не это, а роковой диагноз: здоров. А один доктор даже сказал, что ему надо показаться психиатру. На него Михайлов затаил особую обиду и полетел домой с печальной мыслью: «В моем случае медицина бессильна».

Пошатнулось не только здоровье — и семейный бюджет был подорван дорогими консультациями. Требовалось его пополнить, и больной самоотверженно, невзирая на недомогание, каждый вечер отправлялся играть. Он знал, что должен выиграть. Но домашние этого не понимали. (О домашние наши! Эти вечные матросы Колумба с их бесконечным нытьем: «ну хватит уже!», «ну не надо!», «вернемся, нет там никакой Индии!», «он сумасшедший!», «куда ты завел нас на нашу гибель?!») Стоит человеку дать слабину — и прежде робкие домочадцы поднимают голову, начинают роптать, а потом и вовсе распоясываются и доходят до скандалов, видя, что у вас нет прежних сил. И Валя Михайлова кричала на мужа, что он их погубит своей игроманией, прикрывая все же ладонью зубы. Тогда он стал уходить в казино тайно, часа в три ночи, дождавшись, когда все уснут. От недосыпания нервы у него расстроились.

В этот день Михайлов был мрачно возбужден и трясся, как с похмелья. Сева предложил ему рюмку коньяка. «От паразитов» Коля выпил и рассказал, что жена вытащила из кассы дневную выручку и не отдает ему. Он хотел ее побить, но старший сын вступился, помешал.

— Да плюнь ты, еще заработаешь, — сказал Сева.

Коля мрачно посмотрел:

— Они меня и в магазин теперь не пускают. В мой магазин!

Сева вздохнул. Он, было время, жил в этом магазине, когда вернулся из Совгавани.

— Коля, я тебе как друг скажу: ты больной человек. Нет, не в том смысле, в котором ты все время думаешь и лечишься. Ты сумасшедший. Проанализируй свои поступки за последнее время.

Коля поглядел молча, а потом вдруг закричал:

— А я тебе говорил! А я тебя просил как друга! А ты мне помог?!

— Ты о чем, Коля? Опять про деньги?

— Какие деньги? — возмущенно вскочил Коля. — Я тебя просил простую вещь сделать, ведь ты же можешь: назови мне число!

— А, ты про это... Пойми, Коля, я не шарлатан. Не могу я тебе назвать число. Нет такого числа! Нельзя его вычислить.

— Люди говорят, что можно!

— Кто? Такие же сумасшедшие, как ты?!

— У меня выбора нет, я все равно добьюсь. — И, мгновенно успокоившись, Михайлов будничной скороговоркой произнес: — Дай мне пятнадцать тысяч до следующей недели, а лучше сорок.

— Я уезжаю, Коля. У меня денег в обрез.

— Куда?

— В Ялту.

Потеряв интерес к беседе, Коля сам налил рюмку хозяину и себе.

— Нет-нет, мне еще работать, — отказался хозяин.

— Так и мне нельзя: вечером за руль, — ответил Коля.

Такой аргумент в России обладает безупречной убедительностью, и друзья чокнулись. А дальше произошло что-то необыкновенное, потому что кончилась бутылка коньяка, а за ней бутылка бренди, и после нее таким водянистым казался вкус портвейна, который принес сосед по площадке, маленький кривоногий слесарь с судоремонтного завода. До этого Сева видел его только мельком. Раньше Сева считал, что у них нет общих тем и интересов, а теперь вот увлеченно рассказывал соседу об одном нумерологическом трактате. И умный слесарь кивал, подливая портвейн Севе, Коле и себе. Ему все было понятно. У него было среднетехническое образование. И, воодушевленный этим, Сева ходил вместе со слесарем в магазин. «Зачем же вы водку взяли?!» — испугался Михайлов, которому вечером было за руль. А Сева со слесарем засмеялись. Потому что это очень смешно показалось обоим. Сева даже заплакал: «Ты так это хорошо сказал! Поехали с нами в Ялту, Коля!» Дальше все погрузилось в туман, из которого через семь часов вышло раскаленное головной болью солнце.

Это давно забытое состояние было хорошо знакомо Севе по его прошлой жизни. Первый Новый год в Советской Гавани он отмечал с коллегами. Театральное фойе было украшено серпантином. Премьер Засекин пел под фонограмму «Strangers in the night», Сева танцевал чарльстон вместе с Любой Синеруковой, выстреливали пробки шампанского. Жизнь наконец казалась такой, какой она должна быть.

А в десять утра Сева должен был играть этого своего зайчика в детском спектакле. Зеленые пятна плавали у него перед глазами, медленно превращаясь в лиловые. Собственный голос звучал издали, как чужой. Сева загримировался, натянул заячьи уши и поглядел в зеркало. «На», — сказал ему заслуженный Рева с бородой Деда Мороза и протянул стакан водки. Он застонал, отвернувшись. «Надо, надо», — подтвердил Засекин. Сева выпил полстакана и сидел, содрогаясь от спазмов. Выскочив на сцену и сделав по ней круг прыжками, Сева понял, что сейчас начнется. Он ускакал в правую кулису, и там его вырвало, потом вернулся, сделал еще круг, ускакал в левую кулису, и там его опять вырвало. Помреж сообразил принести тазик. И после каждой пробежки Сева подбегал к этому тазу, а помреж, зажав рот, беззвучно хохотал. «Надо было гримом закусить — тогда б не рвало, это проверено», — серьезно посоветовал Засекин; он любил поглядеть, как простофили слушались его и жрали грим...

Сегодня, открыв глаза, Сева почувствовал не просто тяжелое похмелье — он почувствовал, что умирает, и вскочил, держась рукой за остановившееся сердце.

Они идут, а улицы расходятся по сторонам от них кулисами, и каждая расписана, как японская ширма. Влажный тугой ветер мешает дышать и портит прическу Лизы; у Стасика прически нет. На углу куст сирени отчаянно машет им, как знакомым. Лиза с братом входят в храм под вывеской. Между сливочных колонн и зеркал плывут на эскалаторе. Навстречу широко улыбается транспарант: «Распродажа».



Стасик примеряет тускло блестящие берцы с ремешками. Лиза идет вдоль лебяжьей выставки туфель и замирает. Берет с полки. Малы. Ищет другую пару. Gianmarco Lorenzi. Конечно, китайские, но все равно! Ищут вместе с продавщицей. Вот последняя коробка. Лиза задержала дыхание. Загадала: если подойдут, выйду замуж за Григорьева.

Теперь плывут дальше. Оба счастливые, с коробками. Стасик больше не обижается за ту оплеуху. Оба любят друг друга и весь мир. Хорошо быть счастливым.

Толстые стеклянные двери сами открываются навстречу, пропуская к рядам разноцветных флаконов: красных, черных, синих, прозрачных, золотых. Вот небеса! Райские сады. И Лиза, как бабочка, от одного цветка-флакона — к другому. Мечтательно лакомится. Стасик уже выбрал себе флакон в виде гранаты-лимонки. Мужественно держит ее в руке.

После этого парфюмерного грота улица кажется такой разреженной! Мокрые автомобили выгнули отражения зданий. Лиза со Стасиком смеются — просто так. Лизе двадцать девять, Стасику семнадцать. Впереди целая вечность счастья.

«Это я еще подумаю», — про себя говорит Лиза; она надеется, что небеса не расслышали ее скоропалительного, по слабости данного обета.

Не хочется сегодня на работу. Хотя ее там ценят, она ответственный сотрудник, хороший администратор. Лиза обижается, когда их фирму некоторые называют на старый лад — похоронное бюро. «Мы фирма ритуальных услуг “Вознесение”», — всегда поправляет она. Помимо работы с клиентами, оформления заказов, Лиза еще отвечает за ритуальную флористику. Ей с детства нравились цветы. И вот мечта ее, можно сказать, сбылась. Кроме цветов в ее ведении еще и мониторинг сайта компании, она читает все отзывы. «Нас хвалят, — радуется Лиза, — наш рейтинг выше, чем у “Обелиска”».

Сева понял, что не умрет. Еще болела голова, периодически рвало, но уже было не так страшно. Смутные воспоминания о вчерашнем вызывали тошноту. Он старался отвлечься. «Потом вспомню все». Принялся считать, однако это не помогало: за жиденьким частоколом цифр проплывали давешние пьяные рожи и реплики — тогда он стал думать о том, как они с Лизой поедут в Ялту. Хорошо, что он заранее откладывал деньги. Воображаемая линия морского горизонта успокоила Севу, и он провалился куда-то за нее.

Проснувшись, поплелся по квартире, украшенной остатками вчерашнего восторга. Диаграммы и таблицы гороскопов, над которыми Сева работал в последний месяц, свалились со стола (возможно, их смело сквозняком) и теперь лежали на полу, пара листов наложились друг на друга. Это были вычисления, для удобства совмещения и анализа сделанные на страницах тонкого прозрачного пластика.

Сева зацепился за диаграммы взглядом; поймав неожиданную комбинацию, но еще в каких-то секундах до ее осознания, до приближения этой лавины, поднял глаза и посмотрел в зеркало. Свое лицо — было последнее, что он успел увидеть, а затем будто вошел в это зеркало, соединился с собственным потусторонним взглядом, одновременно с обрушившейся

на него разгадкой, которая заключала в себе некий универсальный ключ. Сева осознал себя самого *вполне* и этим как бы мгновенно закавычил свою жизнь как понятую и осознанную. Он со страхом подумал, что это случайность, обернулся к диаграммам, надеясь отыскать ошибку в первом, мгновенном выводе и через эту ошибку как-то еще выбраться наружу. Но ошибки не было. Как из одной галактики в другую, Севастьян за один больно сверкнувший миг переместился в другого себя. Как человек, неожиданно запертый, отчаянно дергает ручку двери, кидается всем телом — так внутренне метался Севастьян, запечатанный, как джинн, в сосуде своего нового «я». А вот потом он уже действительно потерял сознание.

Неизвестно через какое время он очнулся — как узник в новой для него тюрьме. Он лежал на полу. Видел снизу открытую дверцу платяного шкафа, в котором висело его осеннее пальто. Видел поблескивающую пуговицу, грубо пришитую. Вспомнил, как он сам неумело пришивал ее недавно, и заплакал от жалости к своему прекрасному прошлому. Через разглядывание этой пуговицы с четырьмя маленькими дырочками посередине ему открылись тайны мироздания. Севастьян лежал так два, а может быть, три или четыре часа.

Несколько раз звонил телефон, и Севастьян слышал его, но как будто бы из-под воды. А затем наступила ночь и день Венеры закончился.

Сон исцелил его ровно настолько, чтобы он смог встать и попить воды прямо из крана, чего прежний Сева никогда не делал. Он понимал, что с ним что-то произошло, однако никакими словами не мог этого описать. Снова склонился над листами диаграмм. И понял, что за вчерашний день, разглядывая пуговицу от пальто, он продвинулся еще дальше от себя прежнего.

Тюбик зубной пасты привел Севастьяна в ступор. Он не мог вспомнить, как это открывается и, вообще, зачем? Сила привычки привела его в ванную и бросила наедине с зубной щеткой. Так и просидел час, глядя на струю из крана.

И только к концу второго дня чувство голода вернуло ему какую-то долю бывшей его личности. Тогда же он ответил на первый звонок.

— Алло.

— Кто это? — спросил голос. — Севу позовите к телефону.

— Это я, — ответил Сева.

Ворона пересекла светлый прямоугольник окна и тут же унесла Севу за собой в берендееву глухомань, в тихий лесной сумрак, влажную прель прошлогодней коричнево-лимонной листвы, похожей на подгнившие яблоки, которую он видел через перекрестья мокрых веток с осязаемой четкостью. Потом ворона пролетела над сельским кладбищем на рыжем пригорке, с которого недавно сошел снег, зимой заносивший доверху убогие оградки, кресты и пирамидки; теперь они, освещенные лучом, метко пущенным между туч, весело блеснули, отразившись в черном вороньем глазу. И птица каркнула им в ответ так, что одинокий мужичок на погосте, задрав голову, взялся за шапку. Желтая полоса дороги наискось прошла под вороной; трактор с прицепом стоял на обочине уже давно, прицеп был без колес, а трактор без гусениц. Болотистая, топкая равнина глядела в небо бесчисленными округлыми зеркалами промеж густой ряски. Воро-

на с упругой уверенностью летела дальше, не зная, что она летит, что она ворона. И Севастьян позавидовал ей, потому что он знал *всё*.

— Алло. Лиза, я тебя слушаю.

— Что у тебя с голосом? Ты, вообще, куда пропал?!

— Я был дома.

— А почему трубку не брал?!

Сева задумался.

— Ты обо мне хоть подумал?

— Нет, — честно ответил Севастьян.

Лиза дала отбой.

Слово «Ялта» осветило часть прежней жизни. Но уже по-другому — как будто раньше это была Ялта утром, а теперь в сумерках, и к тому же не Ялта. «И еще что-то было, — вспоминал Сева. — Ах да, были деньги в двух конвертах, в серванте». Он подошел, открыл створки серванта. Конвертов не было.

Тут же зазвонил мобильный. Он взял трубку.

— Севан, привет!

— Алло.

— Ты что, спишь?

— Нет.

— Что у тебя с голосом? Как дела? Куда исчез?

— А это кто?

— Ты шутишь?! Это я, Михайлов.

— А-а...

— Ты что там, в запой ушел с этим слесарем?

— С каким слесарем?

Тяжелая маета нарастала во время разговора, и Севастьян стал ходить по комнате от стены к окну.

— Мне некогда, я сейчас уезжаю, — сказал он, чтобы прекратить эту маету.

— Куда это?

Севастьян задумался и вспомнил:

— В Ялту.

— Да? — удивился собеседник.

— Да. Пока! — И только тут Сева сообразил, кто это такой — Михайлов. — А-а, Коля?! Это ты?

— Да... а кто же...

— Один, шесть, пять, один, шесть.

— Чего — один, шесть?

— Ну, ты цифры у меня спрашивал. Запиши. Всё. Пока!

Сева положил телефон, который тут же зазвонил снова и звонил не переставая. Потом разрядился.

А на другой день приехала двоюродная тетка Севы Валентина, о существовании которой он совсем забыл за недавними потрясениями. Впрочем, и тетка Валентина забыла о существовании племянника в своей квартире. Последние три года она страдала расстройством памяти «по типу болезни Альцгеймера», как было записано в ее медицинской карте.

Неделю она провела в доме отдыха под попечительством подруги Анастасии.

Теперь они обе стояли на пороге: хрупкая, растерянная Валентина и за ней спокойная, широколицая, будто из камня тесанная Анастасия. Глаза тетки Валентины дрожали — тревожные, вопросительные, а глаза Анастасии глядели крепко и бессмысленно.

— Сева, ты приехал? — растерянно спросила тетка.

— Это мы приехали, — прогудела сзади Анастасия, легонько подталкивая ее в спину.

И сразу в трехкомнатной квартире стало тесно. Сева так и стоял как столб посреди прихожей, мешая старушкам развернуться, чтобы снять пальто. Потом тетка Валентина пила чай и рассказывала, как она прекрасно отдохнула, какие там были процедуры, ванны и кино по вечерам. Только после обеда, когда нет процедур, немного скучно, зато какая природа, какой воздух. «Как называется этот санаторий?» — поминутно спрашивала она у Анастасии. Та грузно поворачивалась на узкой кухне, заваривала чай и гудела: «Загорье». — «Да, да, потому что за горами!» — радостно повторяла тетка Валентина, кивая и наливая себе из третьей по счету чашки в блюдце. «А ты давно приехал, Сева?» — спрашивала она. «Он здесь у тебя третий год живет», — отвечала Анастасия. «Ну да, ну да, — кивая кудельками, соглашалась Валентина. — А мы с Настей были в санатории, Сева. Ты не представляешь, как там прекрасно! Как он называется, Настя?» Она прямо дрожала от радости. «На следующий год поедем туда опять все вместе?» — спрашивала она.

Сева смотрел на нее и видел, что ей сладко жить, что она счастлива, и от этого у него стало тяжело на сердце. «Почему родители не взяли с собой тетку Валентину, когда пять лет назад уехали за границу? Может быть, там ее смогли бы вылечить?» — думал он. — Сначала мозг не контролирует память, потом доходит очередь до дыхания». И зная все это, видеть ее сейчас счастливой было тяжело. Сева ушел в свою комнату. Он сел на край кровати и не знал, что ему делать. Все привычные занятия больше не имели смысла. Он просидел так минуту. А сколько еще нужно? И для чего? Поняв, что так сидеть невыносимо, быстро оделся и вышел на улицу.

На улице все были заняты. Один шел через дорогу, другой вдоль дороги, третий и четвертый стояли и говорили, двигая руками, что-то показывая друг другу; женщина с золотыми волосами сидела в тени недавно распутившейся яблони, как королева на старинной картине, и, прижав к уху телефонную трубку, кивала, встряхивая золотыми локонами, наконец сказала: «Вот и не рыпайся, сиди на жопе ровно»; водитель вылез из кабины грузовика, дети несли портфели, дворники в оранжевых жилетах стояли, одна только птица пролетела без всякой цели. Но, наверное, и у нее было зачем лететь, с тоской подумал Сева, чувствуя свое бесконечное одиночество, отрезанность от всех этих людей, зная про каждого из них, что с ними будет, — так ему казалось, во всяком случае, — и не зная, как с этим знанием жить, и, главное, бесконечно завидуя им, незнающим.

Механически и он пошел как другие, не отличаясь от других, вернулся в магазин и, чтобы прекратить всю эту тревогу, купил бутылку водки;



остановился за углом магазина, стал пить из горлышка, поймав на себе взгляд прохожего; и тихий, успокоительный луч нашел его, пробившись с небес в городскую тесноту и заодно позолотив бок мусорного контейнера по соседству. Сева перевел дыхание. Водка казалась водой.

Он вернулся домой только через тринадцать дней. Небритый, в чужом длинном пальто, надетом поверх чужого спортивного костюма, он вышел из милицейской машины, потер ладонью заросший подбородок, посмотрел на деревья перед домом, на детскую площадку. Сорока прыгала возле лужи. Облако стояло. С веток капало.

— Сева, ты уже пришел? — спросила из кухни тетка Валентина. — Или еще только собираешься?

Все две недели с ней жила Анастасия.

— Да, — ответил Сева.

— Это хорошо, — бодро отозвалась Валентина.

В своей комнате, раскрыв дверцу шкафа, он разглядывал вещи, провел рукой по ряду вешалок.

— А ты где был?! — всплеснула руками Анастасия, появившись из спальни.

Сева задумался.

— В командировке, — сказал он тихо.

Не мог вспомнить толком, что было, куда потерялись эти тринадцать дней.

— Господи! — снова всплеснула руками Анастасия и затарахтела неразборчиво, скоро, много, с жалобным укором.

— Да, — сказал Сева и закрыл за собой дверь комнаты.

\* \* \*

Михайлов хорошо помнил тот день, когда он разбил машину. Это было на перекрестке, перед светофором. Михайлов просто не нажал на тормоз и въехал в зад серому «рено». Но это происшествие он воспринял только как досадную помеху. Куда важнее было то, что из-за удара он не расслышал последней цифры. Кажется, «шесть», но Михайлов был не уверен, телефон выпал у него из ладони, ударился о приборную доску и завалился под ноги. Абонент больше не брал трубку.

Наскоро уладив необходимые формальности с водителем «рено», Михайлов приехал к Севе домой и час подряд жал кнопку его звонка, пинал ногой в дверь. Помимо последней цифры, было неясно, в какой именно лотерее участвовать. Он знал только две таких в России. Можно поставить на обе. Не зная последней цифры, можно указать все десять возможных вариантов, купив десять разных карточек, успокаивал он себя. А если это что-то другое? Кроме того, Михайлов никогда не играл в государственную лотерею. Он не доверял государству. Что это может быть еще? Дата и время? 16516. В 16–51, шестого числа. Завтра шестое, с ужасом подумал Михайлов. Просто прийти и сделать ставку где угодно в 16–51? Завтра. А если нужно последовательно сделать ставки на «1», «6», «5», снова «1» и снова «6» в автомате, подумал он, холо-

дея сердцем. Ничего, можно охватить все варианты, успокаивал он себя. Такого стресса он не испытывал даже во времена лечения от паразитов.

«Господи! Наставь меня!» — воззвал Михайлов. Он вошел в церковь и нервно молился, стоя перед иконой, до тех пор пока старушки монашки не стали гасить свечи. К нему подошел батюшка.

— Вижу, большая у вас нужда в Господе.

— Большая, — ответил Михайлов угодливо.

И неожиданно для себя, развернувшись к попу, стал рассказывать, что он очень болен, и жена его больна, и нужны деньги на лечение. А дети маленькие. Поп кивал. А когда услышал про лотерею, улыбнулся.

— Скажите, какому святому молиться? — спросил Михайлов.

— Молитесь святому Пантелеймону о здравии вашем и супруги вашей. Венчаны?

— Да! — горячо соврал Михайлов.

— Как был ты брехло, так и остался, — усмехнулся священник. — Не узнаешь, что ли?

Михайлов оторопел.

— Ну?

— Кондрашов?

Батюшка широко улыбнулся:

— В седьмом классе за одной партой сидели, булочки из буфета воровали, помнишь?

— Ну! — обрадовался Михайлов.

— Что у тебя за дело? Правда, что ли, болен?

— Правда, но это сейчас не главное...

Через паузу сомнения он рассказал, в чем дело. Кондрашов выслушал молча, не перебивая и ответил:

— Плюнь. Это бес тебя морочит.

— Нет-нет, ты не знаешь этого человека, он зря говорить не станет, а уж если сказал, то это неспроста.

— Пойми, в Церкви нет таких святых, чтобы им о корысти земной, азартной молиться. А выигрыш большой?

— Смотря где. В спортлото — пять цифр — меньше миллиона не бывает.

— Попробую тебе помочь, — сказал Кондрашов. — У меня тоже беда.

Священник поведал, что его несчастный, беспутный сын, наказание Господне за грехи отца, свою долю общей квартиры заложил в ломбарде, деньги истратил, дома не живет, выкупить обратно и проценты заплатить Кондрашов не имеет средств.

— согласишься на треть с твоего миллиона?

— А как ты мне помочь можешь? — спросил Михайлов.

— Видишь, ездил я в прошлом году по святым местам. И вот в Дивеево привел мне Бог встретить одного монаха: старичок лет семидесяти, маленький, сам седенький, а борода черная... Ты не был в Дивеево?

Кондрашов обернулся. В полутемной церкви за колонной метнулся черный подол монашеского одеяния.

— Нет.



— Обязательно посети. Там такая благодать сходит на человека, такая красота вокруг. — Понизив голос, добавил: — Во двор пойдём выйдем, там спокойней.

Церковный двор был огорожен новым кирпичным забором и внутри белой краской размечен для парковки машин согласно чину. Луна уже встала над колокольней. И тень ее купола упала далеко за ворота кладбища, дотянувшись своим крестом до надгробия старого архиерея.

— А как я узнаю, что это подействовало? — спросил Михайлов. — И почему ты сам не попробовал ни разу?

— Соблазн это великий. Я и тебе не должен открывать был. Я ведь эту тайну от того монаха как исповедь принял, как покаяние его. И теперь уже тем согрешил, что тайну исповеди нарушил, да еще в корыстных целях.

— Ладно, договорились, — сказал Михайлов.

Кондрашов хотел было, но не решился его перекрестить.

— Молитву хоть прочитай сегодня на ночь, — сказал он на прощание. — «Отче наш» знаешь?

— В Интернете найду, — истово пообещал Михайлов.

На следующий день, шестого числа, он выиграл два миллиона.

После исчезновения жениха в жизни Елизаветы произошло несколько важных событий.

Первое. Брат Стасик сдал с третьей попытки на разряд, стал дипломированным сварщиком и требовал в честь этого айфон. (Какой же сварщик без айфона?) Теперь Стасик по утрам зашнуровывал берцы, надевал камуфляжную куртку и говорил: «Я на объект». Сестра любовалась им.

Второе. Елизавету посетила Червовая Дама и настойчиво выспрашивала у нее о Севастьяне.

Сева работал раньше в астрологическом салоне и как-то раз для забавы рассказал Лизе об экстравагантной клиентке, которая с порога так и представилась: «Я — Червовая Дама». Сева её заметил, что с точки зрения астрологии это не имеет решающего значения. Дама заказала Севе составить гороскоп, указала точно дату, время и место рождения. «Вряд ли вы червовая дама», — сказал он, записывая ее данные. «Почему? Это не сходится с датой моего рождения?» — «Нет, с корнями ваших волос», — не отрываясь от бумаги, ответил он. Однажды в магазине женской одежды Сева указал Лизе на Червовую Даму: «Вот это та, про которую я тебе рассказывал». Червовая Дама вела себя в чем-то как двоюродная тетка Валентина. Никогда не понимая того, о чем, в сущности, идет речь, она активно вступала в разговор и дальше уже не давала другим рта раскрыть. Сейчас она набросилась на продавщицу, горячо убеждая ее: «Ну, какой же это стретч, девушка, это не стретч». Рядом с ней долговязый мужчина в строгом костюме стоял с отстраненным лицом, на котором читалось презрительное терпение. И наконец он достал бумажник и с облегчением передал супруге деньги. «Вот видишь, я же говорила, я была права», — победно сияла Червовая Дама, обращаясь к мужу. Вдруг взгляд ее остановился, губы приоткрылись, и, как сомнамбула, она двинулась вперед, ведомая магнетизмом далекого, но бессердечно властного кутюрье, навстречу дорогому платью, которого она до этого не заметила. Новый

приступ тоски отобразился на лице мужчины. «Похоже, я не ошибся, составляя ее гороскоп», — ухмыльнулся тогда Сева.

— Как вы узнали мой адрес? — Лиза разглядывала пышную блондинку с большими блестящими серьгами.

— Мне дали его на работе у Севастьяна Тимуровича.

— Он еще и Тимурович! — весело удивился за спиной Лизы ее брат-сварщик.

— Я не видела его с прошлого месяца, — сказала Лиза с достоинством брошенной невесты.

— Почему? — спросила дама. — И он не звонил вам? Вы знаете, что его нет дома уже много дней?

Лиза этого не знала, однако ей не хотелось сейчас выказывать смущение или тревогу, поэтому она хмуро, наступательно ответила:

— А вам-то он зачем?

Дама поглядела вдаль, опустила голову, улыбнулась в пол:

— По делу. — И, не прощаясь, стала спускаться по лестнице.

— У него и знакомые ненормальные, — сказал Стасик.

И наконец, третье. Лиза влюбилась в учителя истории, который вдобавок играл на бас-гитаре в готической рок-группе, певшей на немецком языке. Группа называлась «Лютый Мартин».

Учителю истории было двадцать четыре, но он не боялся преподавать в школе. Он писал на доске свое имя — Конягин Илья Андреевич — без всякого смущения. Мало в мире людей, которые совсем не боятся старшеклассников из обычной средней школы. А Илья был такой. Он вел уроки спокойно и властно. Влюбленная в него десятиклассница говорила о нем подруге: «Строгий, как кипарис!»

А Сева — Сева целыми днями теперь гулял по улицам. Ну, не то чтобы гулял...

Улица, такая же, как всегда, неширокая, плоско-выпуклая, с ветвистыми трещинами асфальта и разбитым тротуаром, показалась ему новой, хотя и знакомой, как это бывает во сне. Он прошел, последовательно вспоминая вот этот разбитый участок тротуара, это окно в невысоком этаже, всегда неожиданно выглядывавшее из-за ветвей старого тополя, этот серый фонарь, загнутый поверху на манер стоматологического зеркала, увидел в просвете между двух узких кирпичных домов знакомый силуэт труб ТЭЦ на горизонте, качавших в небо пышный розовый дым: восходило солнце. В полуподвальном этаже был маленький продуктовый магазин, освещенный изнутри еще по-ночному. Две каменные ступеньки вниз.

Когда он вышел из магазина, кирпичная стена дома на углу была уже освещена тем надежным, радостно обещающим утренним солнцем, которое к обеду на той же стене становится таким равнодушно-пустым и скучным.

Если долго смотреть на пустую скамейку в парке, можно многое вспомнить, что-то понять, улыбнуться и снова все забыть. Аллеи уже стояли зелеными арками, сквозь которые еще уверенно сквозило водянистое, прохладное небо.

По короткому меридиану парка, срезая квартал, энергично шагали граждане без глаз, как на картинах знаменитого художника-импрессиониста; по длинному экватору бродили влюбленные, но так как по утрам влюбленных в городе не было, то по экватору бродила только собака, заглядывая в урны, — зато с какими глазами! Меридиан пересекался с экватором. По меридиану шагал деловитый Михайлов, Сева дрейфовал наперерез. Понятно, что когда-нибудь они должны были встретиться.

— О! А я думал, ты в Ялте!

Михайлов был теперь с модной бородкой, в новом плаще, с барсеткой.

— Почему? — спросил Сева.

— Ну, ты же собирался в Ялту! — сказал Михайлов с той усиленной бодростью, которая выдает неловкость.

Запах хорошего одеколona лился от него вверх, как миро, в весеннее, постное небо между церковных куполов.

— Но ты ведь деньги у меня украл тогда, — сказал Сева с полным безразличием к этим деньгам, к самому себе и к реакции Михайлова.

— Это не я! Это тот слесарь, с которым ты пил... Наверное.

— Жаль, — провозжая взглядом летящую низко и красиво сороку, ответил Сева. — А я надеялся, что это ты. Потому и сказал тебе тогда, чтобы ты на эти деньги хорошую ставку сделал. Ты выиграл?

Михайлов пожал плечами, улыбнулся:

— Да.

— Поздравляю.

Шли молча.

— Тебя подвезти? — спросил Михайлов.

Машина у него была теперь новенькая, сверкала лаком.

— Нет. Я просто гуляю.

— Ну давай, счастливо!

Сева кивнул и пошел дальше. Справа белел фонтан, засыпанный прошлогодней листвой и пустыми бутылками. В небе стояли длинные облака, будто маляр разминал твердую кисть, перепачканную сиреневой краской.

Неожиданная встреча отвлекла Севу. Он теперь каждый день ходил по памятным местам детства и юности, надеясь на то, что, воскресая воспоминания, он воскресит себя прежнего, вернется к тому, кем был раньше. Нельзя сказать, чтобы это не получалось совсем. Он ощущал некое дуновение, не всегда и с разной степенью отчетливости. Но как только он покидал двор, угол улицы или подворотню, служившую туннелем в живительное прошлое, как все исчезало и он снова оказывался замкнут в себе сегодняшнем.

Сдававший задним ходом автомобиль загнул хоккейной клюшкой свою траекторию, преградив Севе дорогу. Дверца распахнулась, энергичный Михайлов требовательно произнес:

— Садись.

Они приехали в отделение Сбербанка, и Михайлов попросил Севу подождать в машине. В банке Михайлов снял с карточки сто пятьдесят тысяч и отдал их Севе.

— Не хочу быть свиньей, — сказал он.

— Да мне, в принципе, не нужно, незачем.

— Это все равно, хочешь — в урну брось, а я отдать должен.

Сева сунул деньги в карман пальто.

— Слушай, в чем ты ходишь? Купи себе что-нибудь! Сейчас уже лето почти.

Сева посмотрел на него как бы спросонья.

— Так, — сказал Михайлов, — вылезай, иди сюда.

Они вышли из машины. Михайлов снял с Севы пальто и отдал ему свой плащ.

— Вот, немного великоват, но куда лучше, чем это тряпье.

Он отнес Севино пальто и положил его на ближайшую скамейку. Деньги вынул и переложил во внутренний карман плаща.

— У тебя есть кошелек?

— Э-э...

Михайлов достал бумажник, высыпал из него кредитные карточки, визитки, всякую мелочь и протянул его Севе.

— Куда тебя отвезти?

— Я гуляю, — сказал Сева.

Он вспомнил, как — теперь уже, кажется, очень давно — сбежал от жены, бросил театр и жил вместе с Михайловым в пустой, холодной трехкомнатной квартире у Паши Салькова, михайловского приятеля. Михайлов с Сальковым уходили на работу, а Сева целыми днями слонялся по комнатам и тосковал по брошенной жене. Ходил от окна к окну. Дом стоял на сопке, и из окон девятого этажа был далеко виден окрашенный осенним закатом холодный город. Вечером возвращались Михайлов с Сальковым, иногда приходили их приятели, выставляли на стол бутылки, и Сева забывал свою тоску. Мужская компания освобождала его от сантиментов, и по вечерам на фоне своего ежедневного горя он становился особенно счастлив. Это острое ощущение счастья сквозь горе запомнилось ему. Ходили в круглосуточный магазин, брали финскую водку и закуску попроще. Каждый рассказывал что-нибудь удивительное из жизни. Наутро болела голова, не оставалось ни закуски, ни выпивки, ни сигарет, ни денег. Только пустая, холодная квартира. Но это было счастье.

Сева снова ходил от окна к окну, смотрел на резкую синюю воду залива, мягкие синие очертания сопки и думал: «Надо было тогда послушаться отца, пойти на плавкран... Или не надо?» Один из приятелей Салькова, Ваня Гредин, выпускающий редактор, узнав, что Сева сидит без работы, предложил ему пойти в газету. Сева сказал, что он не журналист, не знает, как это делается. «Да и черт с ним, гороскопы писать будешь», — сказал Иван. Так Сева начал путь астролога. Гороскопы он переписывал из других изданий, но обязательно добавлял что-нибудь пикантное от себя. Например: «Козероги, не бойтесь сегодня своих желаний. Они все равно не сбудутся».

Потом Михайлов в очередной раз помирился с женой, а Сальков надумал жениться на девушке — инструкторе парашютного спорта. Севе пришлось съезжать, и два месяца начинающий астролог ночевал в магазине Михайлова. Некоторые игрушки по ночам казались жутковатыми. Хорошо, что магазин был на морском вокзале и можно было в любой

час ночи прогуляться по зеркальному каменному полу, отдающему желтой бессонницей, постоять у фонтана, поболтать с дежурным милиционером, которому Михайлов представил Сева как сторожа, выйти на широкую пустую террасу и дышать ночным воздухом, глядя на огни судов в бухте. Это успокаивало, и Сева долго стоял, облокотившись о холодные перила, а под ним по причалу проезжали желтые электропогрузчики, проходил пограничный патруль и иногда целой стеной радостных, ярких огней приваливал белым бортом теплоход, пришедший из Японии.

Шли недели, и летний пейзаж с кораблями у причалов — киносьемка — сменился на зимний — фотография. Тонкий лед становился в заливе по ночам — отражения огней больше не дрожали в воде.

Известный в городе мистик Кромпель, который отпустил усы подковой вниз и длинные волосы, чтобы походить на задумчивого валашского вампира, выпускавший газету о непознанном «Джентри» и разыскивавший потусторонних существ по заброшенным военным частям, случайно познакомился с Севой на одной вечеринке и сказал: «А я всегда смотрю именно ваши гороскопы. Они точнее других». Сева смутился. «Вы читали Алистера Кроули?» — спросил охотник за привидениями. «Так... только некоторые рассказы», — ответил Сева. «Я тоже», — сдержал улыбку Кромпель. Сева ему понравился. Через неделю он позвонил и пригласил в свой астрологический салон стажером.

— Клиенты у нас разные — просто оставайся спокойным и внимательным. Вот кабинет, вот стол, все как в обычной конторе, — улыбнулся маг.

— Я немного не уверен, — признался Сева.

— Одна из деталей, которую никогда не учитывает наше сознание в своих фантазиях и воспоминаниях, — это календарь. Человек сосредотачивается на лицах, словах, может вспомнить оттенок волос, запах, точную деталь пейзажа, вспомнить, что он говорил и что отвечали ему, как именно это говорили, куда смотрели и с каким выражением лица. Но... никогда не скажет точно, что именно он делал три года назад, седьмого, положим, сентября. Можно нафантазировать, что вот когда-нибудь я встречу женщину своей мечты, она будет такая-то и такая-то. Но никто не добавляет в этих фантазиях, что это будет пятнадцатого или первого числа такого-то месяца. Для людей это неважно. А для астролога точная дата — главный инструмент. Просто пользуйся им грамотно — и все, ты не ошибешься, — ободрил новичка Кромпель.

\* \* \*

Илья немного стеснялся, что Лиза на пять лет его старше, однако вслух не говорил об этом. Зато он почти не комплексовал по поводу того, что Лиза на полголовы выше. Вообще, из вежливости он не давал ей понять главного — что это она в него влюблена, а не он в нее. Зато именно такая диспозиция давала ему ту раскрепощенность и независимость в общении, которые и покоряли Лизу.

— Смешной случай, — говорил Илья при встрече, и Лиза, дрогнув в ответ веселым взглядом, уже готовилась выслушать историю о том, что

случилось с Ильей в автобусе или в школе, а он вместо этого рассказывал ей о беседе, произошедшей двести лет назад между императором Наполеоном и Талейраном.

Или во время мечтательной прогулки вдоль парапета набережной после заката, идя об руку со своей высокой подругой, вдруг начинал смеяться.

— Вспомнил, как Фуше менял вывески над воротами французских кладбищ.

— Кто такой Фуше? — спрашивала Лиза, чувствуя себя немного дурой, но находя эротическое удовольствие в этом чувстве.

Илья с увлечением разъяснял, а Лиза не столько слушала, сколько любовалась и старалась не пропустить, верно угадать тот момент, который Илья считает самым смешным. Не только история Европы интересовала его — он мог рассказывать и о музыке, например о том, как учился играть на гитаре.

— Была такая группа «Лабиринт» у нас в Партизанске, я раньше в Партизанске жил. Они выступали в ДК энергетиков, там все энергетики, все работают на ТЭЦ. А дядьки такие старые уже, еще до перестройки музыку начинали играть. И я пришел учиться на электрогитаре. Гитара с тех времен еще, марки «Кузбасс»: мне дали, чтоб не жалко было. И дядя Сережа учил меня играть. А он сам музыкальной грамотой не владел, всякие легато и стаккато не понимал, он мне объяснял по-простому, но доходчиво. Ты неправильно свою партию играешь, говорил, смотри, как ты играешь: чвя-амк, чвя-амк... А надо так: иста-дриста, иста-дриста, иста-дриста!

Однажды Лиза, подстраиваясь под увлечения Ильи, предложила ему сходить в рок-джаз-кафе, а он скептически поморщился:

— Ну, это для... буржуа.

А Лиза не расслышала на ходу, и ей показалось: «для пожилых». Она впервые почувствовала себя немолодой.

— А какой твой знак зодиака? — спросила Лиза.

— Овен, кажется... Я в этом не шарю.

— Какое число?

— Пятнадцатое апреля.

— У тебя сильный Марс и Луна в Венере на двенадцати градусах. — Лиза так выпалила наугад, но с дальним прицелом.

— Ого! А что это значит? Ты разбираешься?

— Нет, просто у меня был роман с астрологом, — ответила она, надеясь вызвать у Ильи ревность.

Он внимательно поглядел на нее и сказал:

— Круто! А у меня — с милиционером.

— Женщиной? — тревожно уточнила Лиза.

Сева сидел на кухне и смотрел, как тетка Валентина готовит рагу.

— А я для чего лук порезала? — спрашивала она. — Так, а мясо это я для чего достала?

— Вы будете делать рагу, — отвечал Сева.

— Так! А лука-то ведь у меня нет!

— Да вот же он, уже порезан.

Сева смотрел на сковороду и думал, что такая же точно была у них дома, он помнил ее с детства. От этой сковородки он пытался идти дальше, к серебряной чайной ложке, виду из окна... «Во-он, видишь, папин пароход стоит». На балконе маленький Сева смастерил из пустой консервной банки рынду с гайкой внутри и ударял в нее, представляя себя на капитанском мостике...

И вдруг ярким беленым потолком загорелось далекое, сказочное, раннее пробуждение перед новогодним утренником в детском саду. Ничего, кроме беленого потолка и черного зимнего окна. И тут же из другого воспоминания тихо прошел по ночному городу заснеженный троллейбус. Это всё были чудеса, которые существовали вокруг и сейчас, но уже не работали. Были словно тени тех чудес. «Они остались, это я стал другим, — думал Сева. — Я — тень прежнего себя».

— Нам рано жить вос-по-мина-ньями, — напевала тетка Валентина песню Эдиты Пьехи, мелко нарезаая дольку чеснока. — Какая красота! Какое счастье, Сева, что у нас такой вид из окна, правда? Посмотри, весь город как на ладони — разве это не чудо?! Каждый божий день смотрю и восхищаюсь. Даже ночью подойду к окну и стою люблюсь.

Сева поглядел на тетку Валентину. Она, действительно, выглядела счастливой, растроганной.

— Да, — сказал он.

Убедившись, что рагу готово и плита выключена, Сева вышел из дому. Косая полоса света из высокого окошка на лестничной площадке обняла толстую трубу мусоропровода, как афиша. В детстве тишина подъезда казалась загадочной, волновала.

Улица. Мокрый, скупо позолоченный солнцем наклон асфальта, с текущей по нему грязью из-под тяжелых колес проезжающего грузовика, когда на короткий миг схватываешь, остановив взглядом, грубый рельеф протектора с вдавленными в него камешками.

Через дорогу старый двухэтажный дом, на первом этаже магазин с высокими арочными окнами, на втором крохотные балкончики, окна фонарем, выше — фронтон, заколоченное круглое окошко чердака, покатая шиферная крыша. Весь кубастый, граненый, со старой, облупленной штукатуркой, он мог забрать насовсем, унести, если там поселиться или завести роман, застряв надолго в его коммунальном нутре, выучить рисунок обоев и дневной маршрут солнечного луча по комнате. Можно было сердечно полюбить все это милое, тихое убожество и снова обрести себя и спокойно умереть куда-то внутрь этого уюта. Каждому — кроме Севы. Он стоял, глядя, как уборщица в синем халате моет деревянной шваброй высокие окна магазина. Швабра то и дело со стуком задевала о ржавое колено водосточной трубы, проходившей рядом с окном и подвязанной для надежности проржавевшей проволокой. Гнущее цинковое ведро с бурой водой стояло на тротуаре. Стекла мокро блестели, и в верхней полукруглой четверти окна горело солнце. Мир вокруг Севы представлял с бессмысленной четкостью. Холодное наблюдение этой четкости стало его единственным развлечением.

Вот в этот момент на него и натолкнулась неутомимая энтузиастка собственной судьбы — Червовая Дама. Она была по знаку Стрелец,

то есть на свете не существовало такого учения, суеверия или блажи, которой она не могла бы предаться до фанатизма, мгновенно подсаживаясь на фэншуй или православие. Но с исходом некоторого срока так же неожиданно расставалась со своим увлечением и красивыми глупыми глазами оглядывала разрушения, совершенные ею в былом экстазе. Горячая риторическая проповедь высокой нравственности сочеталась в ней с глубоким сладострастием, и она, что особенно важно, не видела в этом ни греха, ни противоречия, поднимаясь до некоторой давно уже непонятной современным обывателям средневековой высоты: жаркая до слез молитва после безжалостной исповеди и с непросохшими слезами — бегом на площадь поглядеть казнь.

Еще тогда, давно, в астрологическом салоне, Севастьян улыбнулся, почувствовав это в ней. И вот теперь Червовая Дама сияла ему навстречу горячим взглядом пронзительно-холодных голубых глаз.

— Вы?!

Сева задумался вместо ответа.

Но Червовая Дама сама никогда не думала и другим этого не позволяла, как бывает с людьми, которые абсолютно уверены, что очень умны от природы. За нее всегда что-то думало внутри, не требуя дополнительных усилий.

— Я давно вас ищу! Все, все события в моем гороскопе сбылись! Я развелась с мужем, сделала много полезного для себя и окружающих, взялась за отложенные дела, строю смелые планы на будущее, и мне сопутствует удача в первой половине дня, особенно когда Луна в Козероге. Вы волшебник!

Все, что Червовая Дама делала для себя и окружающих, неизбежно казалось ей благом. С мужем она давно не находила общего языка. А смелые планы строит каждый после долгожданного развода.

— Да... — сказал Сева.

— Я нуждаюсь в дальнейшем руководстве, — с выражением прищипки на лице требовала Червовая Дама.

Про себя она отметила шикарный плащ и аскетичную худобу своего астролога. Волнующая мысль бегло пронеслась у нее в голове, пощекотав кощунством.

«Извините, я больше этим не занимаюсь» — надо было так сказать.

«Это выше моих сил» — тоже можно.

Наконец: «Вы меня с кем-то спутали».

Вместо этого Сева произнес:

— Зачем?

Любой другой на месте Червовой Дамы оскорбился бы уже одним тоном этого вопроса. Но она его просто не заметила: она видела только то, что ей хотелось. Да и заметив, сочла бы *такого человека* имеющим право на высокомерие.

— Я вам открою секрет.

— Это невозможно, — сказал он, отстраняясь от навязчивого сверкания глаз, серег, браслета на полном короткопалом запястье.

— С вашим талантом, с вашим даром... — заглядывала она в глаза.

— Вы ошибаетесь.

Отнимая от ее цепкой ладони свою руку, он невольно дернул ее на себя, так что Червовая Дама, покачнувшись на высоких каблуках, припала пышным бюстом ему на грудь — и тут же за ее спиной рухнула на асфальт ржавая водосточная труба, рассыпавшись на три секции. Тетка в халате замерла, как знаменосец с древком.

— Вы спасли мне жизнь! — ахнула Червовая Дама.

На балкон второго этажа выскочил ветеран в пижаме и начал ругаться с теткой в халате.

— Я, кажется, подвернула ногу, можно мне зайти к вам, я вызову такси?

Сева, понурившись, дал ей опереться о его руку.

— Я вот только недавно совсем в журнале вашу прочитала статью потрясающую, — неутомимо, через мнимое усилие ходьбы щебетала она.

— Статью?

— Там сложное название, вы там анализируете разницу между православием и католичеством, опираясь на различные даты рождения Христа по григорианскому и юлианскому календарю. Так наглядно — просто глаза сразу открылись... Действительно, у них совсем не тот Христос, что у нас...

— Это чушь, вы забудьте об этом.

Он, в самом деле, забыл об этой статье, опубликованной полгода назад в одном шарлатанском журнальчике.

— Не скромничайте, это очень научная статья. Зачем вы так не цените себя? Это ведь грандиозная идея, что все мы живем в подменном мире, с подменным Богом и подменной реальностью, возможно, и сами подменены!

— Не говорите ерунды, — с тоской сказал Сева.

В лифте она еще теснее придвинулась к нему. И он невольно ощутил несчастье пустоты, теперь уже не свое, а чужое. Оно было неглубоким, и Сева позавидовал ему. Червовая Дама отметила этот беглый взгляд, истолковав его по-своему, и еще усерднее хромала по лестничной площадке, кося на Севу цепкими глазами беспомощной жертвы.

— Ведь это же верно, что по григорианскому календарю Христос с точки зрения астрологии становится другой личностью, а значит, и мир становится другим, идет уже не туда; два мира — астрономический и сакральный — разошлись, разломив реальность...

— Вы хотели позвонить. Такси, — напомнил Сева.

— Эти тринадцать дней несовпадения...

Но Сева закрыл перед ней дверь комнаты.

И каждый раз эта бессмысленная круглота дня, которую надо перетерпеть в ожидании новой ночи, потому что только сны не утратили смысла. Там вновь загоралась жизнь, сумбурная, перепутанная, невыразимая дневным языком, но полная значения. Нечаянная вспышка знания успела выжечь только надводную часть души. Другая, несравненно большая, выходила далеко за ворота этого бедного мира, однако в ее распоряжении было только шесть ночных часов. И по себе она не оставляла никакого залога, при воспоминании на свету казалась ерундой. Но ради этой ерунды

Сева и жил последнее время. Тонкое упругое разноголосие птичьего щебета в утренних сумерках было последним напоминанием о ночном просторе.

Сева вспомнил вычитанное давно и забытое: восемьдесят процентов синиц умирает за зиму — и заплакал от жалости к ним.

«Может, тебе каких-то витаминов не хватает?» — небритым, фельдшерским в стоптанных сапогах тоном пенял он себе.

Церковный двор, вороны строгие, как вдовы, молча глядят на скачущую по двору сороку-цыганку. Воробей свистнул и улетел — такой гаврош.

В храме все прихожане казались людьми счастливыми, страдающими от вещей практических, никак с душой не связанных: тот болен, этот беден, стар или просто некуда уже пойти, кроме церкви. Та молится за пьющего мужа, эта — за сына-солдата. Чего же мне попросить? Чтобы синицы зимой не умирали? Чтобы вообще иным стал миропорядок? Чтобы мне снова не было до него никакого дела? Чтобы я снова не знал, как раньше? И кроме того — у кого? У кого просить? «Бог создал человека по своему подобию. И человек ответил Ему тем же». У себя просить? У отражения, которое является отражением меня, являющегося отражением Его? Здесь вообще какой коэффициент искажения сигнала? Ах, надо ведь просто верить! А если я уже просто знаю? Вот и каюк...

Севастьян придержал дверь, пропуская в подъезд женщину с ребенком и мимоходом убеждаясь в очередной раз, что простые люди редко говорят «здравствуйте» и «спасибо»; в подтверждение этой «простоты» женщина сквозь зубы одернула малыша: «Не скачи в лифте!» Она нагнулась к ребенку, а Севастьян молча смотрел на две пуговицы, пришитые сзади к хлястику ее пальто и заключавшие в себе какую-то невыносимую в своей унылой простоте истину. Они вышли на третьем этаже, а он поехал дальше, уставившись на кнопки с цифрами и, к своему ужасу, мгновенно успев сложить их и перемножить. Вернее, ему только показалось с его новым теперешним зрением, что он может сейчас все их перемножить, и он зажмурился, чтобы прогнать это неприятное ощущение, как будто боясь им захлебнуться, подавляя, как тошноту.

Однажды около полудня Сева сидел в комнате, занятый созерцанием пустого граненого стакана с абрикосовой косточкой на дне. Он чувствовал себя в пространстве так же определенно, как стрелка компаса; не прилагая к этому никаких усилий, он ощущал себя на высоте пятнадцатого этажа над землей, сидящим на стуле, развернутом на северо-восток, в точке 43,10562 градуса северной широты и 131,87353 восточной долготы, вращающимся вокруг земной оси со скоростью 1200 километров в час и одновременно с этим несущимся вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду и вместе с ним делая 230 километров в секунду вокруг центра Галактики.

Видя перед собой пустой стакан, Сева ощущал, что в нем заключена вся полнота его жизни, так же, впрочем, как и в абрикосовой косточке на дне стакана, как в рисунке обоев в углу под потолком, выхваченном случайным взглядом; не было вокруг ничего, что не являло бы собой Севу, не отзывалось бы в нем обратным чувством «я». За этим стаканом стоял другой стакан из прошлого, в который наливали портвейн, и от него остал-

ся липкий круглый след на столике в грим-уборной театра, а за ним стоял другой стакан, наполненный сметаной в школьной столовой, а за ним еще один — с компотом в детском саду, и вот она — косточка от компота. Сева чувствовал себя во времени с той же предельной, зернистой четкостью, что и в пространстве, ощущая каждую прошедшую минуту, как пассажир видит мелькнувший за окном поезда столб. Когда он так вот сидел, это было напряженное безделье выпущенного из пушки ядра. Он знал, что с другими людьми все точно так же, только они не чувствуют этого, и потому им легко.

Это подвижное, хрупкое равновесие, сложенное из многообразного и одновременного движения, этот коридор из граненого стекла, уводящий его в прошлое, залитое счастливым персиковым светом, держали его, как в раме или в колбе, и он боялся потревожить себя в этом состоянии.

В один из таких моментов в комнату ворвался Михайлов. В квартиру его пустила тетка Валентина.

— Выручай, брат! — с порога повел он.

Сева не сразу оторвал взгляд от стакана и перевел его на Михайлова, не изменив выражения глаз. С этим же взглядом он выслушал историю об очередном разорении своего друга. Михайлов просил новых счастливых номеров, еще одного, «последнего» выигрыша. Сева покачал головой, вынул из тумбочки и протянул Михайлову те деньги, что две недели назад получил от него. Видно было, что товарищ не этого ожидал от Севы, но деньги взял и ушел не прощаясь. Сева вернулся к абрикосовой косточке на дне стакана.

«А может быть, это счастливые сто пятьдесят тысяч?» — подумал Михайлов, выходя из квартиры на площадку и на ходу пересчитывая деньги, и тут столкнулся у лифта с Черновой Дамой.

Электричка, пригородная станция, тишина.

Еще далеко до пляжного сезона.

За пустым сквером плоско сереет море.

Пусто.

Тепло.

Трешины на асфальте как тени голых деревьев.

Железная махина карусели, поржавевшие за зиму лошадки.

Кричат вороны.

Хрустит под ногами песок.

Лодочная станция заколочена.

Сева садится на скамейку, сунув руки в карманы. Смотрит вдаль — туда, где сереет полуостров Де-Фриз.

На обратном пути встречает пару. Мужчина и женщина под руку, шатаясь, идут по газону мимо карусели. Сапоги у женщины стоптанные, с широкими голенищами, зашаркали по асфальту, она была растрепанная и улыбалась, уставившись в одну точку перед собой. Мужчину Сева не разглядел.

Знакомое с детства кафе за станцией. Сносят. Уже разобрали крышу. Ворона сидит на стропиле.

На перроне совсем жарко.

До обратного поезда сорок минут.  
Провода в синем небе.

Тетка Валентина не заметила никаких перемен в племяннике. Она, как обычно, вставала каждое утро и бродила в халате от окна к окну, рассказывала сама себе о погоде: «Какой ветер! Ты смотри, как облака гонит! А... вот детей повели в детский сад. Провода так и качаются. Похолодало». Потом она снова шла в свою комнату и слушала радио. Тетка Валентина всегда говорила одно и то же, у нее было приблизительно семь или восемь тем, словно записанных на пластинке, и Сева знал их наизусть. Раньше они его раздражали, а теперь стали успокаивать. Вот семь-восемь небогато аранжированных тем — это все, что остается от жизни человека в его памяти. А в памяти других и того меньше, а когда исчезнет и он, и эти другие — не останется вообще ничего.

— Это прекрасно! — говорила тетка Валентина, делая глоток чая из блюдца. — Чай с вареньем я любила с детства. У нас дома всегда варили варенье.

— Да, — говорил Сева.

Глядя сейчас на старушку, мало кто поверил бы, что в молодости она была красавица, актриса, прима. Именно она водила Севу в театр, и не так, как водят других детей. Тетка Валентина водила его к себе в грим-уборную, показывала театральный мир за кулисами, а спектакли Сева смотрел из директорской ложи, но предпочитал сбегать оттуда на самый верх и смотреть из осветительской: там казалось интересней.

Королевы, крестьянки, жены революционеров, светские дамы, учительницы, врачи, феи говорили ее голосом и глядели в зрительный зал ее глазами. На улице ее останавливали незнакомые люди — просто чтобы сказать, как она красива. За Валентиной тщетно ухаживали родственник Микояна, адмирал Тихоокеанского флота и знаменитый режиссер. Однажды на гастролях ее намеревался украсть молодой человек, случайно увидевший ее в коридоре гостиницы. Он с хмурой гордостью убеждал: «Да ты знаешь, кто я? У меня отец — директор ресторана в Норильске!»

Ей было не жалко растрачивать молодость на пьесы Киршона и Софронова, к которым питал расчетливую слабость главный режиссер. В конце концов, ей довелось сыграть главные роли и в пьесах Шекспира, Шиллера, Виктора Гюго, Островского. Из окружавших Севу людей тетка Валентина была человеком самой яркой биографии. Хотя теперь ее прошлое было залито на большую половину беспамятством, которое уже начало менять и саму ее личность. Она еще помнила фамилии режиссеров и города Советского Союза, по которым ездила с гастролями, но уже путала даты.

— Скажи, а Толя Варченко еще жив? — обращалась Валентина к Севе.

— Кто это?

— Как? Это же друг Геры Штаркевича, оба актеры, в нашем театре работали!

— Не знаю, — качал головой Сева.

И тетка Валентина удивлялась, как он может их не знать.



Сева готовил завтрак, после шел в магазин, покупал продукты, готовил обед. Потом делать ему было нечего. За завтраком, обедом и ужином слушал тетку. Что-нибудь из тех восьми историй. Один раз он улыбнулся.

Иногда Сева нарочно напоминал Валентине какую-нибудь историю, которую сам помнил с детства, и тогда они вместе, рука об руку, двигались в прошлое, воскрешая свою жизнь.

— А помнишь, ты рассказывала, что у тебя был сосед, механик с «Советской России», а у него был друг, маленький такой, кривоногий, на уголовника похожий, и он был в тебя влюблен? — спрашивал Сева.

— Это в каком году было? Когда я где жила?

— На Семеновской.

Валентина смотрела долгим взглядом:

— Я жила на Семеновской? А где это?

— Ну, раньше эта улица Колхозной называлась.

— Ну да, ну да, я помню, мы там жили, а в соседнем подъезде жили Дрейеры, они потом в Израиль уехали. У них был сын — твой ровесник, как его звали, ты не помнишь?

— Нет, сына не помню.

— А вы с ним играли. Ты научил его пить воду из лужи у нас во дворе, ты сказал ему, что там артезианский источник.

— Правда?

— Да! — смеялась тетка Валентина.

— И я пил?

— А как же иначе!

Сева вспомнил, как однажды он ночевал у тетки Валентины. Ему было тогда семь лет. Стоял сентябрь. Очень теплый, поздний вечер. Варили на кухне кукурузу. Почему он ночевал в тот раз у нее — отец был в рейсе? мама уехала с концертом от филармонии? Впрочем, это неважно — он вспомнил глубокую, уютную черноту двора, желтое окно кухни, горячую желтую кукурузу. На одно мгновение, на половину вдоха оказался там. Все бы отдал, чтобы вернуться туда.

— Хорошее было время, — сказала тетка Валентина, встретившись с ним глазами.

Сева потом не раз возвращался за утешением к этой кукурузе. Он думал о тетке Валентине: «Вот она потеряла все: рано умершего мужа, красоту, молодость, работу — все свое прошлое, но она сохранила себя. Возможно, именно теряя все постепенно, она что-то приобрела, научилась чему-то драгоценному? Я же, против воли, приобрел нечто огромное — и потерял все остальное. Выходит, что, теряя, она приобретала, я же, напротив, приобретая, терял».

— А ты помнишь, как мы с тобой однажды вечером в сентябре варили кукурузу? — спросил Сева.

— Нет, — улыбаясь, ответила Валентина, — не помню.

А Сева, глядя на нее, видел, что она хоть и не помнит этого и еще многих вещей, но все равно носит их в себе растворенными, как солнечный свет, как счастливый настой прожитой жизни. Эта жизнь никуда не делась в ней, потерялась лишь учетная книга и календарь.

— Я помню, как водила тебя на набережную и брала там велосипед в прокате. Тогда еще фонтана не было...

И Сева вспомнил, только не велосипед, а педальную машину и себя в берете, надетом слегка набекрень, вернее, он вспомнил сейчас не себя, а свое фото в старом детском альбоме — черно-белое, крепкое фото, зацепившее краем дамскую щиколотку и каблук. Дальше воспоминание не раскрылось, уперлось в изображение на картоне.

— Тебе надо записывать, — сказал Сева, — надо про все написать.

Он купил два широких блокнота и каждый день заставлял ее садиться за мемуары. Когда она теряла один блокнот, Сева давал ей второй, а сам отыскивал первый. Когда среди залежей старых газет, журналов, выкроек, фотографий, виниловых пластинок, просроченных лекарств терялся второй блокнот, он снова вручал ей первый. Записи тетка Валентина начала с детства. С того дня, когда посмотрела фильм «Мост Ватерлоо», влюбилась в Роберта Тейлора и решила стать актрисой.

— Ты хочешь посмотреть снова этот фильм?

— А разве он идет в кинотеатре? — удивилась тетка Валентина.

— Идет.

— Ну так надо купить билеты.

— Я тебя так проведу. — И Сева провел ее в свою комнату и посадил перед ноутбуком.

«День 3 сентября 1939 года надолго останется в нашей памяти: сегодня в 11 часов 15 минут в обращении к нации премьер-министр объявил, что Великобритания вступила в войну с Германией», — говорил диктор. Шли начальные кадры.

Валентина смотрела так, как в свое время на нее, должно быть, смотрели из партера восхищенные зрители. Она опять видела тот мир, который знала, помнила и любила; она снова видела свою молодость и смотрелась в нее, как в зеркало. Этот мир никуда не делся, он по-прежнему рядом, и фильм был тому подтверждением. Валентина была сосредоточена, как бывает с людьми, растерявшимися от счастья. Она улыбалась, и, глядя на нее, Сева пытался повторить ее улыбку, надеясь тоже пережить что-то подобное. Поднимал брови, как она, стараясь через мимику запустить обратный привод чувств. Она как будто вела его, взяв за руку, и он нетвердо следовал за ней, повторял без чувства, как танцевальные па без музыки.

— Когда снова будут показывать старые фильмы, позовешь меня, — сказала тетка Валентина, утирая слезы после сеанса.

Он не стал объяснять ей про Интернет.

— Надо купить телепрограмму, а то пропустим.

— Да, — сказал Сева.

На другой день после «Моста Ватерлоо» они смотрели «Даму с камелиями» 1936 года. Опять любимый Роберт Тейлор, герой детских грез тетки Валентины.

— Он был очень порядочный мужчина, не то что Лоренс Оливье или Ив Монтан, — говорила Валентина, гордясь благородством своего экранного любимца.

Память возвращалась к ней, как только ее мысль касалась живительных берегов далекого прошлого.

— А что они сделали?

— Бросили жен. Бедняжка Вивьен Ли спилась после этого.

И Сева вспомнил, как он бросил свою жену. Но теперь это не вызвало в нем никаких чувств. И было странно вспоминать эти страдания: как будто смотришь кино про другого, чужого тебе человека и удивляешься — чего это он, такой дурак, страдает из-за ерунды?

Теперь Сева каждый вечер оказывался в компании сверстниц двоюродной тетки, этих лучезарных небожительниц — Клаудии Кардинале, Николь Курсель, Анни Дюпре, Роми Шнайдер, Катрин Денев, Жанны Моро, среди которых, как равная среди подруг, смеялась, удивлялась, печалилась и Валентина Триполко. В живой воде прошлого она снова становилась ослепительной, двадцатипятилетней. Это было поколение, на чье детство и юность выпала война, поэтому они умели так ценить жизнь и все излучали свет. Валентина шла вместе с ними вдоль столиков кафе на Монмартре, читала крупные, четкие, для зрителя писанные буквы любовного письма, хохотала, отважно шла на жертву, проявляла милую беспомощность и бесстрашно шагала навстречу будущему на французских каблуках, погруженная теперь навсегда в бессмертие и молодость, как и подобает богине. Мужчины — Кэри Грант, Ричард Бёртон, Марлон Брандо, Марчелло Мастоияни, Алан Делон, Роберт Редфорд — в белых сорочках, галстуках, с честными, открытыми лицами и с хлыщеватыми подстриженными усиками, брутальные брюнеты и лирические шатены, окружали ее в этом хороводе вечной жизни и молодости, дарили цветы, соблазняли и обманывали, бросали и возвращались, тасовали, как в колоде, страсть, расчет, отвагу, бескорыстие, подлость; они пели, стреляли, танцевали, бросались к ее ногам, похищали, снова обманывали, но все это делали ярко, красиво и почти не больно.

Выходя на улицу и видя старушек у подъезда, Сева теперь пытался угадать, которая из них на самом деле Грета Гарбо, а которая Ингрид Бергман.

Один день тетка Валентина жила под сенью своего любимого моста Ватерлоо, другой проводила в обществе Фернанделя. А то вдруг под крышами Парижа встречалась с бойкой одевальщицей Шурочкой, той самой, которая помогала ей застегивать тугие крючки лифа на королевском платье Марии Тюдор в 1973 году, а теперь не менее ловко наряжала бессмертную Полу Иллери.

«Если Шурочка уже там, если даже одевальщицу пускают в эту вечность, то и мне не откажут!» — радостно подумала тетка Валентина.

Ветреный день.

Забор. Стройка.

Пыльная ухабистая дорога среди бетонных блоков.

«Камаз», проезжая, качаясь, поднимает за собой высокую волну густой желтой пыли.

Ветер рвет полосатую ограждающую ленту за забором.

Желтый бульдозер, мощный, страшный, с зарешеченной, в кусках окаменевшей глины фарой.



И подумалось: кто-то сейчас, проезжая мимо в машине «скорой помощи», сквозь боль и страх видит это, может быть, последней картиной в своей жизни.

Вот она, жизнь.

Вот поставить такой бульдозер или экскаватор в рай, пустить ветер — и все святые разлетятся, не выдержат простого бульдозера, весь рай померкнет...

А что, если поставить там танк?

Сева стал помогать тетке Валентине разбирать ее «авгиевы конюшни», как она выражалась, залежи всевозможного хлама и старья. Между этим хламом являлись иногда на свет неожиданные предметы, существование которых давно прекратилось в Севиной памяти, а вот они! Он вертел в руках желтого резинового утенка, ничуть не утратившего химической яркости за тридцать лет и с такой же яркостью мигом вызвавшего к жизни солнечный день, распахнутые окна, отогнутые ветром тюлевые занавески, дрожащие на полу квадраты света, отраженного от вымытых стекол, и самого утенка, плавающего в тазу по соседству с перекрученной тряпкой. Сева даже задохнулся на миг.

В другой раз вместо утенка явились маленькие аптечные весы с двумя крохотными пластмассовыми чашечками и воскресили книгу «Человек-невидимка». Прочитав ее, Сева увлекся химическими опытами. Воображал себя Гриффином, мечтал тоже что-нибудь изобрести и стать невидимым, всемогущим гением. И в каком-то смысле теперь он им стал, пожав то же разочарование одиночества. Только в отличие от Гриффина он сам, прошлый, живой, стал невидимым для себя нынешнего, пустого и прозрачного.

Было еще стеклышко, которое он в детстве считал бриллиантом, грашенная стекляшка вишневого цвета, узкая, расширяющаяся книзу подвеска от сережки с отломанной дужкой. Комната, увиденная через нее, погружалась как бы под воду, окрашенную марганцовкой. Гранясь, выпирал кубами шкаф, пианино, стол, все становилось кривым миром вишневых трапеций, таинственным уютным сном рождественского мальчика под запинаящую мелодию музыкальной шкатулки за минуту до появления феи.

И еще вспомнилась книжка «Песнь о вещем Олеге», которую отец читал Севе на память. Это было единственное стихотворение, которое капитан Григорьев знал наизусть и иногда в подпитии декламировал приятелям, тоже капитанам, щеголяя гуманитарной эрудицией.

Волхвы не боятся могучих владык,  
 А княжеский дар им не нужен;  
 Правдив и свободен их вещий язык  
 И с волей небесною дружен.  
 Грядущие годы таятся во мгле;  
 Но вижу твой жребий на светлом челе.

Даже теперь Сева легко прочел эти строки на память.

— Да, — повторил он, — твой жребий на светлом челе...

Он сложил в ящик стола все эти реликвии, надеясь в будущем пополнить их число. Возможно, так палеонтолог собирает кости доисторического ящера, а Сева надеялся собрать нечто вроде скелета своего детства. Но они только больше каменели от каждого следующего взгляда.

Однажды Сева проснулся, еще не вполне перешагнув с ночной улицы, по которой он возвращался из гостей вместе с родителями, в свою нынешнюю комнату и жизнь. Ощущение было так свежо. Прохладная темная улица, оживленный разговор мамы с папой, фонари в серебряных капюшонах тумана, как одуванчики. Впереди, над перекрестком, единственное окошко, желтое и бодрое, как утенок. Слева едва уловимо пахло духами, справа коньяком. Ничего особенного не было, кроме сильного и оттого никак не осязаемого счастья, ни в чем конкретно не выраженного и оттого просторного во все стороны этого ночного города и неба. В порту прогудело, и Сева не понял, из какого порта этот пароходный гудок: еще из *того* или уже из этого, за окном. Жизнь сошлась снова и не распалась почти до утра.

Тем тоскливее было позднее пробуждение; все валилось из рук, злило, тревожило несбывшимся. Тетка Валентина сожгла макароны. Сама готовила себе завтрак. Открыла на кухне окно, махала полотенцем. Сева поджарил ей яичницу.

Пока он стоял под душем, в дверь позвонили, и когда Сева вышел обмотанный полотенцем, то увидел свою бывшую невесту Лизу. Она смотрела на него, ей было интересно, что с ним стало за прошедшее время. Михайлов порассказал ей кое-что. Волосы у Севы прилипли ко лбу, и он моргал, глядя на Лизу.

— Привет.

— Привет.

— Ты похудел.

Сева опустил взгляд на свою грудь и живот.

— Ну ты не стой, оденься. У меня к тебе дело.

Он оделся в комнате и вышел к Лизе. Зачесанные волосы блестели. «Странно, — подумала Лиза, — ведь он мне нравился раньше».

— Мне нужен гороскоп на одного моего друга.

Сева не сразу ее понял.

— Гороскоп, — повторила она.

— Я этим больше не занимаюсь.

— Отлично, — сказала Лиза, оглядев потолок комнаты. — Поэтому просто напиши то, что я тебе скажу, и все.

Он тоже поглядел на потолок, на гостью и спросил:

— Зачем?

— Это неважно.

Раньше бы Сева улыбнулся.

— Не надо так смотреть: ты меня бросил.

— Это не то, что ты думаешь...

— Неважно, неважно, — оборвала она, — я не за тем пришла, чтобы выяснять.

— Это невозможно, — сказал Сева, опустив глаза, имея в виду, что это *выяснить* невозможно.

— Такой пустяк? Написать три строчки?  
 «Как же это уложится в три строчки?» — не понял Сева. — А впрочем, она права, может быть, и меньше...»

— Конечно, — сказал он покорно.

— Вот и прекрасно! Только ты мне своей рукой напиши.

Сева покорно взял листок и ручку, он вдруг поверил, что это возможно, и даже улыбнулся, растерянный от ее напора.

— Это очень сложно, — сказал он.

— Я продиктую.

Сева удивился. Женщины всё могут! Может быть, надо было спросить у нее раньше?

— Конягин Илья Андреевич родился...

«Интересно!» — думал Сева, записывая. Он боялся ее прервать, ожидая смысла, недоумевая и волнуясь, в предчувствии разгадки того, как его судьба может быть связана с каким-то Ильей Андреевичем. Он надеялся на чудо, светившееся в глазах этой девушки, и писал как в лихорадке, бездумно.

— Теперь распишись.

— А-а...

— Спасибо, — сказала Лиза, выхватив листок. — Не провожай!

Сева прождал еще час после ее ухода, не мог понять, разглядывал утенка.

«Вот. Значит, есть еще какой-то неведомый ему человек, Илья, связанный как-то с ним, может быть, товарищ по несчастью... И каким-то образом об этом узнала преданная ему, Севе, девушка...» Волшебная фея из давешней грезы входила в его воображение. Она расколдует.

Тетка Валентина, опершись на локоть, слушала на кухне радио. Шопен. Ее волосы, сожженные до макаронной желтизны в усердии беспомощной кокетливости, вздрагивали кудельками. Через нее теперь все проходило свободнее, и она могла часами слушать музыку или смотреть в окно, не скучая и не утомляясь.

Сева тоже мог долго сидеть, уставившись в одну точку, но в отличие от тетки никогда не улыбался.

Илья Конягин насвистывал вариации на мотив «Прощания славянки», проводя ладонью по остриженной под машинку голове. Он смотрел в зеркало на свою новую прическу, и ему нравилось. Лиза осторожно глядела на него сзади, Илья делал вид, что не замечает этого. А она подумала, что сейчас заплачет.

Три недели назад она решила, что это шутка. Он всегда шутит. Илья сказал, что хочет переменить свою жизнь, и, не глядя на Лизу, добавил, что пойдет на военную службу по контракту. «Денег мало платят в школе, а я все-таки сержант запаса. Чего не пойти?» Лиза оторопела, она не могла представить, что так бывает. Они вместе уже три месяца, и все ладилось. Она купила ему рубашку. Не в рубашке дело, конечно. Они ни разу не ссорились с Ильей даже по пустякам. Ей хотелось сказать: «А как же я?», да было неловко. «Это опасно...» — сказала она. «Я vezучий», — ответил Илья. Лизе стало страшно. Так нельзя говорить, можно взглянуть. И тогда

по касательной ко всяким сглазам и приворотам она вспомнила об астрологии. Она решила, что неблагоприятный гороскоп остановит Илью.

Но сейчас он только мельком глянул на бумажку и сказал:

— Давно он у тебя?

— Нет, я недавно заказала. Вот видишь сам, тут сказано, что Сатурн...

— Я в этом не разбираюсь и никогда не верил. — Илья обнял Лизу.

— Вот смотри, здесь «окно Нострадамуса», как это называют астрологи, видишь? Это значит...

— Вижу, ты еще и дату перепутала: я не тринадцатого, а пятнадцатого родился, — улыбнулся Илья.

Она уткнулась в листок. Не может быть!

— Это не я, это астролог неверно написал!

— Ну какая разница, мне это все равно, — успокаивал Илья. — Ты собирайся, это ведь у нас последний вечер.

— Как — последний?!

— Из военкомата позвонили: завтра отправляемся.

— Куда?

— Не имею права разглашать, подписку дал.

— Туда?!

— Лиза, не конфузь меня, — сказал Илья и отвернулся, чтобы не видеть ее слез.

Он надел ту самую, подаренную, белую рубашку с черным костюмом и время от времени проводил ладонью по своей остриженной голове.

Официант принес меню.

Лиза сидела с голыми плечами, как кукла, мертво улыбаясь.

«Надо было уехать не прощаясь, оставить сообщение», — подумал Илья, рассказывая анекдот и с жалостью узнавая в глазах Лизы знакомое выражение, старание угадать, в каком месте надо смеяться.

«Эти серьги мне подарил Михаил Константинович, мой покойный супруг, — сообщила однажды Илье мама Лизы. — Я их уже не ношу, отдам на свадьбу дочери». — «Очень красивые», — похвалил Илья здоровенные уродливые серьги, словно сделанные на машинно-тракторном заводе в подарок женщинам — депутатам последнего съезда КПСС. «Наше время уходит — вам, молодым, жить», — сказала Ольга Павловна, надавливая конкретнее и поправляя учительскую прическу закрученных улиткой волос. «Жить» Илье не хотелось, в смысле — передавать дальше по наследству машинно-тракторные серьги. И он перестал заходить к Лизе. «Репетируем много», — оправдывался. «Блин, Ильяс у нас лагает, как с бодуна, — говорил лидер-гитарист группы «Лютый Мартин». — Дайте ему пиваса, что ли, для расколбаса».

Илья не мог сосредоточиться, он уже тяготился этим романом, но жалел Лизу. Ему неловко было отказать ей. Он знал, что не так давно ее бросил жених, хотя Лиза смеялась, вспоминая об этом, и говорила, что это к счастью, а потом бросала нежный взгляд на Илью. А он и не собирался становиться ее женихом. Он смотрел на ее длинные, просящие руки, запястья которых она мучительно сжимала, словно стараясь их поочередно вывернуть.

Кроме того, в школе Илье все труднее было не обращать внимания на черноглазую десятиклассницу, сказавшую о нем: «Строгий, как кипарис». Он был юн и не знал, как сказать им обоим, что он их не любит. Первой — ласково и по-настоящему, а второй — очень мужественно, так чтобы понравиться еще больше. Илья решил отделаться от всего разом и записался в контрактники, не предполагая, конечно, что составленный наобум, поддельный гороскоп окажется пророческим и его ровесник, тоже русскоговорящий парнишка-снайпер, уже едет ему навстречу...

— Я... — начала Лиза, но тут пришел официант и стал раскладывать приборы.

Все вокруг за столиками казались ей счастливыми, смотрели друг другу в глаза, некоторые держались за руки. На скатертях у всех стояли маленькие красные свечки. У них тоже трепетала на ветру такая свечка, а потом погасла. Илья даже не заметил этого. А Лиза боялась подумать, что это плохой знак.

Солнце садилось на той стороне залива в тучу, выстрелив из нее лучами вниз.

— Завтра дождь будет, — сказал Илья, — в дождь хорошо уезжать. Примета. К счастью.

— Ты же не веришь... Ты же ни во что такое не веришь!

В другом конце зала, сдвинув несколько столов, веселилась большая компания. Много девушек, парни. Илья позавидовал им и подумал, что вот он вернется и тоже пойдет с такой вот компанией в ресторан и не нужно будет сидеть напротив Лизы, утешать ее, развлекать и выдумывать каждую фразу. От радости, что они сегодня расстанутся, он переставил свой стул поближе к Лизе, обнял ее и стал говорить, что все будет хорошо. И она успокоилась. Интонация у Ильи была уверенная.

«А может быть, это счастливые сто пятьдесят тысяч?» — подумал тогда Михайлов, выходя на площадку из квартиры Севы, на ходу пересчитывая деньги и сталкиваясь у лифта с Червовой Дамой.

«А может быть, этот человек — очень близкий друг Севастьяна Тимуровича?» — подумала Червовая Дама. — И мужчина, по всему видно, уважаемый. Хотя чем-то взволнован. Наверное, важное предсказание!»

«А может быть, у нее рука легкая, говорят ведь, что дуракам везет, значит, и дурам тоже?» — подумал Михайлов уже в машине.

«А может быть, стоит рискнуть, я ведь никогда не пробовала?» — подумала Червовая Дама.

«А может быть, она не такая уж и дура?»

«А может быть, это любовь?»

«Как в юности!» — думал Михайлов, сидя на кровати и разглядывая свои волосатые ноги.

«Смотри, какого мужика дура баба бросила!» — думала Червовая Дама в ванной.

Кроме этих мыслей за последнюю неделю у них были и другие, но они сейчас не имеют значения.

После выигрыша они поехали в ресторан. Сидели в бархатной ложе при свечах. Официант принес меню в кожаных папках с золотым вензе-



лем. Другой, в белых перчатках, наполнил бокалы. В центре зала звучал рояль. Люстра тяжелая мерцала. Михайлов приосанился барином, напыжился, пытался вести себя шикарно.

«И не жадный», — подумала Червовая Дама.

«Да-а», — широко думал Михайлов, с удовольствием глядя, как щедро усыпанное блестками платье обтягивает огромный бюст его спутницы.

«Есть у него что-то во взгляде, магнетическое».

«Еще сто пятьдесят грамм».

Потом ходили по набережной под руку вдоль фонарей, с фляжкой коньяка, целовались. Над морем светила луна. Совпадала с настроением. Любовались.

Червовая Дама хотела было сказать что-то про чары луны, однако Михайлов опередил ее.

— Я привык... я привык жизнь вот так держать! За яйца! — кричал Михайлов, грозя луне кулаком.

Он хотел еще что-то рассказать о себе, но почувствовал вдруг, что ему стало скучно и совершенно незачем что-либо рассказывать, кричать, обнимать эту женщину, и самое главное, чего он не успел подумать, но почувствовал, — совершенно незачем было выигрывать эти деньги. И эта растерянность на одну только длинную секунду, которая медленно прошла в пересечении их взглядов, впервые сблизила их, и он сказал:

— Пора такси вызывать.

Машина понеслась по ночным улицам, мимо стадиона, потом мелькнул дом Михайлова. Тот, прежний. Он успел увидеть огонек в кухонном окне, закрыл глаза и унес его с собой.

— Ну что ты?

— Ничего, — ответил Михайлов и отвинтил крышечку на фляжке коньяка.

Спутница с осторожной лаской погладила его по руке. Она не решилась поглядеть на него и, моргая, чувствовала слезы. «Я дура», — подумала она. И чтобы как-то успокоиться, подняв подбородок, сжав губы, пару раз вдохнула носом.

\* \* \*

Каждый день Сева просыпался с желанием преодолеть что-то, выйти за границы своей осознанной, закавыченной жизни, хотя бы в ту полусознательную, которая была у него раньше и которой живут все нормальные люди. Однажды он отыскал старый альбом с марками, которые собирал в детстве, и долго разглядывал, переворачивая твердые страницы под шелестящей калькой.

В сущности, космос состоит не из звезд и планет, а из чудовищных расстояний между ними. «Кем ты станешь?» — спрашивали его когда-то взрослые. Или поощрительно утверждали: «Космонавтом будешь!» Так говорили все, от маминых друзей до нянечек в детском саду. Космос был у всех на уме. Романтическая полоса шестидесятых.

Сева не собирался быть космонавтом, он хотел стать шофером.

«Не знаю, как другие, а я все-таки стал этим чертовым космонавтом, — думал он теперь. — Моя жизнь состоит из такой же, как космос, пустоты! События в ней редки и мелки, как крупинки звезд».

Он перелистывал страницы. «Первая женщина отправляется в космос. 16.VI.1963». Три шестерки подмигивают из этой даты. Не считая цены самой марки — 6 коп. «Почта СССР. Первый вымпел на Луне». «Почта СССР. Путь к звездам прокладывают коммунисты». В Севином случае это, увы, верно. Фундамент его сексуальности заложили Никита Хрущев и Эдита Пьеха. Они же и еще Марк Бернес в придачу повлияли на его религиозное чувство.

Коммунизм, обещанный ему при жизни, являлся косвенным обещанием бессмертия. (Кому нужно счастье, которое кончается?) Причем не просто бессмертия, а бессмертия *как минимум*. К нему, само собой, прилагалось все остальное счастье, так как рай на земле уже и так существовал: им было его детство. В детстве и при коммунизме человек не думает о двух вещах: смерти и сексе. Это мрачно и непристойно. Эти вопросы просто сняты с повестки, и без них так светло жить!

Смерть и секс — танатос и эрос — известная пара. Они не могут вынести разлуки. Таким образом, по некоей метафизической логике коммунизм уничтожал вместе со смертью и секс. Его не было. Однако, думал Сева, он был в каждом из нас тайно, контрабандно, биологически. Так что понемножку, потихонечку можно было получать немного секса и немного смерти. Ради интереса. И то и другое волновало. Летом дети подглядывали в женской душевой на пляже, а когда во дворе были похороны, старались пробиться сквозь толпу провожающих и заглянуть в гроб. При этом смерти и секса все равно не существовало, продолжал размышлять Сева, потому что они не касались нас, ведь сами мы были живы и не занимались сексом. Это было как кино или страшилки про синий ноготок. Но даже когда их не было, мы ощущали в них потребность. Иначе зачем эти страшные сказки?

В соседнем дворе строили новый девятиэтажный дом «свечкой». В солнечную погоду это и был коммунизм. Белые бетонные ступеньки лестничных пролетов, запах свежей извести, новенькие оконные рамы еще без стекол, гулая пустота внутри — все было радостно. Пацаны постарше забирались туда, чтобы насрать на пол или нарисовать хер на стене — испытать сексуальное возбуждение недозволенного. Так тлен смерти проникал в строящуюся ракету коммунизма. И теперь, заходя в этот грязный подъезд, поднимаясь мимо исписанных, изрисованных стен, Сева видел, что смерть и секс восторжествовали. Ракета не взлетела. Коммунизм рухнул. Сева остался.

Эдита Пьеха пела «ё» вместо «о». «Не скё-о-оро поляны травё-о-ой зарастут». Ее выговору и прическе подражали некоторые мамини подруги. Многие из них жили в общежитии и, приходя к маме в гости, мечтательно смотрели с балкона на этот новенький дом. Эту же песню исполнял Марк Бернес. «В могиле лежат посреди тишины // Отличные парни отличной страны». Было совсем не грустно, даже завидно. Потому что это была только песня о героях, а самой смерти не было, как и положено при коммунизме. Да. Пока не умер сосед Тихон Григорьевич.

Он был уже пожилой, даже старей, но все равно не должен был умереть. Даже с точки зрения взрослых. «Врачи что-то напутали, — слышал Сева разговоры, — что-то не то укололи, и он умер». А ведь мальчик ходил к нему в гости! Он сидел у Тихона Григорьевича на коленях! Тот чем-то его угощал и поэтому не мог умереть вообще. Был связан с ним общим обещанием Хрущева. Был слишком близко и по-настоящему. И вот тогда Сева испугался. В первый раз. Был потрясен. Его светлая вселенная дала первую трещину. Еще страшнее было на кладбище, куда его зачем-то взяли на родительский день, и он смотрел, как соседка Клавдия Федоровна, вдова Тихона Григорьевича, рыдая, упала на могилу, и боялся, зачем она так неаккуратно — земля сыплется, — ему было страшно, что сейчас сверкнет из-под земли острый угол гроба. «Не скё-о-оро поляны травё-о-ой зарастут... // А город подумал — ученья идут...» Этот город с его солнечными площадями остался далеко, а здесь, изгнанная в лес, «несуществующая» смерть развратно раскинулась и алчно расцвела, высунув на поверхность сварные ящики надгробий, как будто в них можно кинуть письмо — «туда». А под ящиками распростерлась страшная грибница. И зеленый завиток кладбищенского вьюнка на оградке казался тоже страшным, потому что своими корнями пил из гнилой глубины этой грибницы, хищно источенной крысиными ходами...

Таких, как этот девятиэтажный дом на Семеновской, полно. Ими застроен весь город. И все они тоже кладбища мертвого коммунизма, одинаковые, как сварные надгробия со звездой. Между ними где-то прорастают новые высотки с подземными гаражами, с пентхаусами и квартирами в два этажа; внизу теснятся дома, построенные до революции или в сталинскую эпоху, но все вместе — это только этажи вавилонской башни нашей тщеты и смертности.

Базар. Вот место, где все уже, кажется, приняли свою судьбу! От кустодиевской молочницы до модного, сжегшего себе волосы в солону китайца-парикмахера, от слепого старика нищего до свиной головы на прилавке. Все заняты делом. От милиционера до бомжа. Здесь, посреди плодов скотоводства и земледелия, все вписаны в натюрморт и уже тем оправданы. Так же хороши и нужны на своем месте, как эта розовая редиска и копченые колбасы, бледные пористые сыры и сухие холмы изюма. На базаре все хороши, как в раме брейгелевской картины. И хорошо, что под ногами грязь, шелуха, очистки — природа! — а не мертвый кафель супермаркета.

Отдельной судьбы Севе не слышно в этой суете. Только мельком: молочница держит кошку, сын-курсант, красавец, похож в военной форме на молодого Муссолини, мать ставит его фото на тумбочку, кошка, погнавшись за мухой, сбивает... Парикмахер-китаец вторую неделю встречается с русской девушкой, и китайка-маникюрша, с которой они вместе приехали в Россию, смотрит ему в спину взглядом Медеи. Он ловит этот взгляд в зеркале и усмехается, не переставая ни на секунду балаболить с приятелем и бойко стричь русского пенсионера с паспортным взглядом инсультного отставника. Слепой нищий движется размеренно, повторяя ритмично, с натугой, как тренер на корме гребной лодки: «И-и раз! И-и два!» На самом деле он говорит: «Дай бог! Дай вам!» Здесь никто и не подозревает, что

на самом деле он и есть король Лир. Здесь не знают, кто это такой. Свинья была счастлива и любила жизнь. Ей нравилось солнце, воздух, еда, секс, и она не знала о своем будущем. Что может быть лучше? А милиционер знал, еще когда шел в армию (армейку), что после службы легко устроиться в милицию. И не ошибся. Ошибся его приятель, который думал, что с красным дипломом найдет себе хорошую работу. Они соседи. Дружат по-прежнему. На рыбалку ездят. Милиционер обещал помочь устроить приятеля вахтером на объект вневедомственной охраны. Бомжи в модных кожаных куртках десятилетней давности тащат вдвоем на фанерном поддоне гору мусора, подбирают по дороге пустые ящики. Двое других сортируют мусор возле контейнеров: попадаются ведь и полезные вещи. Когда Сева идет обратно, они четвером сидят на солнечной стороне, на пригреве, под задней стеной какого-то павильона, уже хорошие, передают по кругу и поют. Сева останавливается, чтобы послушать, поглядеть на счастливые лица. Они поют хором: «Если есть в кармане пачка сигарет...»

Раньше здесь был доходный дом купца Густава Альберста. Как раз напротив дома, где родился Сева... Он помнил, в уютном ковше этого двора еще стояла прохладная утренняя тень, а к старому двухэтажному зданию уже подъезжали фургоны и грузовики. На первом этаже этого каменного дома был продуктовый склад с двумя низкими полукруглыми воротами, как в сказочном замке. Когда первые лучи солнца падали в глубину двора, все оживало: сверкали толстые молочные фляги, жидко подрагивая, золотились в решетчатых ящиках горлышки бутылок с лимонадом, отливала перламутром плева бараньей туши, изумрудно зеленели крепкие, с желтыми подпалинами бока арбузов, доверху насыпанных в какой-нибудь прицеп, стоящий на колесах с такими грубыми покрышками, что они, блестящие, проехавшие по луже, казались зубчатыми, и зубчатый их след тянулся в арку, через которую во двор въезжали грузовики.

Водители соскакивали с подножек грузовиков, оставляя дверь кабины открытой, и видно было грубый широкий руль, круглые стекла приборной доски, высокое, обитое коричневым дерматином сиденье, просиженное и потертое. И сразу становилось ясно, что во взрослой жизни нужно стать шофером, чтобы так же приезжать в этот двор, соскакивать с подножки, оставляя дверцу открытой, выбивать из коробки папиросу, закуривать, щурясь, хлопая себя по карманам, идти туда, где у входа в склад, рядом с весами, стоит огромная грудастая женщина в белом халате, и что-то говорить ей задиристо, и самому хохотать в ответ или ругаться с другими шоферами, доказывая что-то непонятное. А для чего это делать — неважно, потому что все это само по себе — счастье.

По вечерам, когда машины разъезжались, случалось, что во дворе оставался ночевать какой-нибудь прицеп, и от него пахло теплым железом. Вскарабкавшись на грубое колесо, можно было перебраться через высокий деревянный борт и оказаться в пустом кузове, как на палубе корабля. Двор погружался в сумерки, и загоралась лампочка в проволочной сетке над воротами склада, возвращая им сказочный вид. И потом, уже дома, из окна, тоже была видна эта уютная лампочка во дворе. Она горела всю ночь, как будто оберегая что-то хорошее.



Сева рассматривал альбом со старыми фотографиями. Вот любительский снимок черно-белый: двор, горячая, почти засвеченная стена, угол дома... Было понятно, что этот полдень никогда не повторится, и непонятно, почему он напоен такой радостью. Сева поехал посмотреть на эту стену, на этот двор и угол дома. Они сохранились в прежнем виде. И кто-то из детей, возможно, видит все это сегодня так же, как он тогда, очень давно. Сева потрогал кирпичи и позавидовал им. Может быть, после смерти он тоже станет чем-то вроде этого кирпича в кладке мироздания и ему будет уже навечно надежно и радостно. Из камней такого же сливочного цвета были построены пирамиды, а вокруг такого же цвета песок, а сверху солнце, золотые украшения древности; быки, орлы, какие-то иероглифы проплывали в его сознании. Но скоро все это погасло, и Сева смотрел на гладкие кирпичи, как и на все вокруг, с плоским пониманием и без всякой радости.

Он вспомнил, как недавно увидел свою бывшую невесту. В первый момент подумал, что она поменяла прическу: та девушка, в которую он был влюблен, носила другую. Потом он понял, что дело не в прическе, — он даже не мог себе представить, что раньше любил эту чужую женщину. Это была теперь не она, а другая. И весь мир вокруг был похожий, но не тот прежний и не тот обещанный прежде. В этом теперешнем, подложном мире не стоило ничем заниматься, потому что и результат любого занятия выйдет не тот — подложный.

И думает: «Что же гаданье?  
 Кудесник, ты лживый, безумный старик!  
 Презреть бы твое предсказанье!»

Сева прошелся по двору. Вот здесь раньше был склад, приезжали машины с продуктами. А сегодня пусто. Мебельные грузчики вынимали из фургона шкаф. Сбивали с него предохранительную окантовку.

Брел обратно. Вскрикнул от боли. Оказывается, наступил на гвоздь, торчащий из доски. Грузчики так и бросили их посреди двора. Пока добрался до дому, в ботинке уже хлюпала кровь.

Через день у Севы начался озноб и жар. Вызвали «скорую». Он рассказал врачам о гвозде. «Скорая» увезла Севу.

«Да, — подумал он. — Князь тихо на череп коня наступил...»

Молодой невысокий доктор сообщил Севе, что есть подозрение на сепсис. Сева улыбнулся в ответ. Доктор обиделся: «У вас опасное заболевание, а вы смеетесь!» Ему казалось, что его, как молодого врача, не принимают всерьез.

Севу повезли на каталке в операционную, но вдруг выкатили в знакомый двор. Шкаф так и стоял там по-прежнему. Видимо, хозяева его еще не забрали. Врачи-грузчики подняли каталку на попу и сбросили Севу в шкаф. Стоя в шкафу, он слышал, как его забивают снаружи гвоздями. «Врачи что-то напутали». Так вот как это бывает! Раньше он представлял врачебные ошибки по-другому, в более медицинском смысле. Странно, что они ушли, а стук продолжается и сквозь шкаф все видно: стены, потолок, операционную, слышно, что они говорят, а вот воздуха в шкафу больше нет — кончился, дышать уже нечем...

Больница была добротная, построенная еще «при коммунизме», как выражался старичок, сосед Севы по палате. Много людей в ней умерло за семьдесят лет, но большинство выжили.

— Это все ерунда, не главное, что у нас с виду такая больница: линолеум на полу обшорканный, задирается колом, стены небеленые, шелушится все, как в парше, тараканы ползают, из туалета воняет, — говорил Севе хирург, который делал ему операцию. — Я по опыту тебе скажу: это значит — хорошая больница. Здесь тебе умереть так просто не дадут. А вот если, не дай бог, ты попал в такую клинику, где везде евроремонт, все блестит, медсестры не грубят, врачи улыбаются — вот тут тебе и хана! У нас как фронтовой госпиталь, а у них театр: изображают медицину, чтобы деньги собирать. У нас бесплатно, а у них дорого. А что толку за свои деньги помирать?

Они были ровесники, но доктор обращался к Севе на «ты» по главенству положения.

— Мне во время операции казалось, что где-то стучат и гвозди забивают. Бывают такие видения под наркозом?

— Это не видение, — усмехнулся хирург, — это у нас ремонт идет, там и стучат. Иногда штукатурка пациенту прямо в брюшную полость с потолка падает.

— Понятно, — сказал Сева.

— Анализы ваши пришли, — взял официальный тон доктор. — У вас нехватка цинка в организме.

— Это плохо?

Доктор скривился, выражая улыбкой, что это пустяки:

— Не главное. Уколычки поколем, капельницы с витамином В прокапаем. Вон ногти у тебя какие, тут без анализов видно.

Кроме Севы и старичка из коммунизма в палате было еще два человека. Один, веселый дядька, гордился своим заболеванием, часто рассказывал, что каждый год ложится в больницу уже десять лет подряд после неудачной операции.

— Обо мне диссертацию написать можно! — говорил он.

Это был мастер с судоремзавода, и, возможно, ему льстило, что его имя войдет в науку. Хотя он не особенно надеялся на это, а больше ради шутки говорил и чтобы отвлечься, потому что у него болело постоянно.

Другой, хмурый толстяк, пил компот банками и был всем недоволен. Особенно сердился, что к нему приставили молодого лечащего врача, того самого, что раньше был у Севы и обижался на несерьезность пациента.

— Что он понимает?! — сердился толстяк.

— Им тоже на ком-то учиться надо, — уговаривал его веселый.

По ночам толстяк охал, страдая от своей болезни, и мочился в пустые банки из-под компота, чтобы не вставать в туалет. Старичок из коммунизма говорил:

— При моей болезни хлеб кушать нельзя. А хочется хлебушка. — И он доедал тот хлеб, что оставался у соседей по палате после обеда.

Сева лежал под капельницей и смотрел в потолок.

В больнице он временами начинал чувствовать свое тело как ожившую картинку из анатомического атласа — все эти мышцы, жилы, су-

ставы, железы, где каждый орган был на виду, открыт и уязвим. Сева старался выбраться из этого ощущения одним только взглядом, надолго устремленным в потолок или в окно, за которым стояла, роняя листья, тихая больничная роща. Асфальтированные дорожки с крашенными извештой бордюрами сходились к круглой клумбе с гипсовой чашей, белевшей по ночам, как медицинский призрак. Сева грустил о прошлом; в прошлом он тоже грустил о чем-то, но сейчас это казалось недостижимо прекрасным. Он случайно набрел мыслями на то, что через какое-то время будет так же горько жалеть о теперешних днях, которые не смог оценить вовремя по достоинству. И тогда в нем больно дернулась давно нетронутая и занемевшая от простоя жила радости.

Утром ему показалась интересной медсестра, которая пришла ставить капельницу. Она была такая же, как всегда, но, глядя на нее, Сева вспомнил вкус кофе. В больнице давали только чай, молоко, компот или кисель. Прележав положенный час под капельницей, Сева собрался и спустился во двор. Впервые за две недели вышел на улицу. После дождя пахло водосточными трубами. Как в детстве! Он прошел по аллее до железных ворот, купил в киоске пакетик растворимого кофе. Ему так давно вообще ничего не хотелось — и вдруг! На обратном пути он остановился в аллее, пытаясь высчитать, где на третьем этаже окно его палаты. Запущенный дворцовый фасад больницы белел сквозь ветви и влажный воздух. Так, через осеннюю листву, изображали на картинках старые дворянские усадьбы.

Была среда, самый обычный день. По коридорам ходили врачи, медсестры с капельницами, санитарки с ведрами, пациенты, студенты. А Севе было интересно на них смотреть, как будто они первый раз вышли. Потом обход, уколы, процедуры. Сева улыбался.

— Всё смеетесь! — на бегу корил молодой доктор.

Привезли пациента и разместили в коридоре, как это часто делали с новенькими. Сева ходил на него смотреть от нечего делать, прохаживался мимо как больничный дембель, выздоравливающий.

К новенькому подошла медсестра, та, утренняя, делать уколы. Лицо у нее было кукольное, но рука тяжелая. Новенький ахнул. Одновременно появился врач, снова молодой.

— Ну как дела? — спросил он.

— Пока не родила, — ответил пациент.

Врач переглянулся с медсестрой.

— Так и запишем, — сказал доктор и, не раскрыв карты больного, удалился в ординаторскую.

Жидковатым столовским чайком солнце весь день бродило по стенам и каменным плитам коридора, только к вечеру настоявшись до крепкой заварки. И Сева заварил в казенной кружке сберегаемый пакетик черного кофе.

— Кофе на ночь вредно, — сказал ласково сосед-старичок.

— Будете? — спросил Сева. — Половинку?

Старичок, помявшись, подставил свою кружку.

И еще: в этот день на этаже никто не умер.

Пожилые пациенты после выписки оставляли в палатах книги, которые им приносили почитать родственники. (Молодые развлекались с телефонами.) У Севы в тумбочке, когда он вселился в палату, было две: «Три мушкетера» и «Аэропорт». Он прочитал обе. А потом собрал по палатам целую библиотеку. Расставил в коридоре на подоконнике. Завотделением разрешил. Попадались экземпляры с дарственными надписями. «Коллектив аптечного склада поздравляет с юбилеем Рундукова Семена Прохоровича». Сева воображал себе этого Рундукова читающим «Портрет Дориана Грея».

Отсюда, из окна третьего этажа, Сева взирал на уже привычный П-образный двор, над которым голуби сделали круг и опустились где-то за больничной кухней, там, где весело сияла новенькой жестью крыша морга, как бы уверяя, что умереть тоже интересно. Нужно только понять. И Севе от избытка жизни представлялось, что он в эту минуту понимает.

— Хотите почитать книжку?

Он подошел к новенькому в коридоре, тот казался ему одиноким. Парень посмотрел на обложку. «Три мушкетера».

— Она исторически малодостоверна.

— Да? — удивился Сева. — Тут есть другие, вам показать?

Парень пожал плечами. Сева отошел к подоконнику. «Финансист», «Цыган», «Анжелика и король». «Интересно, они исторически достоверны?» — подумал он.

У кровати парня уже стоял другой врач — тот хирург, что оперировал Севу. Смотрел медицинскую карту.

— Так. Так, — повторял он, перелистывая страницы. — Конягин Илья.

Сева замер с книгой. Фамилия показалась ему знакомой.

— А почему в госпиталь не обратились, они вам обязаны предоставить.

— Потому что начмед — мудака. Я явился туда не по форме, видите ли, вот он меня и завернул. Я его послал куда положено.

— Ясно. Не главное, — кивнул врач. — Сквозное, огнестрельное, резекция брюшной полости. Покажите живот.

«Лиза говорила мне, и я записывал даже про некоего Конягина Илью, но она тогда так и не вернулась, чтобы объяснить, какая связь между мной и этим человеком. Вообще, все было так сумбурно. И вот пожалуиста! Мы оказываемся в одной больнице. Лиза что-то знала и не открыла мне до конца. Почему?»

Сева понурился у подоконника, постукивая пальцами по обложке незнакомой книги «Альбиносы в черном». Он решил, что надо расспросить этого Илью. Однако кровать его была уже пуста. Медсестра увела его в процедурный кабинет. Сева прогуливался по черным ромбам коридора, дожидаясь окончания процедуры, но сразу после этого пациента отправили на рентген. А потом начался обед. Опоздаешь — может не хватить творожной запеканки. Сева пошел, чтобы занять очередь. Здоровье в нем понемногу брало верх, интерес к запеканке был живее тяги к загадочным совпадениям.

После обеда Сева спал и видел во сне рыбалку, лето, себя среди веселого движения, воды, облаков и теней. Проснувшись, он глядел в окно

и слушал разговор соседей по палате. Они вспоминали, какие цены были раньше, чего и сколько можно было взять на рубль, три рубля, десять, сто. По мере возрастания суммы рос их восторг.

— Нет, это вы путаете, андроповка четыре двенадцать стоила, а обычная — пять тридцать, — сердился толстяк.

— Четыре семьдесят, четыре семьдесят, — настойчиво и радостно повторял мастер с судоремзавода.

— Четыре двенадцать «Экстра» стоила, старка — четыре семьдесят две, — мягким голосом молился старичок из коммунизма.

Этот предмет был особенно связан с фактурой жизни. А уже за ним, обмытое и радостное, представало все остальное.

Сева вышел в коридор. Солнце лежало уже по-вечернему. Матрас на кровати новенького был скатан, блестела панцирная сетка. Сева дождался медсестры и спросил у нее.

— Его во вторую хирургию перевели, в гнойную. Помогите матрас отнести.

Он последовал за сестрой по коридору, обняв скатанный матрас и не видя, куда ступает. Он думал, что они несут его Илье в другое отделение. Но медсестра открыла кандейку и сказала:

— Бросайте сюда.

Там, внутри, было множество матрасов, и раньше, глядя на них, Сева обязательно подумал бы о том, сколько же людей на них страдало и умерло. И сейчас он тоже об этом подумал, но совсем не так, как прежде.

Южные окна коридора показывали летние, курортные облака, по ошибке вставшие над осенним днем. И Сева вспомнил, что так и не поехал в Ялту.

Теперь он сам вызывался в помощники буфетчице, чтобы носить с кухни ведра с обедом. Ему нравилась эта прогулка по двору. Нравилось ждать, сидя на скамейке под деревом, когда вынесут эти ведра, смотреть вокруг, хотя ничего особенного никогда не происходило: ну воробей пролетит, больной или доктор пройдет, ветер подует и понесет листву.

Однажды, гуляя по коридору, Сева обратил внимание на эффектную даму, которую только что выпроводили из ординаторской. Она вновь туда ринулась, но чьи-то решительные руки опять выставили ее в коридор и в замке повернулся ключ. Сева заинтересовался и решил подойти поближе, однако на полпути резко свернул и спрятался за колонной. Он узнал Червовую Даму. «Опять она меня ищет!» И если раньше Севе было безразлично, то сейчас он испугался, смутился. Он стоял, давно небритый, в спортивных штанах с вытянутыми коленями, в замызганной, растянутой футболке. И почему-то ему это было не все равно. «Она дура, а я от нее прячусь за колонной!» — подумал Сева, слыша цоканье каблучков по каменному полу и уловив запах ванили. Он тихонько прошмыгнул на лестницу черного хода. Там стояли курильщики, молодые парни в спортивных костюмах вместо больничных пижам. Стряхивали пепел в мутную стеклянную банку. Один что-то рассказывал, а другие двое хотали тоненькими мультяшными голосами.

Дальше начались странные для Севы вещи, он от такого отвык. Червовая Дама приснилась ему голой. Вначале было непонятно, что это она.

Русалка с невероятной грудью раскладывала карты прямо на воде, дробя лунное отражение. Она задумчиво покачивалась на надувном круге, который оказался на самом деле ее невероятными, накачанными до резиновой, скрипучей твердости бедрами. «Берите карту, берите!.. Вы ведь эту карту загадали?» — спрашивала русалка. «Нет», — отвечал Сева. «Эту, эту», — томно настаивала русалка, приближаясь к нему червовыми губами.

Проснувшись, Сева попросил у соседа бритву, сказал, что купит ему новое лезвие. Побрился. Переменил футболку. И весь день ходил озираясь.

В мужском туалете на полу было выложено кафелем «БСМЧ». Сева долго там сидел на клеенчатом топчане, предназначенном для клизмирования пациентов. Тут было спокойней. Он вспомнил, что собирался спросить у этого парня, Ильи Конягина, но, что именно спросить, не мог четко сформулировать. Может быть, позвонить Лизе и разузнать подробнее, что она имела в виду тогда?..

Телефон был всегда при нем, Сева контролировал тетку Валентину, напоминал ей пообедать, принять лекарства. Дважды тетка навещала его в больнице, протягивала дрожащими руками апельсины и плакала. Потом не помнила, где выход, блуждала по коридорам, и приходилось просить санитарку проводить старушку до ворот. Сева велел ей больше не приезжать, сказал, что его скоро выпишут.

— Мама твоя? — спросил старичок из коммунизма.

— Тетка.

— А как фамилия?

Сева ответил.

Старичок улыбнулся:

— А я ее сразу узнал. Она артисткой была. Я все ее спектакли по несколько раз смотрел из-за кулис.

Сева повернул голову, посмотрел на старичка.

— Я плотником в театре работал. Декорации строил, — улыбался старичок, глядя в высокий потолок палаты, подложив ладони под затылок. — «Макбета» строил, «Тартюфа» строил, «Разгром» строил... Главный художник у нас был — Никандр. Как нарисует декорацию — мы смеемся. Думаем: как же это древесину так выгнуть? А ничего, потом смотришь, получается красиво... Интересная женщина была. Вот если даже такие, как она, старятся, то подумаешь себе, подумаешь — и помирать как-то не жалко, а?

Сева пожал плечами.

— А она меня не узнала. Совсем...

Теперь, разглядывая выложенную кафелем надпись в туалете, он вспомнил все это мельком, отыскивая в телефоне номер Лизы.

— Привет! — удивилась Лиза.

— Как дела? — спросил Сева, не зная, с чего начать.

— Спасибо, ничего. Как у тебя?

— Хорошо. Я тебя... я спросить хотел про этого человека, Илью, помнишь?

В трубке повисло молчание.

— Дело в том, что я его видел недавно...

— Что?!

— Ну, то есть не его именно, я не уверен...

— Во сне?

— Почему во сне?

— Как ты мог видеть его наяву, если ты с ним даже не знаком?

— Ну да, верно.

— И как он тебе приснился? Что с ним?

— Все хорошо, — пугаясь ее напора, ответил Сева. — Он в больнице.

— В больнице... значит, в госпитале? Ранен?!

«Не может быть, — подумал Сева, — откуда она знает?» Самый простой ответ не приходил ему в голову.

— Это у тебя было как бы в астральном видении?

Тут вошел сам Илья Коныгин. Туалет на втором этаже, в гнойной хирургии, временно закрыли, ликвидировали аварию, и пациенты, кто мог, ползали на третий.

— Как бы да, — в растерянности ответил Сева. (В этот момент Илья, действительно, казался ему видением.) — Хочешь с ним поговорить?

— Как это?

Сева встал с топчана и прошел к кабинкам без дверей:

— Тут вас к телефону...

Илья уже взгромоздился на унитаз и с армейским спокойствием посмотрел на идиота, протягивающего ему трубку.

— Алло, кто это? — сказал он.

— Илья?!

— Лиза?!

В трубке раздался стук, наступило молчание.

— Так ты и есть тот мужик, астролог, который ее бросил?

Илья с улыбкой разглядывал его. Между ними уже произошло первое объяснение. Но взаимное удивление еще не растворилось. Илья смотрел на Севу не просто с интересом, а с тем особым удовольствием, с каким человек находит всякое подтверждение своей правоты. Глядя на Севу, Илья каким-то образом дополнительно убеждался, что правильно, что он расстался с Лизой.

Они сидели в столовой, обычно закрытой для пациентов в часы между приемами пищи. Повариха сделала поблажку Севе. Помощник ведь. Даже налила им по стакану компота. На стенах желтели плохо покрашенные бледной краской утята. Тени прошлого, детского отделения.

— Мне кажется, вы подходили друг другу? — спросил Илья без церемоний. — Она тоже высокая...

— Это трудно объяснить... — начал Сева неохотно.

— Точно, — кивнул Илья. — А ты правда астролог?

— Раньше был.

— Что вы скажете, маэстро, о человеке, который родился 22 декабря в шесть тридцать утра, в год Кабана?

— Кто-то из ваших знакомых?

— Заочных.  
 — Я больше этим не занимаюсь.  
 — Решил, значит, начать новую жизнь... Я вот тоже, — сказал Илья, с кривой улыбкой постучав себя по животу.

Сева кивнул.

— Жалко. Хотел проверить, разыграть тебя маленько.

— Вы сильный человек, — сказал Сева. — У вас болит в боку слева, а вы мне загадываете какого-то исторического персонажа из французской революции.

— Правильно, я загадал Кутона! А как ты это делаешь?

— Вижу. Сейчас уже не так ясно, как раньше. Вот примерно как этих утят. — Сева показал на стенку. — Но надеюсь, что скоро совсем пройдет.

— И с такими способностями не хочешь быть астрологом, или предсказателем, или кем там еще? Куча денег по-любому!

— Да. Не хочу.

— Вы зарываете в землю свой талант, маэстро, а могли бы принести людям пользу.

— Никакой пользы в конечном смысле не существует.

— В «конечном смысле», может быть, ничего не существует, — усмехнулся Илья. — Дался тебе «конечный смысл»... А ты делай в простом, в обычном смысле. Обо всем конечном и бесконечном кто-нибудь другой без нас прекрасно распорядится.

— Так зачем же тогда вся эта «польза»? Можно и без нее просто жить.

— Можно и без нее. Главное, чтоб нравилось, а там как хочешь — так и хорошо.

— А если без смысла плохо?

— Ну живи со смыслом!

— А если смысла нет?

— Опять двадцать пять! Ну не живи. Пошел удавился — какие проблемы?

— Так ведь жалко же себя.

— Жалко — живи дальше. Грустно — иди вмажь грамм триста. На пустом месте проблемы строишь.

— Вы же на самом деле не вполне так думаете, — сказал Сева.

— Да, не вполне, — с напором признал Илья. — Но я научу себя именно так думать, потому что я знаю теперь, что это правильная позиция по отношению к реальности.

— А почему вы с Лизой расстались?

— Ну вы же тоже расстались. Мне стало с ней неинтересно. Она замуж хочет, я — нет. Она высокая — я среднего роста. Я шутки люблю — она юмора не понимает...

— Мне жалко ее, она вас любит, это очень ценно. Вы пока не понимаете: это важнее, чем юмор.

— Что ж мне — из благодарности на ней жениться? Я не виноват, что она меня любит. — Илья допил компот и сказал: — А ты возьми и женись на ней сам. Это помогает. Тогда перестанешь про пользу ду-



мать и про «конечный смысл». Будет некогда. У меня старший брат когда женился — даже институт бросил. А ведь на красный диплом шел, физик-теоретик. Ни о чем, кроме квантов своих и кварков, говорить не мог. А теперь прекрасный автослесарь, отлично зарабатывает, содержит семью. В Крым летом ездит.

— Я тоже раньше хотел, еще до того... в Крым.

— До чего?

— До того, как всё увидел.

— Ну так посмотри теперь на что-нибудь другое.

— Нет и не может быть ничего другого по отношению ко всему.

— Может. Вот я, например. У меня другая психологическая реальность. И с вашим «всё» никак не пересекается.

И в этот момент его дернуло назад так, что он ударился затылком о стену с нарисованными утятами. Но тут же согнулся, схватившись за живот. Сева с буфетчицей довели его до сестринского поста, а оттуда вместе с дежурной медсестрой повезли на каталке к лифту. Илья лежал, сжав зубы, и взгляд его растерянный подтверждал именно то, против чего он так упорно только что спорил.

Сева помнил пробуждения в детстве, тот холодок радости, которая босиком прибегала к нему.

Помнил сладкую, здоровую лень и стремительную свежесть пробуждений в юности.

Утро всегда вставало молодым и надежным. Всегда на его стороне.

Потом (вспомнить бы точнее — когда) стала появляться тревога. Может быть, началась с обыкновенной спешки, похмелья, пробуждения в чужой постели. Наконец, окрепнув, тревога перестала нуждаться во внешних причинах. А потом пришел страх. Как фигура слишком высокопоставленная, он не баловал визитами, но и не церемонился. Мог явиться в три часа ночи, а мог в шесть утра — когда угодно. Мог вообще не являться, но ждать себя велел. И вот с того момента сердце Севы поехало в другую сторону: вместо того чтобы жить дальше, пробиваться вперед, оно побежало назад, желая укрыться в детском, надежном, светлом. А назад жить нельзя, потому что там уже никого нет.

Посреди этой ночи вспыхнул свет. Толстяку, любителю компота, стало плохо, и его увезли в реанимацию. Сева думал о нем и одновременно вспоминал Илью. Из форточки тянуло сырой прохладой, и качался по веткам свет уличного фонаря.

Когда проснулся снова, высокое окно перед ним матово светилось, покрытое моросью. Птичка чирикала за форточкой.

— Весь подоконник загадили, — пеняла птичке мордатая санитарка, шлепая тряпкой по полу.

— Сегодня последняя, — улыбаясь, сказала Севе красивая медсестра и, как всегда больно, ввела иглу.

— А вы не можете узнать про одного пациента со второго этажа, ему вчера плохо стало.

— Как фамилия? — спросила сестра.

Через полчаса она вернулась снимать капельницу. Сообщила:

— В реанимации, стабильный.

— А наш великан? — поинтересовался старичок из коммунизма, указывая кружкой на пустую кровать.

— Умер, — ответила красотка.

Это случилось еще до начала ее дежурства, и поэтому ей казалось, что день начался удачно. С умершими всегда морока для дежурной смены.

После вернулась мордатая санитарка, забрала из-под кровати толстяка банки с мочой.

— Вот увидишь, она их домой отнесет, под огурцы маринованные, — сказал мастер с судоремзавода.

Приехала вдова толстяка. Всем было не до нее: профессорский обход. Стояла у ординаторской в мокрой меховой шапке и осенних сапогах. Застежки не сходились до конца на широких икрах. Всем мешала. Ее обходили пациенты, объезжали медицинские каталки. Просили посторониться. И она стояла то тут, то там, но всегда отдельная от всех, с прозрачным целлофановым пакетом, в котором лежала бритва мужа. Сева вспомнил, что так и не отдал лезвие.

И, как будто отработывая долг, он весь день вспоминал об этом человеке. Думал: «Вот все ходят, и я иду сейчас на кухню с ведрами, а он лежит там. А когда-нибудь все будут так вот ходить, а я буду лежать. Это неминуемо для каждого, только никто об этом не думает. Или по ним просто не видно? По мне же незаметно... Может быть, мы все сейчас ходим, что-то делаем, а все равно думаем о нем?» На кухне по ошибке выдали лишнее ведро, поэтому в обед каждому досталось по два стакана компота. Толстяку бы понравилось. «Мертвые — в землю, живые — за стол».

«Он, наверное, уже где-то там», — думал Сева, глядя вечером на полосу догорающей зари. Но остаться в живых все равно было уютней — как прийти домой, проведив кого-нибудь на вокзале, и заварить чаю.

На освободившееся место в палате никого пока не вселили. «И тот, кто придет, не будет знать ничего, лежа на этой кровати. Так же, как я на своей».

На другой день Севу выписали. Он прошел по аллее парка, поглядел в последний раз на окно на третьем этаже и вышел за ворота. В автобусе он сам себе казался приезжим.

Дома с порога ударила в нос кислая вонь. У тетки Валентины прокис борщ. В мусорном ведре гнили картофельные очистки, кастрюля с остатками манной каши обросла изнутри пухом плесени, во всех стаканах было прокисшее молоко, которое тетка собиралась использовать для выпечки оладий. Белье, замоченное в ванной для стирки, прело в тазу. Казалось, достаточно зажечь спичку — и весь этот метан зловония взорвется.

Тетка сидела перед телевизором и смотрела программу «Давай поженемся».

Но только увидев свою комнату, Сева почувствовал настоящий гнет. Он впервые понял дистанцию, на которую удалился за месяц от этого просиженного тоской места. Он опустил на стул и высидел так минуту. Что здесь дальше делать, он не знал. Вытащил из сумки прихваченную в больнице недочитанную книгу. Те самые «Альбиносы в черном». Лег

на кровать. Среди страниц была закладка, больничное направление. Сева подумал, что сейчас в больнице обед, время идти с ведрами на кухню и сегодня будет запеканка. А потом он уснул.

Проснувшись, глядел на ряд зеленых рюмочек за стеклом серванта в уже полутемной комнате. Он помнил их с детства. И вот эти рюмочки всю свою жизнь так и простояли на месте.

Тетка все еще сидела перед телевизором.

— Севочка! Ты пришел! — обрадовалась она. — А я вот на минуточку присела отдохнуть.

— Отдохнули? — спросил Сева. — Я за продуктами пойду, а вы вымойте там все на кухне, дышать ведь нельзя.

Когда он вернулся из магазина, тетка Валентина решала, куда ей перелить для дальнейшего сохранения прокисшее молоко. Сева отослал ее писать мемуары, а сам безжалостно вместе с посудой выбрасывал всю эту плесень и гниль в большой пластиковый мешок. Открыл окно. В каждом углу были залежи старья, тряпья, приводившие Севу в ярость. И находя все новый хлам, он чувствовал, что ему хочется и тетку Валентину захватить уже в этот мешок. Попутно вынес на улицу несколько горшков с засохшими растениями. «Завтра займусь комнатами», — подумал он.

Сервант, который стоял в комнате Севы, был огромный, с антресолю, с тусклым зеленоватым зеркалом, резной и по-своему уникальный, властный. Все, что Сева делал, он делал в обход серванта. Шел ли позвонить по городскому телефону, выпить чаю, втолкнуть штепсель в розетку — все нужно было делать протискиваясь, изгибаясь, ударяясь локтем или коленкой об это сооружение. Воздуха и света в комнате почти не было. Трехстворчатые легкие серванта поглощали его, зеленое стекло гасило.

Сева решил избавиться от него. Приехали двое мужиков со стропентой и смотрели на сервант, как пыльщики на дуб.

— Да... Так его не вынесешь.

Достали инструменты. Сервант кричал под долотом. Прибежала тетка Валентина, всплеснула руками, как плакальщица.

— Мне доктор прописал, чтобы воздух свежий был, — отрезал Сева.

Теперь в комнате звучало тугое эхо. Сева содрал обои и побелил стены. Снял темно-зеленые, тяжелые от пыли, как парча, шторы. Выдернул из стены плоскогубцами огромные кривые гвозди, на которых держались две книжные полки. И все это вместе с книгами снес на улицу. Две полки долго торчали из мусорного контейнера косым крестом. Тетка бегала за Севой, когда он вытаскивал хлам. Потом смирилась, сидела на табуретке как сирота.

— Вам лекарство принимать пора, — сказал Сева.

Осмотрев свой гардероб, он полностью освободил и платяной шкаф. Можно выбрасывать. Теперь посреди пустой комнаты стоял стул, и на полу лежала его четкая тень. Штор не было. Стола, кровати, книг, компьютера — ничего больше не было.

Тетка Валентина только ахнула.

— Мне так светлей, — сказал Сева.

Он решил истребить ненужное внутри через лишние предметы снаружи. Осталась старая летняя куртка и надувной матрас. Днем Сева ходил в этой куртке, ночью ей укрывался.

Когда Илья уехал в горячую точку, Лиза решила: «Вернется — куплю в церкви свечей на всю зарплату, а если не вернется — утоплюсь». Теперь, после телефонного разговора, она не знала, как поступить. Илья вернулся, но не к ней. Телефон выпал из ее ладони. Дрожащими пальцами Лиза вставила на место аккумулятора. Перезвонила Севе. Сева снова подал трубку Илье. Илья объяснил ей, что он вернулся, у него все хорошо. Но... Лиза думала, что все же стоит поставить свечку в храме, хотя утопиться хотелось сильнее. Она не знала, что ей с собой сделать, и поэтому пошла в филармонию на симфонический концерт.

До этого она не была в филармонии. Классическую музыку слушала не больше минуты подряд — реклама, чей-нибудь рингтон. В программке значилось: «Популярная классика: Штраус, Шопен, Григ, Брамс, Чайковский...» Лиза сидела в черном платье с открытыми плечами, прямо смотрела на сцену. Ее не тронула задушевность Шопена и печаль Грига, а во время исполнения «Маленькой ночной серенады» Моцарта, веселой, в сущности, вещицы, Лиза представила себе, что эта музыка играет на их с Ильей свадьбе, и крупные слезы покатались у нее по щекам. При этом она улыбалась «улыбкой Кабирии», как с восторгом заметил про себя музыковед Рогачев, зашедший сюда случайно, ради рюмки коньяка в буфете, и теперь задохнувшийся от одного взгляда на прекрасную, плачущую Лизу.

«Какое чувство музыки! Какая шея! Да, это наивный восторг, может быть, но он лучше моей пресыщенности и снобизма». Рогачев кусал уголок программки. Ему казалось с некоторых пор, что он потерял интерес к музыке и к жизни. Один невероятный случай на него так подействовал. Он ехал в трамвае. Это было под вечер. К нему обернулась впередистоящая женщина и спросила: «Как звали Спинозу?» — «Барух», — ни на секунду не задумавшись, ответил он. Женщина тут же сошла на остановке, а Рогачев поехал дальше.

Он миновал еще четыре остановки, зашел по дороге в булочную, приготовил себе холостяцкий ужин, выкурил сигарету и не знал, что ему делать дальше. Зачем дальше жить? Если твое земное предназначение выполнено и ты только что, мимоходом, пережил миг триумфа. Свой звездный, так сказать, час.

Ребенком Вениамин Рогачев, воспитанный, некрасивый мальчик, нравился учителям. Даже одноклассники нашли в себе силы простить Вене пятерки по всем предметам, держали его за некую диковину и не давали чужим в обиду своего «профессора». Рогачев и сам мог постоять за себя: высокий, широкоплечий, он кидался на противника с бешенством не умеющего драться добряка и мог выдержать несколько прямых попаданий, давая врага массой.

В старших классах он полноправно пил портвейн с одноклассниками в подъезде или на детской площадке, но уже тогда понимал это занятие как некую уступку той настоящей жизни, которую ведут все вокруг. Настоящая жизнь начиналась, когда он садился за фортепиано или мол-

ча читал ноты. Он окончил музыкальную школу в числе лучших, поступил в институт, и долгие годы ушли на то, чтобы понять простую вещь: настоящего исполнительского таланта у него нет. Теперь он преподавал историю музыки, писал рецензии... Однако это была не та блестящая карьера, о которой он мечтал. Он не чувствовал у студентов-культурологов интереса к предмету, как не чувствовал и в редакциях большой нужды в его рецензиях. А той женщине в трамвае зачем-то нужно было имя Спинозы! Так остро, что она спросила у первого встречного! «И неужели это все?» — думал Рогачев.

В антракте, увидев, что девушка без спутника и прогуливается по фойе одна, Рогачев подошел к ней:

— Позвольте угостить вас бокалом шампанского.

— Спасибо, у меня от шампанского изжога, — ответила Лиза.

— Может быть, кофе? Или коньяку?

— Давайте коньяку.

— Я хочу выпить за то, как красиво вы слушали музыку, — сказал Рогачев. — Меня зовут Вениамин.

— Елизавета. — Лиза энергично стукнула его рюмку своей и выпила одним махом. — У меня глаза сильно красные?

— Немного.

— А вы, случайно, не пожарник?

— В каком смысле?

— Так, ерунда, — отмахнулась она. — Я недавно фильм про пожарников смотрела американский, вы вроде похожи там на одного, тоже лысого.

— Нет, я музыкант.

— Ого! На чем играете?

— Угадайте, — улыбнулся Вениамин.

— На трубе такой большой, которую на спину надевают? Не знаю, как называется...

— Да, — соврал Рогачев.

— Я так и подумала, — улыбнулась Лиза, моргая.

— Уже второй звонок.

— Я не пойду, устала.

— Тогда, может, еще коньяку?

— Вениамин, здесь дорогой коньяк, что толку тратиться? За эти деньги вон в гастрономе можно целую бутылку взять.

Окрыленный Рогачев устремился со своей спутницей в гардероб.

В его комнате в этот час было два солнца: одно заходящее, а другое — отраженное в зеркале, висевшем в простенке. Одно солнце светило в лицо Лизе, а другое — в лицо Рогачеву, когда они стояли друг против друга в струе театрального, напудренного света.

— А где же ты держишь трубу? — спросила Лиза, озираясь в холостяцкой квартире музыканта.

— Я ее в гараже держу.

Лиза рассмеялась, сама чувствуя, какая она пьяная.

«Она вульгарна и глупа!» — подумал Рогачев. Хотя это не остудило его пыл. Он шагнул вперед, как по сцене, в этом розовом, пошловатом

свете, а Лиза в ответ, раскрывая руки ему навстречу, неловко сделав преувеличенное, рассчитанное на шутовскую широту движение, больно ударила локтем о притолоку. Ее как током дернуло. Она еще улыбнулась сквозь боль, а после села на диван и заплакала, вспомнив, что Илья сейчас где-то рядом, в этом городе, но не с ней.

...Заплаканная, она выбежала на улицу и взяла такси, назвала адрес. Фонари уже горели. Дорога пошла через темные новостройки, затем через лес. Водитель временами поглядывал в зеркало. Лиза приложила платок к носу.

— Вам к центральному входу? — спросил таксист, когда они подъезжали к кладбищу.

— Угу, — ответила Лиза и расплатилась.

Ключи были в сумочке. Только здесь, в офисе, на фоне венков и лакированных крышек, она успокоилась. Из окна было видно, что машина все еще стоит на маленькой площади с круглой клумбой, чернеет на фоне освещенного луной забора. Лиза механически листала альбом с изображениями похоронных медальонов. На металле надежно и недорого. Однако потом все равно портится. Шелушится. «Вот и мне потом ни до чего не будет дела», — подумала Лиза насильно, чтобы отрешиться от себя, но снова заплакала.

Глянула в окно. Машина уже уехала. Лиза вышла. Прохлада обняла ее. Она двинулась по центральной аллее мимо поблескивающих памятников. Шла посередине, цокая каблуками, в длинном вечернем платье и усмехнулась, вспомнив водителя. Если сейчас ее кто-нибудь увидит, примет за привидение. Было слышно, как по шоссе слева проносятся машины. Лиза повернула направо. Шорох. Краем глаза увидела метнувшуюся тень и уверенно направилась туда.

— Ну? — сказала она весело.

Блеснули светящиеся глаза и, шурша листвой, навстречу Лизе выбежала собака, уткнулась ей в ладонь мокрым носом.

— Привет, Найда! Пойдем погуляем.

Собака побежала рядом, помахивая хвостом.

— Теперь мы еще страшнее: ты вся черная! — сказала Лиза и пошла улыбаясь, глядя на луну в зубчатом просвете черной аллеи.

«Прямо отлегло! Работа лечит!» Раскинула свободные рукава вечернего платья, как крылья. «Когда-нибудь мне будет все равно, — вернулась к ней прежняя мысль, — но теперь-то как чудесно!»

Сева чувствовал, как постепенно распадается то вещество, которое он выплавил внутри себя за последний год. Ему казалось, что он видит, как эта зараза хлопьями абсорбируется в крови. Вступив на путь добровольной аскезы, он теперь все больше интересовался предметами роскоши. Если раньше он мог стоять и в глубокой задумчивости наблюдать закат, полет птицы, движение листьев или просто уличную суету, то теперь так же долго он мог разглядывать фарфоровый сервиз, расписанный в японском стиле, или кухонный гарнитур, занимающий целый зал в выставочном павильоне дорогого магазина, или сверкающий мотоцикл, похожий на хромированного буйвола. Его стали интересовать материальные

вещи, потому что за ними стоял незнакомый ему обмен веществ другой жизни. Той, которая не ждет себе смерти каждый день. Сева жил последнее время с очень низким коэффициентом надежности. Все вокруг и сам он казался себе слишком хрупким. И сквозь эту хрупкость он видел далеко, как через голый скелет.

Однажды ему захотелось купить часы. Прежде у него не могло возникнуть такого желания. Во-первых, потому что время своим неумолимым движением угнетало его, а во-вторых, потому что он и без часов каждую минуту с абсолютной точностью знал, который час. Время шло в нем само, как бомба.

Он, конечно, не купил их, но несколько раз приходил любоваться на эти строгие в своей элегантности часы марки a. v. art. Зато он приобрел зимние ботинки Camelot Stakan, сапожную щетку с деревянной лакированной ручкой и дорогой крем для обуви. Когда он нюхал этот крем, лицо у него становилось таким же отрешенным, как раньше, когда он, вращаясь по спиралям Вселенной, наблюдал абрикосовую косточку в стакане. Каждый вечер он чистил новые ботинки прямо в комнате, и до утра они стояли на полу, сверкая даже в темноте. А он, просыпаясь среди ночи, смотрел на них и думал: вот наступит утро, надену их и пойду. Куда пойдет, зачем, он не думал. Просто пойдет, чтобы потом можно было опять их чистить вечером. Для чего человек покупает себе дорогой байк? На работу ездить, что ли? Вот и Сева купил ботинки, чтобы просто ходить в них.

Ботинки однажды сами привели его в пустой полуденный спортбар, где на экране огромной «плазмы» транслировался в записи какой-то матч. Вратарь Мануэль Нойер, сосредоточенный великан-красавец в спортивной форме с нашивкой клуба, ожидал выхода команды на поле. Томас Мюллер, стоявший позади, что-то сказал, и Нойер кивнул ему в ответ.

И все. Дальше можно было не смотреть.

Этого было достаточно для того, чтобы убедиться, что где-то есть другие люди, другая жизнь, исполненная достоинства, смысла, интриги. Красота, сила, спокойствие — то, чего больше нет в кино. Команды вышли на поле, и зазвучал Гендель в аранжировке Бриттена — гимн Лиги чемпионов.

Но Сева видел еще многое. Как в середине игры посмотрел на часы немецкий тренер. Как с досадой провел по лицу ладонями и сплюнул в сторону бомбардир. Как вскочили разом, будто подброшенные, трое запасных игроков со скамейки. Таких крупных планов давно не делали ни «Мосфильм», ни Голливуд. И кроме того, это было не кино, это была жизнь.

Сева просидел полтора часа за стаканом молочного коктейля, упершись локтями в стойку.

Шел успокоенный тем, что где-то существует нормальный и при этом не выдуманный мир.

В автобусе на сиденье рядом с ним опустил уже узбек, в темных пальцах держал прозрачный кулечек с печеньем курабье — грамм сто, не больше. «Гостинец? Дочке?» — подумал Сева. И сочувствие к незнакомой судьбе тяжелой ватой забило все светлое внутри. Отвернулся.

Второй покупкой стал бумажник Remington. И вместе с этим приобретением произошло второе по счету открытие денег в жизни Севы. В не-

давнем его состоянии деньги не могли иметь значения, потому что особого значения не имела для Севы, в сущности, сама жизнь.

Часто для того, чтобы просто захотеть чего-то, недостаточно одного желания. Нужно понимание того, что это желание реально. Это, кажется, вроде просто, но на самом деле встречается редко. Большинство людей привыкли жить в «нельзя», в «невозможно», в «невероятно» и куда лучше могут объяснить, почему то или иное событие не произошло в их жизни, чем задуматься над тем, как это так случилось, что вот жизнь прошла, а они сидят нищие и одинокие в однокомнатной квартирке и не могут вспомнить из всего своего прошлого ничего путного, кроме пары дней в юности и недели отпуска где-нибудь в Ялте. В этом смысле Сева был вполне как все, несмотря на необыкновенные способности, которые он против воли открыл в себе и против воли терпел, вместо того чтобы пользоваться. И тут он снова не исключение: подавляющее большинство людей в большей степени терпят свою жизнь, нежели пользуются ею.

По утрам Сева в шутку пугал тетку Валентину, что у них кончились продукты. Разводил руками. Тетка Валентина растерянно моргала. Ему это казалось забавным. Затем он ставил на стол приготовленную кашу или омлет и расспрашивал тетку Валентину о чем-нибудь, чтобы не скучно было жевать. «Ну, расскажите мне: как вы в институт поступали?» Тетка Валентина любила поговорить. Она даже сама с собой разговаривала. Как только она заканчивала рассказ и выпивала несколько глотков кофе, Сева задавал ей тот же самый вопрос, и тетка Валентина принималась рассказывать по-новому, почти слово в слово. Это тоже забавляло Севу, и он иногда по три-четыре раза повторял этот фокус. И с каждым повторением злился и смеялся, и тетка радовалась, что Сева такой отзывчивый слушатель. «Хорошо, — говорил Сева, поднимаясь из-за стола. — А потом еще как-нибудь расскажете мне, как вы в институт поступали». — «Расскажу!» — с благодарной готовностью отзывалась тетка Валентина.

— А куда делся мой сервант? — иногда спрашивала она.

— Какой сервант? — улыбался Сева.

— Тот, что стоял в твоей комнате, Севочка.

— Да разве там был какой-то сервант? — изумлялся он.

— Ну да...

— Странно... А какой он был из себя?

Этот вопрос всегда ставил тетку в тупик, и Сева наслаждался.

— Черный? — подсказывал он.

— Нет...

— Зеленый?

— Да нет! Какой зеленый, разве бывает зеленый?

— Ну а что в нем было-то? — спрашивал Сева.

— А в нем была посуда.

— Так вот она, посуда, у нас в шкафчике.

— Нет, другая посуда: там было такое блюдо старое кузнецовского фарфора, и огурцы на нем нарисованы.

— Вот оно, блюдо, — говорил Сева, доставая реликвию из шкафчика.

— А где сервант?

— Может быть, его украли?

— Кто?! Когда?! — пугалась тетка Валентина.

— Воры. Когда я в больнице был, а вы спали.

— Ты в больнице был? Когда? Господь с тобой, неужели они могли так его вынести тихо?

— Да. Верно... А может быть, и не было никакого серванта?

Тетка задумывалась.

Раньше абсурдность жизни угнетала Севу, а теперь, наоборот, развлекала. И, выходя на улицу, он всюду видел веселую бессмысленность человеческого существования, устроенного зачем-то посреди величественных декораций вечной природы. Кто-то в насмешку запустил это мельтешение в храме. Но разве можно сердиться на всех этих людей, приговоренных к смерти? Они все заранее наказаны и поэтому заранее прощены. Наделить их физическим бессмертием было, видимо, технически невозможно или нецелесообразно, наделить же при этом высоким уровнем сознания было жестоко. Жестокое обращение должно уж точно списать всякую вину. «А вот если некому списывать никакую вину, некому взыскивать с меня за такие пошлые мысли?» Это совсем уже страшно в своей бессмысленности.

Однако эти рассуждения, так тяготившие его прежде, сейчас совсем не угнетали. Они распахивали ту дверь, что была давно закрыта. Раньше у него в организме не хватало цинка и других элементов таблицы Менделеева, а теперь он пил витамины и усмехался тому, как сложно и при этом унизительно грубо устроено человеческое мировоззрение. «Вот если бы у белок было сознание, а витаминов не хватало, то они бы приуныли тоже. Задумались о будущем, о смерти, выдумали бы себе религию, — размышлял Сева. — А так у них есть орехи, в орехах витамины, и нет сознания в его излишних формах... Природа, ты моя богиня, — вспомнил он, улыбаясь. — Мы все искуплены тем, что все заранее убиты. — Он шел вдоль полок по-утреннему пустого магазина. — А может быть, это чушь? Конечно, чушь! Все — чушь!»

— На вашей карточке недостаточно средств...

«Как это глупо, — думал Сева. — Даже смешно. Я мог бы угадать номера любой лотереи, просто увидеть их, как вот эту вывеску». Эта мысль царапала. С одной стороны, он чувствовал приятную щекотку оттого, что может получить все, что захочет. Но одновременно с этим наваливалась тоска, оттого что придется вновь погрузиться в тошнотное пространство предвидения, и одна мысль об этом гасила и мертвила все вокруг.

«Ну, ненадолго, можно ведь один раз постараться, — уговаривал он себя, — ведь не засосет назад с одного раза?» Он сел на стул, как бывало раньше, и чувствовал вращение всего мира, сначала простое, вокруг земной оси, потом оно захватывало, усложняясь и вызывая тошноту. То, что раньше давалось само, теперь приотворялось со скрежетом. И какой-то внутренний ветер сносил его мысль в сторону от простой цели. Вот шли какие-то верблюды, на фоне которых, уже из другого пространства, вылетал на перекресток и врезался в стену автокран, а за ним горел старый двухэтажный дом где-то в лесу, и опять верблюды, их вдруг сменял Михайлов, размахивающий руками и что-то кричащий, падающий спиной в воду, но тут же заглушенный взрывом медных тарелок

и заслоненный гробом, который, покачиваясь, плыл на плечах деловитых мужчин из агентства «Тихая обитель», а в гробу Сева узнал самого себя, и на этом видение выключилось, а сам он упал со стула.

«Еще пара таких попыток — и меня правда понесут отсюда», — подумал он, приходя в себя. Деньги-то были нужны, но продолжать было слишком страшно.

— На вашей карточке недостаточно средств.

Сева посмотрел на продавщицу, широколицую, обесцвеченную, развратно некрасивую.

— Тогда уберите колбасу.

— Все равно не хватает.

— Тогда еще и яйца.

Усмешка мелькнула в ее глазах.

И Сева без всякого усилия увидел ее, алчную, растрепанную, в интимной сцене. Эта отвратительная легкость обнадежила его: неужели он не сможет сейчас увидеть так же просто какие-то ничтожные номера лотереи? Он поспешил к выходу.

— А покупки? — окликнула продавщица.

Он вернулся.

— Какой-то вы рассеянный сегодня, мужчина.

— Не берите в голову, — поспешно ответил Сева.

— Да берите в рот — шире будете! — с бойкостью, заточенной на любую реплику, выдала она.

Прибежав домой, Сева поспешил уединиться. Но тетка Валентина как раз решила вымыть у него пол, возилась с тряпкой. Сева сорвался, заявил, что он сам знает, когда мыть пол в его комнате, сказал, что его и без мытья все устраивает и что он врежет замок в свою дверь, закричал, что он не шарится по комнате тетки и не производит там приборок. И эта вспышка ярости сожгла окончательно всякую надежду.

«Замечательно! — думал он. — Я обладаю даром, превышающим мои физические возможности, но стараюсь использовать его не для того, чтобы увидеть Шекспира, сочиняющего “Гамлета”, Наполеона под Ватерлоо, Моисея, принимающего скрижали от Творца, а для того, чтобы узнать выигрышные номера лотереи! Чего еще ждать от такого ничтожества?»

Однако это обличение носило характер самолюбования, того восторга самоуничужения, которое паче гордости. И, понимая это, чувствуя неискренность и пошлость, Сева впервые ощутил тоску по себе тому, прежнему, другому, настоящему. «Куда он делся? Мы потерялись с ним в больнице? Раньше?»

Тогда он решил прекратить прием витаминов.

От безденежья Сева устроился разнорабочим на тарифовочный склад при железнодорожной станции. Это был крытый ангар с рампой для погрузочных работ, выходившей к железнодорожному пути, крайнему в сортировочном парке. Когда грузить было нечего, Севе поручали сколачивать ящики, укреплять разболтавшуюся тару. Бригада была небольшая, и Севу в ней прозвали — Немой. Работал он прилежно, хотя и медленно. Оставался после смены, чтобы закончить свою норму, и за это его ува-

жали. Сева нравилось сидеть под навесом, сколачивать ящики и смотреть на портовые краны за забором, на маневровые работы в парке станции. Эта работа помогала ему не думать, и на душе становилось тихо.

Через месяц Сева с первой полочки «прописался» в бригаде, выставив закуску и пять бутылок водки на пятерых. Зашел еще компрессорщик, по-соседски. Сева выпил неторопливо стакан под безразличными, но оценивающими взглядами. Не спеша, аккуратно взял пластмассовой вилочкой колечко колбасы. Совгаванская школа не подвела.

У компрессорщика сын-контрактник недавно вернулся из зоны боевых действий, поэтому разговор зашел о политике. Мужики распрашивали, ругались. Сева чувствовал себя уютно. К тому, что он неразговорчив, все уже привыкли.

— Давай на курсы, освоишь электрокару, — сказал ему бригадир, — там зарплата крепче.

Но Севе не хотелось морочливой работы. Ему нравилось сколачивать ящики.

Если на станции Сева почти блаженствовал, то дома его просто трясло от одного вида тетки Валентины, которая раздражала его всем, начиная от неряшливого наряда, испуганного выражения лица и заканчивая ее однообразными воспоминаниями, которые он знал уже наизусть. Беспомощность тетки вызывала у него ярость. Она вечно путалась у него на пути, некстати попадаясь навстречу то в коридоре, то в кухне; одержимая старческим скопидомством, она собирала хлебные крошки, остатки каши и даже куриные кости, чтобы потом «скормить голубям», и эти забытые ею свертки объедков лежали повсюду.

Просыпаясь по ночам, Сева понимал, что он не прав, жесток, и раскаивался, но каждое утро от одного взгляда на тетку, от одного звука ее шаркающих шагов стискивал зубы. И, придя на работу, с утра, бывало, с яростью вколачивал в ящики гвозди. «Немой на стахановца идет, — усмехались в бригаде. — Наверно, баба не дала». Потом Сева успокаивался, глядя на движение маневровых локомотивов, портовых кранов, облаков, на крыши домов в отдалении и дробью рассыпавшуюся в синеве неба стаю голубей.

— Электрокара, — с усмешкой повторял он запомнившееся слово.

Раз в неделю Сева шел через пути в компрессорную. Там был станок, и туда носили точить инструменты. Он нес деревянный ящик с топорами и перешагивал через рельсы в своих кирзовых сапогах, цвыргал по щелбенке и смотрел на заправочную станцию, что была на пригорке. Там всегда так красиво машины стояли, блестя на солнце, и красиво отъезжали. Казалось, что они уезжают куда-то за горизонт, к вечному счастью.

Когда не было работы, бригада играла в домино или ходила в компрессорную смотреть телевизор. Крановщик по прозвищу Гиня читал брошюры — от адвентизма и сыроедения до фэншюя и ясновидения. А Сева просто ложился на доски под навесом и мог так пролежать до конца смены. В бригаде удивлялись, что у него нет никаких культурных интересов, хотя не осуждали. От сырых досок шел спиртовой запах. Сева лежал на брезентовом плаще и мечтал о том, что он крепостной мужик, у которого нет ни семьи, ни дома, ни паспорта. За забором росло дерево, уже

голое по осени, но как бы оперенное мелкими белыми облачками, которые стояли за ним в синем небе, и Сева воображал себя этим деревом, путался, сбивался на человеческие мысли, однако в какой-то момент, кажется, становился им. И это были секунды или часы счастья.

Обедать бригада ходила в железнодорожную столовую в здании станционной диспетчерской или в портовскую. Только строгий сыроед Гиня всегда приносил обед из дому. В порту было веселей, чем на станции, и столовая большая. Сюда приезжали обедать бригады «скорой помощи» и патрульные экипажи милиции. Кроме докеров обедали диспетчеры, тальманы, инженеры, весовщики, шоферы, коммерческие агенты; работали две раздачи с двумя кассами в разных концах большого зала, и стоял тот здоровый шум, за которым Севе было приятно не слышать себя. А еще там был буфет. И Сева ходил именно в портовскую столовую, чтобы посмотреть на буфетчицу Зою.

Севе всегда нравились женщины, в которых «изящество преобладает над грацией». Это он сам так определял для себя. У него было высшее образование, но оно было театральное, то есть такое, когда человек не разбирается ни в точных науках, ни в гуманитарных, зато отлично кувыркается, дерется на шпагах и без запинки тараторит скороговорки. Поэтому Сева полагал, что «изящество» — это когда все так тонко, стройно, а «грация» — с объемом, пышногато. И вот буфетчица Зоя была совсем не в Севином вкусе, она была «грация» по его понятиям. Тем более он давно не волновался насчет женщин, как-то отвык. А тут прямо включился. Нарочно ходил в буфет покупать всякую ерунду.

Зоя была брюнетка с индийскими глазами и широкими бедрами. У нее был смуглый румянец и на губах помада шоколадного цвета. «Это же вульгарно, — думал Сева, — но как ей идет!» Зоя не могла, конечно, знать, что под личиной, так сказать, простого плотника к ней в буфет ходит человек, способностям которого подивился бы Нострадамус. В буфет заходил иногда сам начальник порта, строгий мужчина в белой каске. И обязательно улыбался Зое. А у Севы, когда он смотрел на нее, пропадали не то что его необыкновенные — самые простые способности: улыбался как идиот, и все. К тому же плотник. Ну, улыбается. Покупает шоколадки и тут же их дарит. Ну что с него взять? Хороший человек, но без фантазии. Так думала Зоя.

В детстве ей нравились книжки с картинками и особенно одна сказка и картинка, где был нарисован косматый лесной разбойник с огромными руками и синими волосами. Ни Сева, ни начальник порта в белой каске совсем не были на него похожи.

Однажды Сева с Зоей встретились случайно в городе и не узнали друг друга. Было забавно: как будто на маскараде плотник вырядился эдаким авиационным техником в летной куртке и щегольских полусапожках, а буфетчица — эдакой дамой в шубе. Они, смеясь, вспомнили друг друга после секунды удивления. Это было на базаре, и Сева взялся помочь донести женщине сумку. В другое время он бы задумался, где люди ряженные, а где настоящие — на работе или в обычной жизни? — однако сейчас он был взволнован. Погрузил сумку на заднее сиденье Зоинной машины.



— Садись, подвезу, — весело сказала она. — Тебе куда?

Он сел на переднее сиденье, не зная, куда ему надо.

— Я на Днепровскую, — сказала Зоя.

— По пути, — кивнул Сева, хотя жил в другой стороне.

Зоя включила радио, но все равно нужно было о чем-то говорить.

— Я всегда здесь отовариваюсь, здесь цены дешевые, — сказала она.

— Да, правильно, точно, — ответил Сева, избегая ее глаз.

Он понимал, что она замечает его неловкость, и скоро увидел, что ей это нравится, забавляет ее и даже волнует. И это пойманное им ее неравнодушные сразу ободрило и раскрепостило его. Разговор пошел живее, и Сева чувствовал, что они оба по мере движения машины движутся навстречу важному мгновению. Это приближение решительного мига щекотало его изнутри. И он уже без смущения смотрел на Зоин профиль и на искорки в капроне, обтягивавшем ее колени, и видел, что она краем глаза ловит направление его взгляда, и слышал, как она непрерывно тараторит, улыбаясь, какую-то ерунду, как будто заговаривая этим сладкую внутреннюю щекотку. Но сквозь лихорадку Сева слышал еще и металлическое позвякивание какой-то посторонней ноты, даже двух нот, повторявшихся часто и однообразно. Он поглядел на приборную доску, думая, что это сигнал какого-то индикатора. И, продолжая движение, начатое этим поворотом головы, потянулся ладонью к Зоиным коленям в тот самый миг, когда автокран «Ивановец», подскакивая и громыхая крюком, однообразно ударяющим о шкив, разбил шлагбаум на переезде и вылетел на перекресток.

Сева, схватив снизу руль, резко вывернул его вправо. Если бы он не успел этого сделать, машина не ударилась бы о стойку дорожного знака, а столкнулась лоб в лоб с автокраном.

Правое крыло, фара и поворотник были разбиты. У Зои тряслись руки, когда она глядела на автокран, въехавший в стену дома, на бригаду «скорой помощи». Она потыкала кнопки телефона, и примчался какой-то гигантский, с синими волосами Златан, подозрительно сверкнувший глазами на Севу. Зоя, путаясь от волнения, рассказывала, как она чудом успела свернуть, уворачиваясь от столкновения, и вот ударилась в этот столб. Сева понял, что ему лучше оставить их. Пошел к ближайшей остановке вдоль трамвайных путей. Люди из проходящих трамваев глазели на аварию.

«Значит, я предчувствовал, что на нас летит кран, а принимал это за любовное волнение. Я слышал, как звякает его крюк, ударяя по кожуху шкива, еще до того, как автокран подлетел к переезду, в ста метрах от перекрестка. И это при включенном в салоне радио?»

«Вообще, как часто мы принимаем одно за другое? Вот в детстве меня водили на прививки и к зубному врачу, а я боялся. Это было благо, которое я принимал за вред из-за страха. Вот я влюбился и ухаживал за своей будущей женой. И в этом человеке был для меня величайший вред и разрушение, которые я принимал за благо и стремился к нему. И разве эти два случая только исключения?»

«Может быть, мы и самую жизнь принимаем не за то, чем она является, а за что-то иное? И от этого нам и кажется, что что-то не так в ней

устроено, не ладится. А она просто другое, не то, что мы о ней привыкли думать».

«А что мы привыкли о ней думать?.. Человек рожден для счастья, как птица для полета. Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Возлюби ближнего, как самого себя. Построить дом, посадить дерево, воспитать сына... А оно ничего не действует! Возлюбил, посадил, воспитал, прожил, а оно тебе никак! Никакого покоя там или понимания, удовлетворения! Ничего... Потому что она, жизнь, она вовсе не то, совсем не то! Другое что-то. Что-то такое, чего никто еще и предположить-то не смог? Вообще другое!»

«Вот тетка Валентина, — думал Сева. — Она уже почти ничего не понимает, и от этого, может быть, она ближе к самому натуральному пониманию всего. Ей больше не застилают глаза человеческие страсти, и поэтому перед ней четче встает что-то настоящее. Но знание это она уже не может выразить, как не может его выразить собака или кошка. Только повторяет эти свои бесконечные истории, смысл которых уже засалился, потускнел, как узор на старой ткани. Она бесконечно смотрит в окно, наблюдает за детьми, которые играют за забором детского сада. Ведь это действительно ограда, отделяющая нас от настоящего рая, от того времени и возраста, когда все еще светло впереди, а позади нет ничего страшного и жизнь — это большая счастливая сказка, в которой даже конец, даже смерть приходит ласковая и нестрашная, удаленная не годами, а целыми эпохами, которые называются — отрочество, юность, молодость, и где-то там, в невероятной дали, зрелость, и совсем уже невероятная какая-то старость, в которую невозможно верить и смешно воображать. Жизнь представляется бесконечной, и кредит твой неограничен. И вот теперь из окна кухни тетка Валентина глядит на этих детей, как в собственное прошлое, с недоумением перед загадкой жизни. Однако она верит в милосердную, благостную разгадку этой тайны, в радостную встречу со своими родственниками там, на небесах, где все навеки будет решено и успокоено. А что бы оставалось ей, если бы она жила вечно? Никакого утешения?»

Сева подумал, что если бы автокран в них врезался, то удар пришелся бы как раз по его стороне. Он представил, как пережила бы это тетка Валентина. Он понял, что уже давно прикован к этой старухе, которая отравляет каждый его день, злит и выводит из себя по мелочам, но именно тяжесть этой скованности есть главное достоинство его жизни, во всем остальном достаточно пустоватой и ничтожной.

Он пришел домой, взволнованный нежностью и раскаянием. По дороге завернул в магазин и купил тетке Валентине ее любимых дешевеньких карамелек с лимонным вкусом. Сам того не замечая, он прошел всю дорогу до дома быстрым шагом, и теперь ему хотелось пить, да только чайник оказался пуст. В комнате он не мог найти зарядное устройство для телефона, которое оставил на подоконнике. Теперь там стоял цветок в горшке. Огромный засыхающий фикус, за который у них с теткой давно шла война. Он убирал цветок из комнаты, а тетка опять заносила и так усердно его поливала, что с подоконника на пол натекала целая лужа. Сева убеждал ее, что цветок засыхает не от недостатка воды или света, а от-



того, что горшок стал для него слишком мал. Тетка кивала, но потом опять ставила его в Севиной комнате и опять обильно поливала.

Он устался в окно, удивляясь тому, как легко самые добрые чувства сгорают от малейшего пустяка. За стеклом стало смеркаться и повалил крупный снег. «Вот так и проживешь всю жизнь, глядя из этого окна и ругаясь с теткой за фикус!» — подумал он.

— Севочка, чай пить будем? — спросила, осторожно заглянув в комнату, тетка Валентина.

— Иду, — вздохнул Сева.

\* \* \*

Тем временем его друг Михайлов совершал свое восхождение. Удача улыбалась ему со всех сторон. Он сумел грамотно распорядиться последним выигрышем, и очень вовремя, потому что все игорные заведения в стране закрыли, предписав для них особые зоны.

Сначала Михайлов воспринял это как удар. Он был растерян. Стал собирать сведения о подпольных казино. Познакомился с интересными людьми, которые отсоветовали ему пускаться в этот рискованный путь. «Вот банк открыть или фонд какой-нибудь основать — другое дело», — говорили они. Михайлов смутился: это казалось ему чем-то заоблачным. Он начал скромно, с ломбарда.

Раньше он представлял себе ломбарды как что-то унылое. Сидит такая скучная приемщица, как в советской прачечной, и смотрит весь день, как муха ползает по стеклу. Придет старушка и заложит серебряную ложку. Или никто не придет. Но когда Михайлов познакомился с владельцами ломбардов, его мнение изменилось. Оказалось, что дело самое живое. Масса людей нуждается в срочных деньгах. Это он по себе знал. А сколько нюансов открылось для него в этой области! Ему рассказали о них негромко, с дружеской улыбкой. «И это все законно», — улыбались ему новые знакомые.

Михайлов снял помещение, зарегистрировался как предприниматель, купил мигающую вывеску «Ломбард 24 часа» и первое время сам сутками там сидел, входя в тонкости процесса и приглядывая за нанятым оценщиком и кассиром. «Все правильно у тебя, — одобрили новые друзья, — только поставь на охрану и застрахуй». — «Дорого?» — улыбнулся Михайлов. «Дорого, — улыбнулись ему. — Но так тебе выйдет дешевле». — «А в каком агентстве лучше поставить на охрану?» — хватаясь за карандаш, спрашивал Михайлов. «Ну хотя бы в моем, например...» — скромно отвечал новый друг.

Дело двинулось. И вскоре Михайлов открыл второе предприятие — «Займы блиц». И здесь пошло на ура. «Пора фонд основывать», — напоминали ему новые друзья. «Как-то не решаюсь», — мялся Михайлов. «Тьфу! Что здесь такого? — пожимали они плечами. — Вон Толян был председателем фонда — и ничего. Подпишись, Толян!» И Толян кивал. «А что нужно для этого?» — спрашивал Михайлов. «Да ничего особенного, — улыбались новые друзья (у них всегда было хорошее настроение и вообще все хорошо в жизни). — Ты с губернатором зна-

ком, нет?» — «Ха-а!» — выдыхал Михайлов, усмехаясь, и промокал лоб платком. «А что такого? Запишешься на прием, скажешь: как бизнесмен хочу помогать развитию родного края. Правильно?» Толян снова кивал. «Ну и мы тоже, понятно, вложимся», — заверяли новые друзья.

Перед всяким решительным событием Михайлов, чувствуя волнение, привык успокаивать себя воспоминаниями. «Это что! Это ерунда! — говорил он себе. — Вот на службе, после отбоя, когда дембеля приходили нас метелить, вот тогда было страшно — лежишь и ждешь. А это ерунда... Вот когда супруга меня больного из дому выставила, без денег, полуслеплого от лекарств всяких, вот это было да». И он представлял себе прежние ужасы так, будто они ждут его через полчаса, а представив, снова «вспоминал», что его ожидает всего лишь официальное мероприятие и нечего так волноваться.

А вот еще на охоте был случай... И он вспомнил, как однажды в тайге, подвыпив вечером с приятелями, уснул в лодке. А лодку под утро унесло. Проснулся километрах в двадцати ниже по течению. Весел нет, ружья нет, только коробок с двумя спичками в кармане. Два дня шел по тайге, сам не зная куда. Сел под кедром, сидит и думает: вот здесь и помру. Лес стоял так густо, что за ним не видно было солнца. И вдруг собака! Сначала подумал — волк, но потом разглядел — дворняга, светлой масти с черными пятнами. Побежал за ней. Дворняга остановилась, поглядела на него и уверенно побежала через лес. Так она останавливалась несколько раз. Постоит подождет, посмотрит и снова бежит. И вывела Михайлова в деревню. Он потом спрашивал у деревенских, чья она. Те только пожимали плечами: ни у кого такой собаки не было. «Дух леса!» — так обычно заканчивал в подпитии эту историю Михайлов.

Он купил себе новый костюм и дорогие очки. «Ну, можно не прямо к губернатору, — говорили ему друзья, — ты не волнуйся так. Есть человек в администрации. Толян тебя познакомит». У человека было лицо, похожее на старое кожаное кресло с пуговицами бородавок. Человек отнесся к Михайлову душевно, кивал, поправил манжеты, выслушал. «Идея нужная. А какое название будет у вашего фонда?» — «Благотворительный продовольственный», — ответил Толян. «М-гу, — кивнул административный человек. — Хорошее название. Крепкое и простое. В каком банке планируете счет открыть?» — «В нашем, конечно, в нашем», — заверил Толян. «Ну что ж... Удачи!» Государственный человек пожал им руки, отражаясь белоснежными манжетами в полировке огромного стола.

«А в нашем банке — это в каком? В Сбербанке?» — спросил походя Михайлов. «Зачем? В губернаторском, конечно. Это самый надежный», — сказал Толян. Они тут же поехали в банк, где их уже ждали и провели в особый кабинет для оформления необходимых бумаг. После завершения формальностей спустились по мраморной лестнице в фойе, там стояли громадные аквариумы с золотыми рыбками, очевидно, уже выполнившими все возможные желания своих учредителей и теперь немыми, лупоглазыми...

Какое-то время Червовая Дама пребывала в уверенности, что именно любовь вдохновляет ее нового мужчину на такие необыкновенные свершения. То есть именно любовь к ней, а не к деньгам. Раньше он

не знал настоящего, большого чувства и прозябал, а она пришла и зажгла его, вдохновила, внушила уверенность в себе, и он расправил крылья и полетел уверенно, как орел. Все благодаря любви, то есть, говоря проще, благодаря ей — Червовой Даме.

Сам Михайлов ей так никогда не говорил. У него не было привычки так выражаться. Но он по-прежнему благосклонно смотрел на свою новую подругу, дарил ей ценные вещи, вовремя не выкупленные из ломбарда, и планировал слетать с ней на недельку или две куда-нибудь на Средиземное море. «Хотя можно и в Крым, в Ялту: не так дорого выйдет», — прикидывал он. Червовая Дама принимала эти знаки внимания, хотя понимала, что заслуживает большего и вообще более стабильного положения при Михайлове. Однако она не высказывала пока претензий, видя, что ее работающий мужчина действительно с утра до ночи занят коммерческими проектами, ест с большим аппетитом и одновременно рассказывает, что там у них нового в ломбарде и фонде. А потом спит. Такой режим общения несколько удручал Червовую Даму: она в душе была романтик. Но, глядя на Михайлова, она понимала, что это заслуженный, трудовой сон, и не тревожила его.

Михайлов увидел во сне того самого священника, который еще давно надоумил его насчет лотереи. А Михайлов ему обещанных денег так и не принес. Все не получалось, не было свободных, все в деле. Священник во сне постоял, улыбнулся и ушел. Михайлов, проснувшись, тут же позвонил в агентство и заказал себе авиабилет до Таиланда. На всякий случай. С открытой датой. Он хоть и не был религиозен, но не отрицал существования Бога и вещей снов.

Занятый делами фонда, Михайлов в ломбарде теперь редко появлялся. И там случилась неприятность.

Принесла в ломбард старушка старинный серебряный рубль, говорит, от деда остались монеты, и просит оценить, сколько рубль стоит. Оценщик — молодой парень, надежный, честный (Михайлов проверял), с рекомендациями, кремень парень, воевал, ранение имеет, до этого учителем был, уровень общения с клиентами у него культурный. Этот оценщик стал искать в Интернете, сколько стоит такой рубль. Нашел и смотрит то на монитор, то на старушку. А потом говорит:

— Я сейчас проконсультируюсь.

Вышел через подсобку на улицу и стоит там курит. Вернулся и спрашивает у кассира:

— Вадик, сколько у нас в кассе?

— Девятьсот две тысячи, — отвечает кассир.

— М-гу, — кивает ему парень-приемщик и говорит старушке: — Подождите еще немножко.

Он снова выходит в служебное помещение и набирает номер Михайлова.

— Николай Геннадьевич, — говорит он, — нам не хватает в кассе денег выплатить клиентке сумму займа под залог.

— Она что, машину или квартиру закладывает? — спрашивает Михайлов.

— Нет, рубль семнадцатого века.

— И сколько же он стоит? — интересуется Михайлов и, получив ответ, тут же приезжает сам.

Старушка расстегивает старенькое пальтецо и садится на диванчик у стены. По ней видно, что она давно привыкла так ждать в поликлиниках и прочих учреждениях, терпеливо, виновато, чувствовать себя просителем, отнимающим по пустякам время у серьезных людей. Видно, что так установилось в ее жизни. А в последние годы надо было выхлопотать инвалидность мужу. Оформить льготу на квартплату. Вместе сидели по очередям. «Как не ветеран? Ветеран!» — билась старушка. «Нет, не хватает стажа». И ей приходилось за своего старика объяснять, что стажа у него хватает, да вот документы той организации, где он работал, потерялись и самой организации этой давно нет. А старик только кивал головой. Не ради помощи старухе, а потому что у него голова тряслась после инсульта. Он мерз, его надо было кутать, как маленького, проверять мочеприемник, чтобы не переполнялся, пока они сидели в этих очередях. Но добились все-таки своего, оформили льготу. И субсидию старику выписали, полторы тысячи. Есть на свете справедливость! Нужно только терпение. И она сидела терпеливо. Пуговицы тускло поблескивали на ее стареньком пальто.

И тяжелый серебряный рубль, истончившийся за триста лет, переживший без счета своих владельцев, помнивший царские династии, верстовые столбы, непролазные осенние дороги, мазурку в дворцовых залах и барабаны на плацу, теперь лежал в ее ладони. За этот рубль месяц служил стрелец, полмесяца писарь и полгода плотник, и огромная очередь русских людей стояла за этим рублем, уходя куда-то за горизонт колосющейся нивы, и вот она, эта старушка, сегодня, похоже, достоялась.

Когда Михайлов проходил мимо, она подняла лицо, ожидая, что он, может быть, спросит: «Кто крайний?» Он не заметил ее, и старушка поняла — начальник.

— Вы заполните пока бланк, — сказал кассир.

В подсобке парень-приемщик рассказал Михайлову заново всю историю, показал монету.

— И ты ей хотел сейчас миллион выдать? — спросил Михайлов.

Ему действительно было интересно. Он прищурился, одновременно улыбаясь.

— Да. Но сначала же позвонил...

— Молодец, Илья, я знал, что ты с понятием.

— Что-то не так?

— Все так. Иди в аптеку, здесь на углу, знаешь? Купи валерьянки и корвалола. А я пойду в антикварный, у них перерыв на обед есть?

Илья пожал плечами.

До антикварного салона был всего квартал, и Михайлов не стал садиться в машину. Он пошел пешком, и где-то на середине пути у него вдруг томительно заломило внутри. Он остановился. Помнил это чувство, с которым тогда, давно, просыпался в три часа ночи, чтобы тайком от семьи ехать на морской вокзал к игровым автоматам. Он вынул из кармана эту неровную старухину монету, поглядел, взвесил на руке. Старуха умрет, если ей выдать миллион, подумал Михайлов. От инфаркта. А если



не умрет, то не сможет все равно истратить столько денег за всю оставшуюся жизнь. Так... А сколько сможет? Шиковать ей не по возрасту. Что она, бриллианты и норковую шубу покупать станет? Ну истратит тысячу сто пятьдесят, может быть... Продукты там, ремонт, лекарства. А скорее всего, ничего не истратит. Спрячет в кубышку и будет жить помышья, как до этого жила. Сколько у нее пенсия-то? Она и десяти тысячам будет счастлива.

Михайлов вошел в антикварный салон. Просторный подвал без окон был заставлен старыми шкафами, зеркалами, печатными машинками, радиоприемниками, самоварами. В углу стоял даже небольшого размера якорь. Михайлов решил сначала приглядеться к месту, побродить. Щелкал ногтем по рамам картин, открывал скрипучие дверцы.

Один сервант с антресолю показался ему знакомым, но вспомнить, где он его видел, Михайлов не смог, хотя однажды сидел прямо напротив этого шкафа в Севиной комнате. Теперь пустой, одинокий, без веселых обитателей, сервант скучал по фарфоровым пастушкам, по фаянсовым лужкам блюдца и тарелок, по башенкам графинов, словом, по всему богатству своего внутреннего мира и хмуро глядел зеленоватым зеркалом на собрата по изгнанию — огромный самовар. Желтый торшер с засаленной бахромой на атласном абажуре сочувственно склонился по соседству. Ламповый радиоприемник размером с клавишину, помнивший речи генералиссимуса и прямые трансляции из Большого театра, молчал. У каждого здесь была своя история.

В глубине зала седой старичок-паучок пил чай из стакана в серебряном подстаканнике. Старичок хитро улыбался и что-то шептал солидной пышногрудой кассирше. «Старый греховодник, сидит тут, как Кощей на злате», — подумал Михайлов. Он приблизился к ним барственной походкой, сверкая золотой галстучной заколкой. Старичок поднял на него веселые, детские глаза.

— А-а... — начал Михайлов, — вот там шкаф такой с зеркалом, он сколько стоит?

— Сейчас. Глянем... — Старичок полез за журналом и как бы нечаянно ухватил кассиршу за коленку.

Михайлов встретился с ней взглядом: полнота была ей к лицу. Кассирша отвела глаза. «Он бы не пожалел для нее миллион, допустим, в его-то возрасте», — подумал Михайлов о старичке и не стал показывать ему монету.

— Шкаф хороший, немецкий, но с дефектом, поцарапали при доставке. Какой-то идиот долотом долбил. Отдам со скидкой.

— Хорошо, я подумаю, — ответил Михайлов.

— Приходите.

На лице он остановился, снова вынул монету и разглядывал ее истонченные, грубые края. Как будто сама древность царапалась наружу. «Хватит ведь ей десяти тысяч», — твердо решил Михайлов. И вдруг именно в этот момент он вспомнил свой сон и молча улыбнувшегося ему священника.

Тут же решив жить по совести, Михайлов выплатил старушке сто пятьдесят тысяч рублей. Илья стоял наготове с валерьянкой. Старушка

моргала. По ее лицу не было заметно особых чувств. Видимо, она не могла осознать момента.

— Неужели ненастоящая? — спросил после ее ухода Илья.

— Монета? Почти, — ответил Михайлов. — Качественная копия.

Илья поглядел на него и понял, что тот врёт. «Зачем? Почему тогда отдал деньги?» Он вспомнил офицера из недавнего прошлого. Офицер сказал тогда их взводу: «Держитесь, ребята. Мы своих не бросаем».

— Ну, я поехал.

Михайлов толкнул дверь, звякнул колокольчик. Илья смотрел в окно, как он энергично идет к машине.

— Богатая, выходит, старушенция, — сказал кассир Вадик. — Говорит, дома у нее еще две таких.

До конца рабочего дня Илья то и дело вспоминал, как шли они половиной взвода по грязи сквозь туман. Звякала амуниция. Чавкали подошвы. И никому не хотелось совершать ничего героического. Вообще не было никакого смысла туда ехать, ну, кроме денег. И с деньгами потом тоже вышло интересно. Капитан из военкомата был, конечно, не виноват лично, у него тоже начальство есть. «И я не виноват перед этой старухой», — подумал Илья.

На другой день он приехал на работу первым, раньше кассира, отпустил ночную смену, взял ключ от сейфа и вынул оттуда восемьсот пятьдесят тысяч. В расходной книге нашел квитанцию с адресом бабушки. Тут как раз пришел кассир Вадик. Он вчера отмечал день рождения и явился весь оплывший, с красными глазами. Илья открыто сказал ему, что взял из кассы деньги, потому что старухе недоплатили, и сейчас повезет всю сумму. И еще сказал, что в связи с этим он увольняется из ломбарда по собственному желанию. Если первая новость не произвела на Вадика никакого впечатления, то вторая огорчила.

— Как же я один сегодня? Илюха, ты уж доработай денек!

— Хорошо, съезжу, отдам деньги и вернусь, — пообещал Илья.

Он поехал на улицу Сельскую и вернулся через полтора часа в полной растерянности.

— Дай-ка ключ от сейфа, — сказал он Вадиду.

— Ты не догадался мне чего-нибудь купить полезного от головы? — спросил Вадик, протягивая ключ.

— Нет.

— Тогда моя очередь воздухом подышать.

— Да иди, — сказал Илья.

Он открыл сейф и положил на место деньги. Сел за прилавок, уставился на калькулятор.

И в эту минуту в ломбард вошел Михайлов. То неделями не приезжал, а тут явился.

— А это что такое, почему один? Илья! Где Вадим?

— Да он на секундочку вышел...

— Я говорил вам, никаких секундочек, а то найму охранника третьим — в счет вашей зарплаты! Слышь, Илья, ребята из ночной смены тебе ничего не передавали?

— Нет, — сказал Илья, поднимаясь из-за прилавка. — А что?

— Я вчера где-то заколку от галстука потерял.

— Нет, не находили.

Илья внимательно приглядывался к Михайлову, стараясь отыскать в нем что-то необыкновенное сегодня, какую-то суетливость, взволнованность, но ничего необычного не было. Тогда он обратился к нему прямо:

— Николай Геннадьевич.

— Да, — выпрямился Михайлов.

— Я проверил. Немного странно получается. Вот вчерашняя наша клиентка, эта женщина с монетой.

— Ну?

— Она по указанному в квитанции адресу не проживает.

Михайлов хотел уже сказать: «Ну и что?», но замер, уставившись на Илью:

— Почему не проживает?

— Не знаю. И не проживала никогда.

Тут вернулся повеселевший кассир и застыл на пороге, пряча за спиной бутылку пива. Ожидал взбучку. Однако Михайлов его даже не заметил.

— Где монета? — спросил он.

— В сейфе.

— Никак решили все-таки приобрести сервантик? Выбор хороший, вещь немецкая, — радушно встретил Михайлова давешний старичок антиквар.

Михайлов, не отвечая на приветствие, положил на стол монету. Взгляд старичка сверкнул. Видно было, что он рад настоящему делу. Дело решилось быстро.

Не склонный к мистике Михайлов тем не менее твердо почувствовал про себя, что старуха эта была не простая (потому и без адреса) и унесла деньги не кому-нибудь, а именно тому самому священнику, которому он тогда пообещал, да не принес. «Значит, это справедливо. Значит, есть где-то некий строгий блюститель этой справедливости», — чувствовал Михайлов. А справедливость он признавал, он сам всегда был за справедливость. Иногда просто не получалось по техническим причинам, как, например, с этим священником.

Поэтому, вернувшись в ломбард, он не выглядел расстроенным. Он смеялся. Он пересказал ребятам то, что услышал от антиквара. Оказывается, китайцы давно уже массово поддельывают ценные монеты. Подделка эта почти ничего не стоит, потому что в сплаве даже нет серебра. А сбывать товар придумали хитро. Им-то, китаезам, кто особо поверит? Вот они и дают всяким пенсионерам, старушкам в основном, те говорят, что осталась, дескать, коллекция от предков, вот не хватает на жизнь, вот хочу, мол, продать. Таких много случаев теперь. Конечно, она деньги хапнула — зачем ей настоящий адрес свой писать?

Михайлов заразил своим смехом Вадика, и тот, зажмурившись, стукал кулаком по столу: «Развели как лохов!»

— А тебя в следующий раз я уволю! Ты, когда квитанцию принимал, не сверил адрес с пропиской в паспорте. Поэтому извини, брат, но эти сто пятьдесят тысяч я буду удерживать из твоей зарплаты.

Вадик перестал смеяться, правда, рот так и не закрыл.

— А вот ты, Илья, молодец! Тебе премию выпишу! Догадался поехать, пробить все по уму, — говорил Михайлов, как бы вливаясь уже на достаточных основаниях в незримое течение той самой справедливости, о которой только что размышлял.

Тут его сотовый, вибрируя, завертелся по лакированному столу. Михайлов взял трубку. Звонил его соучредитель, немногословный Толян. Он и в этот раз не нарушил своей лаконической традиции, сказав:

— Все, Колян, атас! Мне не звони!

\* \* \*

Белое, парное облако с пышными буклями бесстрашно стоит на фоне свинцовой тучи. Дождь кропит мелкими штрихами пыльный апрельский тротуар. Но эта рябь тут же сохнет. Утро. И чтобы не думать, Сева смотрит на тучу и облако. Такие разные, а ведь родня. Ветер в лицо и петляющая музыка из громкоговорителя напомнили детство, майские праздники.

Старушка переходит дорогу, ведет на поводке маленькую белую собачонку. Скачками бойко несется вдоль тротуарных бордюров мусор. Две молодые мамы — с детскими колясками, зачесанными ветром челками и лошадиными лицами. Сестры? Дождь ударил прежде грома. Сева встал под козырьком у входа в магазин, однако и здесь ветром швыряло в лицо. Вошел, поднялся на второй этаж, в кафетерий. Пусто. Ровно висят зеленые абажуры над стойкой. Взял чая. Сел у окна. Вся улица уже блестит, плакат на растяжке беснуется. Идет, загребая худыми ногами в огромных расшнурованных ботинках, детина в красном свитере, местный сумасшедший. Взмахивает руками, что-то кричит. Видно, его радует стихия.

Соседний столик занимает мужчина средних лет. Надевает очки, изучает меню. Снимает очки, прячет в карман. Перекладывает в другой. Достает носовой платок... Брюки у него коротковаты и высоко открывают носки в ромбик. Через несколько минут к нему подходит женщина. Это их первая встреча. Познакомились в Интернете.

Сева видит, что первые десять очков мужчина мгновенно списал даме за полноту. На фото выглядела стройнее да и моложе.

«Так всегда бывает, сидишь и ждешь, заказав кофе, разглядываешь интерьер. Нет ощущения, что сейчас откроется дверь и войдет ослепительная небожительница. Есть ощущение, что ты дурак, и об этом догадываются даже официантки». Сева отворачивается, чтобы не слышать этих мыслей мужчины. Всегда в грозу мучительное обострение способностей.

Другие десять очков слетели просто так, за одно произношение. Выговор у нее был простецкий, бабий.

Беседуют, опасаясь неловкой паузы. О работе, погоде, смотрят меню. Ей приносят кофе с шапкой пены. Он ищет зажигалку. «Другой карман», — думает Сева. Действительно. Мужчина сунул руку в правый, да вспомнил, что в этих брюках в правом кармане дырка, значит, зажигалка в левом. «Кури, кури», — говорит она, прибавив себе пять очков быстрым переходом на «ты», который как бы залог доступности,

но тут же теряет двадцать, когда снимает плащ: грудь у нее вовсе не такая пышная, как мужчине показалось сначала.

Еще десять он, приглядевшись, списывает за веснушки. Женщина рассказывает пошловатый и вдобавок древний анекдот. Впрочем, будь она погрудастее, мужчина бы рассмеялся, правда, не слишком широко открывая рот, чтобы не демонстрировать отсутствие двух зубов слева.

Она пьет кофе, оставив мизинчик. Еще минус пять.

Мужчина говорит чуть свысока, стараясь выглядеть уверенным и снисходительным. Женщина слушает его внимательно и вдруг улыбается улыбкой инспектора, уставшего от допроса никчемного свидетеля. «Пропал выходной. Завтра в восемь летучка у начальника. Надо сводку по району просмотреть. Потом два стажера из школы милиции...»

Это был обвал. Мужчина увидел, что он сам не вызывает никакого интереса у дамы. Она разочарована. Разом слетели все оставшиеся баллы.

Счет. Сдача. Он не оставляет чаевых. Не напасешься. Пропустил ее вперед на выходе. Там надо было подняться по лесенке к стеклянной двери. «Да. Икры хорошие, крепкие. И зад ничего. На твердую четверку». Раньше он бы поставил тройку, но с годами стал снисходительнее. Отказывался постепенно от прежних высоких идеалов.

Даже наедине с собой Сева все время искал, куда ему уткнуться мыслями, чтобы не было жалко, стыдно, страшно. Дома ложился, накрывал голову подушкой, прислушивался, представлял, как наматываются и разматываются промасленные лифтовые тросы, как течет вода по трубам, как движется эта отдельная электромеханическая, пневматическая, гидравлическая, не знающая переживаний жизнь.

Зал кафетерия опустел, и Сева наслаждался. Смотрел, как светятся зеленые абажуры над стойкой. Уютно быть простым электричеством. 220 вольт. Гроза кончилась.

Самые простые вещи действуют на нас резче, чем длительные духовные практики. Аскетизм, буддизм — это, конечно, хорошо. Но долго.

Однажды ночью Сева проснулся от зубной боли. Около восьми утра уже приплясывал на крыльце стоматологической клиники. Открыли в восемь ноль семь. В регистратуре сидели две тетki с теми особыми лицами, которые никогда не переводятся. В них главное качество — это сознание своей должности. Глядя на них, лишний раз убеждаешься в правоте Аристотеля, называвшего человека социальным животным. Удовольствие их работы заключается в том, чтобы убедить вас, что миру безразличны ваши нужды. И этот закон, на страже которого они стоят с тем большим удовольствием, чем острее познали его на собственной шкуре, не может изменяться. «Нельзя, нет, не положено, запись закончена, талонов нет, не принимает, без карты нельзя, без бахил нельзя, бахил нет, кончились, купите в аптеке, аптека на обеде...» Они сознают важность своей миссии, потому что для них вживе сбылись уже слова Христа: «И последние станут первыми!»

Они, действительно, первыми встречают вас в гардеробе и регистратуре. Но если вы дадите себе труд задуматься, а не осуждать их, то вы поймете, что иных лиц и не надо, иных лиц и не должно быть, хотя бы

из честности, которая заменяет милосердие, потому что такие лица без слов говорят вам лучше любой гадалки все ваше будущее, они готовят вас к тому, что вы состаритесь в бедности, одиночестве, в физических и моральных страданиях, вас похоронят в дешевом гробу на грязном кладбище в полузатопленной могиле. И вскоре вас уже нигде не будет, и никто о вас никогда не вспомнит. И если у вас есть мужество принять это, то боги Олимпа ничто перед вами, ну а если нет — ну тогда что ж поделаешь... И даже если у вас нет такого мужества, то все равно вы выходите из поликлиники с особым чувством, с желанием жить! И улыбаетесь лужам.

Вот в таком настроении Сева и вышел на крыльцо, когда его руку поймал какой-то незнакомец.

— А ты совсем не изменился, — сверкая черными глазами и обходя Севу вокруг, говорил незнакомый великан.

— Ты тоже! — улыбался в ответ Сева, с легким ужасом опознавая друга детства, теперь превратившегося почему-то в грузина со сросшимися бровями.

А помнишь...

Вспоминали невероятное, как обоим было по тринадцать лет. Жили в одном подъезде. Катались на велосипедах. Курили за гаражами. Андрей был вундеркиндом, он умел все. Рисовать, паять, шить, лепить, водить машину, ремонтировать любые приборы и устройства. У Севы он починил все — от электрической железной дороги до стиральной машины и телевизора. Дома Андрею было нечего чинить, и он скучал. От скуки слепил из белого пластилина точную копию церкви Покрова на Нерли. Этот шедевр ювелирной виртуозности он без сожаления подарил бабушке, которая благоговейно установила собор на шкаф, где тот постепенно оперялся домашней пылью, как байковой рубашечкой, вроде тех, что бабушка дарила Андрюше на дни рождения. С куда большим увлечением Андрей сделал пластилиновую копию дедушкиного «Москвича-407», у которого открывался капот, и там, на крохотном, в четверть спичечного коробка, пространстве, был любовно и в мельчайших деталях вылеплен двигатель со всеми цилиндрами, патрубками и прочей начинкой.

Этот человек был волшебник, предметы оживали у него в руках. Для него не существовало «мертвой» природы. Во всем, что касалось знаний абстрактных и отвлеченных, он был наивен и испытывал восхищение перед теми, кто разбирался в генетике, алгебре или философии, считая для себя эти вещи непостижимыми.

— А я тебя искал в «Одноклассниках», «ВКонтакте». Ну, думаю, военным стал, уехал...

И только тут Сева вспомнил себя тогдашнего: он, действительно, читал книжки про войну. Все прочел, даже те, которые не про войну на самом деле, вроде «Войны с саламандрами». Вспомнил фотографии кораблей, которые вырезал из журнала «Военное обозрение».

— Ты сейчас где? Я на машине, давай подвезу.

И перед Севой встал вопрос: где он сейчас? И Сева почувствовал, что ему неловко говорить, что он работает подсобным рабочим на тарировочной базе. А до этого был астрологом. Вроде жулика. А еще рань-



ше — актером. Но бросил, запил, разошелся с женой. Все это было неважно по существу, а то, что он считал важным в своей жизни, он объяснить бы не смог.

— В коммерции работал, сейчас закрылись, кризис.

Андрей понимающе кивнул, выворачивая руль и глядя в зеркало заднего вида. Коммерция понималась всеми приблизительно одинаково — как перепродажа продуктов чужого труда. И всегда вызывала сочувствие в собеседнике, подобно интимному признанию не вполне приличного характера.

— Помнишь с нашего двора Жиливкина, Чигачева? — спросил Андрей.

— Приблизительно, — ответил Сева.

— А Бурдакова? Хулигана?

— Помню, — сказал Сева. — Это который с балкона ссал?

— Да! — радостно подтвердил Андрей, и приятели рассмеялись.

И они поехали...

Панельный девятиэтажный дом, длинный и коленчато загнутый полумесяцем в ряду таких же домов, опоясывающих сопку. Из гостиной ясными вечерами, глядя на закат, можно увидеть монгольские царства и династии китайских императоров. Из окон, выходящих на другую сторону, — крыши гаражей, утоптанную детскую площадку, хмурую макушку сопки, утыканную вышками телефонных компаний. Уютная, несовременная квартира, без этих модных арочек и перепланировки под studio. Семейные фото: жена, две дочери, собака, кошка.

— Цас-щас, щас-щас... — приговаривал Андрей, пока Сева по магнитам на холодильнике следил путь семейных путешествий. — Ну вот, — сказал наконец хозяин, вынимая из картонной коробки бутылку коньяка. — Такой повод заслуживает выпить. Я понимаю, рыба к коньяку не очень, но вот эту я сам ловил и сам коптил, попробуй!

И началась история жизни. С того самого момента, как они расстались в четырнадцатилетнем возрасте. Всего несколько зернышек в череде событий, вокруг которых рассказчик старательно обклеивал прошлое. Не поступил в институт. Армия. Работа в автоколонне, шофер, командировки, семья, увлечения, отдых, успехи детей. Две истории были смешные, за них выпили отдельно.

— Ну а ты как?

Сева вспомнил институт, распределение в Совгавань, уморительные театральные истории. Ему было приятно, что Андрей очень живо на это реагировал, хохотал и удивлялся. На самом деле Сева вспомнил сейчас свой первый брак, однако, думая о нем, продолжал травить байки.

— Ну а в личной жизни? — аккуратно следуя по маршруту разговора, спросил Андрей.

— Старик, это ужасно, просто ужасно, — отвечал Сева как бы уже не от себя, а из одной из характерных театральные ролей. — Да, брак по любви (неловко было это выговаривать, как некую анатомическую подробность, но коньяк сгладил), только это еще ничего не гарантирует. Мезальянс, понимаешь (тут Сева спохватился, что это слово может быть непонятно его другу), то есть когда люди слишком разные, из разных социальных слоев.

Андрей кивнул, внимательно улыбаясь.

— С виду самая пасторальная девушка, а гены отцовские. Папаша — как он сам себя аттестовал, «грубый человек, экскаваторщик» — пьяный с гвоздодером гонял семью по улице. Вообще обаятельный, на Бернеса похож, но во хмелю — гроза.

Разогретый коньяком и вниманием собеседника, Сева рассказывал так, чтобы это было весело. Он не отступал от правды, но выходило все не так, как было на самом деле. Выходила комедия, тогда как в действительности эта драма едва не стоила ему жизни. Надо было сказать то, к чему Сева сам давно пришел — к пониманию, что своим мягкосердечием и деликатными манерами обращения он окончательно испортил неплохую девушку, которой нужна была строгая узда. А так, с любящим мужем-тряпкой, она просто спилась. И сам он с ней чуть не спился. Сева вспоминал, как он читал ей вслух пьесы, выбирая яркие комедии — Уайльда, Шоу, — и она смеялась, когда понимала, и насмехалась над Севиной «интеллектуальностью», когда не понимала. Ему так и не удалось дотянуть ее туда, где мир выглядит увлекательным и без выпивки. Она раздружилась с прежним своим окружением, но не обрела нового.

Наконец Севе стало даже сквозь коньяк совестно говорить в такой гаерской манере, и он замолчал, отвернулся к магнитам на дверце. Андрей кивнул, налил, выпили.

— Помнишь «москвич» моего деда? — спросил он.

— Зеленый?

— Да! Хочешь, тебе его покажу?

Они пошли в гараж, где стояло чудо — игрушка в натуральную величину! — сверкающий изумрудной краской и хромированными молдингами «Москвич-407».

— Второе место на выставке занял!

— Потрясающе!

Автомобиль из райского детства смотрел добрыми глазами круглых фар.

За него выпили еще. Благоговейно сидели в салоне. Крутили ручки, опускали стекла.

Андрей решил немного проводить друга, но по дороге, так получилось, зашли в магазин и взяли еще фляжку коньяка.

— Это чтобы не смешивать! — сказал Андрей строго.

— Да, это чтобы не смешивать! — поддержал его Сева.

Сели за магазином. Был далеко виден внешний рейд. Суда. Три рядом, одно в стороне.

— Красивый у нас город, — сказал Андрей.

— Да.

— Слушай, я удивляюсь: как люди живут в других городах? Может быть, там и лучше, и чище, но моря ведь нет...

— Действительно, — кивнул Сева.

Они передавали фляжку друг другу.

Домой не хотелось. Вспомнил то состояние, когда выпьешь и не хочется домой.



А куда пойти, не придумал. Доехал до центра, слонялся в фойе кино-театра. Купил коктейль с трубочкой — слабый, скучный. Проследил глазами за звуком каблуков: чулки со швом, узкая юбка, лица не видел. Пошел следом с этим своим стаканчиком, трубочку по пути бросил в урну, промахнулся. Скрылась за дверью с табличкой «Администратор». Сева был уже достаточно на кураже, чтобы это его не смутило, однако дверь оказалась заперта. Покрутил ручку. Возвращаться в буфет было лень. Подошел к высокой стойке тира. Решил отвлечься — пострелять. Ждал очереди. Уставился на сосредоточенное скуластое, смутно знакомое лицо хмурого стрелка с зажмуренным глазом. Пригляделся, а это же сосед, тот самый слесарь, только в камуфляжной куртке; широко расставил свои кривые ноги и целится.

— Два, «молоко», пять! — предсказал его результаты Сева.

— О, привет, земля!

Он отстрелялся, и вышло точно: два, «молоко», пять.

— Как ты это делаешь?

Сева усмехнулся.

— Давай еще!

Слесарь купил еще три пульки.

— Три, три, один, — предсказал Сева.

— Точно! — яростно обрадовался слесарь после третьего выстрела. — Давай теперь ты!

Сева взял легонькую воздушку. Слесарь смотрел на него.

— Нет, ты сначала загадай, чего выбьешь, а потом стреляй.

— Не получится. — Он повел стволом, так что прохожие шархнулись.

— Ну ты попробуй, чего ты?

— Десять, восемь, пять, — наобум сказал Сева и все три всадил в «молоко».

— Ну че ты? Ты не стараешься, — сердился слесарь.

Сева пожал плечами.

— А ты вот так вот, укрепись, глазик закрой и бери под яблочко, чтобы верхний край мушки...

— Да я знаю, не в этом дело.

— Ну пойдём в буфет, объяснишь, в чем там не в этом у тебя дело, — сказал слесарь.

Взяли по коньяку и по паре пива.

Сева угадывал входящих:

— Вот сейчас блондинка толстая войдет с ребенком, а сейчас парень в капюшоне с девушкой рыжей, а сейчас, а сейчас... два парня... постой, нет... Да! Два парня — оба в милицейской форме.

— У тебя локатор в голове, как у дельфина, — сказал слесарь.

— Нет, — возразил Сева.

— Ты кем вообще трудишься?

— На складе тару ремонтирую, — отвечал Сева.

Слесарь схватился за голову.

— Ё! Ты мог бы руководить нашим цехом! Да что цехом — заводом! Даже нет, даже нет, — торопливо говорил он, — ты мог бы... ты мог бы... ё... мне бы твои способности!

— Нет, не мог бы, — мотал головой Сева.

— А ты попробуй! — стучал по столу слесарь. — Сделай какое-нибудь событие!

— Еще по сто?

— Нет! Сначала сделай! А потом и по сто пятьдесят можно.

Событие явилось в лице милицейского наряда.

— Тсс! Не мешайте! — Слесарь прижал к губам палец.

Милиционерам этот жест не понравился.

— Ну хорошо, — сказал Сева слесарю в камуфляже и милиционерам, — хорошо. Вот послушайте! «...Целью григорианской реформы было закрепить навечно точку весеннего равноденствия на 21 марта, но, исправляя то, что казалось папе Григорию XIII нарушением церковных канонов празднования Пасхи, он как раз и нарушил эти каноны. Кроме нарушения апостольских правил празднования Пасхи, которые запрещают праздновать новозаветную Пасху раньше иудейской, нарушение последовательности евангельских событий искажает мистический смысл новозаветной Пасхи. Факт введения нового календаря в западной церкви свидетельствует о потере ею сакрального смысла юлианского календаря, и в этом главный признак секуляризации религиозного сознания.

...Принятие западной церковью в XVI веке григорианского календаря снова обнажило разногласия по календарному вопросу между Западом и Востоком. Несмотря на то что некоторые православные церкви сегодня живут по григорианскому календарю, до сегодняшнего дня четыре православные церкви придерживаются юлианского календаря в своем богослужении. Восточная церковь явилась наследницей греческой традиции с ее развитой философией и склонностью к созерцательности, а западная — римской, основу которой составляла идея римского владычества и глубоко разработанная система юриспруденции, основанные на национальной черте римлян — практицизме и склонности к логике. Отдельно мы отметили различное понимание времени в этих двух культурах: циклизм времени у греков и склонность к историцизму у римлян. В дальнейшем это различие привело к тому, что в христианском времени западное христианство стало выделять историцизм, линейность, что привело к упрощению времени и утрате его сакрального смысла. В XIII веке в Западной Европе стали массово распространяться приборы для измерения времени, и это, по мнению историков, привело к окончательной десакрализации времени: время стало можно измерять, делить на равные отрезки и распоряжаться им по своему усмотрению. Это новое понимание времени на Западе позволило в XVI веке папе Григорию XIII провести реформу церковного календаря.

...Часто в спорах о достоинствах и недостатках юлианского и григорианского календарей приводятся аргументы большей астрономической точности того или другого календаря. Мы вслед за А. Н. Зелинским считаем, что оба календаря различны по своим принципам, поэтому сравнивать их бессмысленно. Григорианский календарь ориентирован на величину тропического, или солнечного, года, то есть на период возвращения Солнца к равноденствию, а юлианский — на величину сидерического, или звездного, года, то есть на период возвращения Солнца к одной и той же неподвижной звезде. В этом смысле григорианский календарь геоцентри-



чен, а юлианский — космоцентричен в своей основе, поэтому они могут использоваться каждый для своих целей. Наличие двух календарных систем в России мы не считаем недостатком, напротив — в современном секуляризованном мире кажется просто необходимым иметь два различных календаря: сакральный календарь Церкви, напоминающий о вечности, и “правильный”, астрономически точный календарь материального мира — для отсчета земных дней...»

Сева попытался отыскать глазами слесаря, чтобы узнать, понятно ли ему это.

Но ни слесаря, ни милиционеров больше не было.

Да и самого Севы не было.

Вместо него стоял за кафедрой Севастьян Тимурович Григорьев, в светлом песочном костюме, у приоткрытого окна, и аудитория еще хранила молчание, ожидая продолжения.

— Надеюсь, я ответил на ваш вопрос? — улыбнулся Севастьян Тимурович, потирая ладони, испачканные мелом.

В аудитории, ближе к задним рядам, он увидел Адриану Васильевну, которую Лиза насмешливо называла Черновой Дамой. И ее появление (немного опоздала, пробиралась вдоль стенки, комически, с преувеличенной осторожностью) вызвало у Севастьяна смутное беспокойство. Она всегда вызывала нечто в этом роде, с тех самых пор как...

Первым подбежал к нему поздравить, тряс руку молодой аспирант Илья, этот далеко пойдет. Лиза вечно устраивала всякие фокусы в его присутствии, нарочно конфузя мальчишку, который, кажется, немного в нее влюблен.

А вот и старина Михайлов, явился уже под самый конец, извинялся, смущаясь. Милый добряк... Да, Адриана, конечно, права, когда говорит своему супругу, что нельзя же быть таким тюфяком... Но все равно это не повод, это не извиняет его — Севастьяна.

«Да, а как бы все славно устроилось! — толкал Григорьева под ребро мелкий внутренний бесенок. У тебя интрижка с Адрианой, у твоей Лизы — с этим аспирантом». Даже у очень порядочных людей бывают такие мысли. «Да и что, в сущности, было? За что я себя корю? Один пьяный поцелуй. Смешно!» Нет, его тревожила та мгновенная буря, которую вызвал этот поцелуй. Он не мог себе представить, что страсть так полонит его. А ведь наедине с Лизой они всегда посмеивались над Адрианой. Уже не помнили, кто из них первым придумал это прозвище — Червовая Дама. Это все ее страсть к блестящему, яркому и неправильные ударения в словах. Вот этот оттенок вульгарности и дразнил Григорьева в насмешку над его рафинированной натурой. «Кажется, у Ницше есть что-то об этом, — вспоминал он. — О том, что разумный человек нуждается в безумии как в отдыхе от самого себя».

\* \* \*

— Какой у вас вид из окна замечательный. Чудесная квартира! — восхищались гости, ступая по медовым, лаковым полам.

— Сколько хлопот с ней было! Вы не представляете, в каком запущенном состоянии... — отзывалась Лиза и бросала на супруга взгляд ласкового укора.

Друзья и знакомые любовались их взаимоотношениями; по общему мнению, это была идеальная пара двух созданных друг для друга людей, составляющих в психологическом плане буквально те самые половинки одного целого. На людях Севастьян Тимурович и Елизавета Витальевна подтрунивали друг над другом, жаловались.

— Она всего боится, — говорил Севастьян Тимурович, когда Лиза вздрагивала от крика пролетающей за окном вороны. — С ней дорогу невозможно переходить даже на зеленый свет.

— Он такой невнимательный. Вчера держит в одной руке книгу, читает на кухне, а другой рукой наливает чай в подстаканник, а стакана в нем нет.

Ворона пересекла светлый прямоугольник окна и унеслась в берендеву глухомань, в тихий лесной сумрак, скользя над влажной прелью прошлогодней коричнево-лимонной листвы, похожей на подгнившие яблоки, видной через перекрестья мокрых веток. Потом она пролетела над сельским кладбищем на рыжем пригорке, с которого недавно сошел снег, зимой заносивший доверху убогие оградки, кресты и пирамидки, которые теперь, освещенные солнечным лучом, весело блеснули, отразившись в черном вороньем глазу. И ворона каркнула в ответ так, что одинокий мужичок на погосте, задрал голову, взялся за шапку. Желтая полоса дороги наискось прошла под вороной; трактор с прицепом стоял на обочине уже давно, прицеп был без колес, а трактор без гусениц. Болотистая, топкая равнина глядела в небо бесчисленными округлыми зеркалами промеж густой ряски. Ворона с упругой уверенностью летела дальше, не зная, что она летит, что она ворона. И Севастьян Тимурович тоже толком ничего не знал о себе, кроме возраста, семейного положения, должности, кроме того, что он любит точные цитаты и чай с лимоном.

— Лиза, я все слышу! — доносился из кабинета притворно-строгий голос Севастьяна Тимуровича, и появлялся он сам с бутылкой коньяка в картонной коробке. — «Такой повод заслуживает выпить!» — улыбался Григорьев, отвинчивая металлическое горлышко. — Кто-то из моих знакомых так выражался.

— Ты представляешь, какая история, — отведя Севастьяна Тимуровича в сторонку, говорил раскрасневшийся после коньяка Михайлов, промокая виски носовым платком, — недавно чуть не втянули меня в аферу. — Он оборачивался по сторонам и, опустив углы своего добродушного, рыбьего рта, добавлял: — На заочном факультете. Эльза Рафаиловна, ты ее знаешь, татарочка такая невысокая...

Григорьев не слушал его, отчасти потому, что уже знал эту историю от другого коллеги на кафедре, отчасти потому, что ему только что пришла в голову одна мысль, но он ее позабыл и теперь пытался вспомнить...

Михайлов был известен необычайной щепетильностью. Никогда не принимал никаких подарков от студентов. Даже коробки конфет не возьмет. Единственный род жульничества, на который он был способен, — это надолго выйти из аудитории во время экзамена или не заметить, как хоро-

шенькая студентка списывает из-под парты с учебника, даже не услышать грохота, с которым этот учебник вдруг падает на пол с ее колен. В таких случаях Михайлов прикидывался погруженным в свои мысли.

Лиза окончила биологический факультет, но недолго работала по профессии, стала успешным риелтором, теперь у нее было свое агентство. «Это мой скромный вклад в твою науку, — говорила она мужу, — иначе риелтором пришлось бы стать тебе». — «Да, уж я бы показал себя как бизнесмен!» — улыбался в ответ Севастьян Тимурович.

— Помню, мы как-то основали небольшую фирму, продавали оргтехнику и канцтовары, — рассказывал Григорьев. — Закупили товар, начали бизнес.

— Это в девяностых? — спросил Илья.

— Да. Вот вы говорите: плохо, когда у человека нет чувства прекрасного, — продолжал Григорьев. — А я вам скажу: еще хуже, когда оно есть! Впервые я понял это, когда продавал шариковые ручки, настенные часы, калькуляторы и прочую офисную дребедень. У меня было несколько постоянных клиентов. Например, одна дама — начальник домоуправления. Не знаю, чем я заслужил ее расположение. И вот однажды — мы остались наедине в ее кабинете — она села ко мне очень близко, вздохнула и говорит: «Знаешь, чего я хочу?»

Григорьев выдержал паузу, оглядывая компанию.

— Я оробел, сижу с этакой подхалимской улыбкой. Я же получал семь процентов от выручки. А у нее взор так замаслился, губы вытянулись ко мне: «Хо-чу, хо-чу, чтобы здесь все было красиво! Вот тут розовые обои. А здесь китайские часы с оленем и водопадом!» Ну, какая неожиданность, думаю. А я-то думал, что вы, как все остальные-прочие, насерете по углам и станете подтирать, пардон, жопу обрывками обоев...

— Фу-у, Сева! — воскликнула Лиза. — Мы же за столом.

— Таких часов у меня не было, они продавались на китайском базаре. Ладно, продал ей коробку карандашей. Вечером встречаемся с компаньоном подвести итоги, я ему с такой гордостью сообщаю об успехах: продал коробку карандашей, три шариковые ручки и две точилки. А компаньон мой смотрит на меня и говорит: «А я продал ящик калькуляторов и вагон канцтоваров».

Севастьяну Тимуровичу нравилось культивировать свою практическую неприспособленность. Противоположным крылом этого была профессиональная хватистость. «Вы ошибочно ссылаетесь, коллега, это цитата не из Коккьяра, а из работы Лозинского “История папства”. Первое издание — Москва, 1934 год, переиздано было в 1961-м, отредактированный вариант. А вот здесь Рейнак, “Всеобщая история религий”, это 1919 год. А вот здесь я даже не знаю, как лучше сделать, — советовал он молодому аспиранту. — Видите ли, дело в том, что Рассел Хоуп Роббинс — он, конечно, член Королевского литературного общества, но как ученый... он несамостоятельная величина, скорее популяризатор. Не уверен, что обилие ссылок на него играет в вашу пользу».

— Лиза! Купим себе часы с водопадом и оленем?

— На них еще и календарь есть. Ваша тема! — сказал Илья. — Может быть, вы не знали, вот еще забавная штука насчет календаря, в про-

должение, так сказать... Конвент, установивший единство мер и весов, пожелал затем урегулировать законодательным порядком и разделение времени. С этой целью, а еще более ради того, чтобы нанести окончательно удар ветхому зданию отвергнутой уже религии, он вводит во Францию взамен прежнего григорианского календаря — новый, открывая им особое, республиканское летоисчисление. Пятого октября 1793 года старый календарь был заменен другим, предложенным от имени Комитета народного просвещения членом Конвента Роммом. Декрет, изданный по этому поводу, постановил считать окончание старой эры и открытие новой со дня основания республики, то есть с 22 сентября 1792 года. Провозглашение республики в Париже, действительно, состоялось именно 22 сентября утром, в час истинного осеннего равноденствия, при вступлении Солнца в зодиак Весов. Один из современников заметил тогда по этому поводу: «Час наступления гражданского и духовного равенства французов был и в самом небе отмечен равенством дней и ночей...»

Рассказывая это, Илья невольно скрестил вилку с ножом и смотрел поверх этой эмблемы общепита. Серебряные вилки Елизаветы Витальевны, доставшиеся ей от бабушки, давно передружились в этом доме с серебряными ножами, доставшимися Севастьяну Тимуровичу от бабушки (гвардейские приборы с вензелями на ручках). Был среди домашней утвари строгий гэдэушный подстаканник с Кремлем, молочно-голубой тургеневский соусник, благородно потемневшее серебряное кольцо салфеточницы, египетский чайник, немецкий фарфоровый ангелок из Саксонии, пашотница — домашние эльфы, каждый из которых добрался сюда чудом через сотню и больше лет, растеряв по пути всех своих свойственников. Каждый из сервизов стоял как архитектурный ансамбль. Романский стиль — грубая глина. Лебяжий — Покров на Нерли. Третий — сталинский классицизм, белый с позолотой и ситцевым рисунком.

— Смешно! Второй год республики, начавшийся по григорианскому календарю 1 января 1793 года, с введением нового календаря начал считаться вновь с 22 сентября того же 1793 года. Эта дата стала первым днем второго года республики, которому, однако, по григорианскому календарю было уже восемь месяцев и двадцать два дня. Таким образом, в действительности второй год длился более двадцати месяцев, и в официальных актах появилась вследствие этого страшная путаница, так как оказались акты, принятые в разное время, а помеченные одним и тем же днем.

— Вот забавно! — сказала Лиза. — Вот прекрасный вопрос для знатоков: сколько месяцев длился 1793 год?

— Там еще был интересный момент такой, — подхватил на вилку кружок копченой колбаски Михайлов. — Падение монархического режима должно было при тогдашнем настроении с необходимостью повлечь за собой изменения даже в фигурах игральных карт, так как короли, дамы и валеты слишком напоминали тот былой строй, который надлежало искоренить до последней черты. Было решено заменить королей мудрецами, дам — добродетелями и валетов — героями. Четырьмя мудрецами стали: Юний Брут (пики), Жан-Жак Руссо (трефы), Катон (бубны) и Солон (черви). А добродетелями оказались: Могущество, Единение, Благоразумие и Правосудие.

— Адриана Васильевна была бы Правосудием, — шепнула Лиза мужу.

— Изображение этих исторических и аллегорических личностей было якобы произведением знаменитого живописца Давида, — продолжал Михайлов. — Отчетливость композиции и выдержанность стиля первых игральные карты революции дают основание доверять справедливости такого предположения. Юний Брут держит щит, на котором начертаны слова: «Римская республика». У его ног, в круглом ящике, свернуты знаменитые книги сивилл. На щите Катона изображено разрушение Карфагена; Солон держит в руках афинские законы; Руссо, являясь символом новейшего философского движения, смотрит на свой «Общественный договор».

А в третьем году республики гражданин Симон Вернандоа получает привилегию на изобретенные им новые игральные карты. Эти новые карты изображали: король червовый — гения войны, трефовый — гения мира, пиковый — гения искусства, бубновый — гения торговли. Дамы представляли: червовая — свободу совести...

Лиза улыбнулась в пространство.

— ...трефовая — свободу брака, пиковая — свободу печати, бубновая — свободу промыслов и профессий. Валеты: червовый — равенство обязанностей, трефовый — равенство прав, пиковый — равенство званий, бубновый — равенство рас. Благодаря этим преобразованиям способ игры совершенно изменился. Приходилось говорить в пикете: вместо, скажем, четырнадцать тузов или дам — четырнадцать законов или свобод, вместо квинт или терц от короля или валета — квинт или терц от гения или равенства.

— Да ты у нас скрытый игрок! Какая у тебя память на карты! — засмеялся Григорьев.

Он знал, что если не прервать обстоятельного Михайлова, то лекция затянется до ночи. Михайлов смущенно просиял. Его безукоризненной репутации льстила тень порочности.

— Говорят, что во времена французской революции было много самоубийств, — сказала Лиза.

— Ужасно много! — поддержала ее Адриана Васильевна. — Я читала, что Нострадамус предсказал эти события с удивительной точностью.

— Адичка, большинство его катренов обращены в прошлое, — снисходительно посмотрел на нее Михайлов. — Нострадамус верил в циклическую повторяемость истории и надеялся, что, описывая прошлое, он предскажет будущее.

— Какое же это прошлое? — отвечала мужу Адриана Васильевна. — А вот это — прошлое? Там сказано, что все будут против казни короля Франции Людовика XVI, на суде перевесит всего-то один голос. И все послания к другим королевским дворам Европы будут перехвачены. И даже имя философа Руссо Нострадамус предскажет верно. А ведь Руссо родится через полтора года после смерти Нострадамуса!

И она поглядела на супруга, который поднял вверх обе ладони в знак шутовой капитуляции.

— Да, верно, это, кажется, катрен седьмой первой центурии, — вставил Илья.

— Да это, в общем, всем известно, — продолжала Адриана. — Но мало кто знает, что кроме Нострадамуса эту ужасную революцию предсказали еще многие. Еще в VII веке пастор Бартоломеус Гольцгаузер предрек «ужасную и плачевную смуту» в Париже спустя одиннадцать веков. А в конце XIV века французский кардинал Пьер д'Айи предсказал даже точную дату начала революции. И не он один! Его современник астролог Пьер Турель тоже назвал дату этого события в одном из своих манускриптов. Он и его коллега, астролог Ришар Русс, предрекли великие потрясения в 1789—1814 годах. Невероятно, но факт: 1789 год — начало революции, 1814-й — окончание наполеоновских войн, вход союзников-победителей в Париж.

Отдуваясь, сопя и дожевывая, Михайлов начал было:

— У меня на это будет достаточно возражений... Во-первых, перевод этих пресловутых катренов!

— Я как Кассандра. Мне никто не верит! — развела руками Адриана Васильевна.

— Нет-нет, уступите даме, — бойко вступилась Лиза. — Я вот удивляюсь, столько убийств и самоубийств в то время! Как же они все эти тела хоронили?

— Ну а что тут особо сложного? — пожал плечами Михайлов.

— Не скажите, — продолжала Лиза. — Ведь кремации тогда еще не было. Хотя еще в Ветхом Завете описана кремация царя Саула и его сыновей, погибших в битве с филистимлянами. В христианстве же кремация считалась признаком язычества. Поэтому с распространением христианства она уступила место погребению в землю. В 785 году под угрозой смертной казни Карл Великий запретил кремацию, и она была забыта примерно на тысячу лет. Возрождение кремации в Европе произошло во второй половине XVIII века.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил Григорьев.

— Прочитала.

— Конечно, это же католицизм. Они и сейчас, по-моему... — живо поддержал тему Илья.

И тут Севастьян Тимурович вспомнил ту мысль, что ускользнула от него в начале вечера.

Между тем Елизавета Витальевна живо обсуждала с Ильей тему погребения в различных конфессиях.

— Нет-нет, если усопший был воцерковленным человеком, то, конечно, полагается саван, а не светский костюм или платье — так не делается, — настаивала Елизавета.

— А я вот вспоминал, как мы с Лизой ездили в Ялту. Лиза, где наш альбом с фотографиями?

Повисла пауза, во время которой Михайлов снял очки, чтобы протереть, Адриана стала поправлять массивный серебряный браслет на запястье, аспирант Илья, моргая, уставился на вилку, а жена замерла в лучезарной улыбке.

— А-а... я прибирала, переложила его куда-то, сейчас не помню, — ответила она.

— Ну так найди! — сказал Григорьев.

— Вам помочь? — вызвался Илья.

— Да, послушай, совсем забыл, — засопел Михайлов. — У меня ведь для тебя еще один подарок. Небольшой. Скромный.

— Какой?

— Пойдем к тебе в кабинет, мне понадобится ручка.

Они вышли из-за стола.

— Ну вот, все меня покинули, — глубоким, грудным голосом проворковала Адриана Васильевна, оставшись одна за столом, и придала лицу выражение кокетливой скуки.

— Мы только на секунду, — улыбнулся ей Севастьян.

В перспективе коридора, в раме дверного косяка скульптурная композиция — Персефона, вручающая юноше колосья, — Елизавета Витальевна протягивает Илье вазу с засохшим на секретере букетом; они заняты поисками, сдувают пыль с альбомов, широких, как надгробные плиты, но все не то...

— Я помню эту шкафину, — говорит Михайлов в полутемном, зашторенном кабинете Григорьева. — Мастодронт-иконостас!

— Давно хочу от него избавиться, но он не проходит в дверь, как будто родился здесь и вырос, — сказал Григорьев.

За двойными узорными створками, словно за Царскими вратами, сверкают в узком солнечном луче, упавшем между штор, пасхальные яйца, покрытые фальшивым жемчугом, кувшин в форме змеи, глотающей свой хвост, синий бархатный футляр в виде сердца, стопки сложенных горкой, как блинчики, блюдца с золотой подрумяненной каймой, прозрачные пустотелые фужеры — разноцветные минареты.

Как большинство именинников, Севастьян Тимурович догадывался, что ему подарят. А в случае с Михайловым он знал точно, поэтому сосредоточился, чтобы никак не выдать этого и выглядеть изумленным. Вдруг в соседней комнате ударило в пол, зазвенело, посыпалось.

— Стой, стой! — подняла руку Лиза, но Григорьев уже сделал несколько шагов.

— Это я. Извините, Севастьян Тимурович. Сам не знаю, как она выскользнула.

— Ничего, Илья, это не антиквариат, все они когда-нибудь бьются.

— Я принесу совок, — сказала Лиза.

— Нет, Елизавета Витальевна, позвольте, я сам все приберу.

— А чего вы, собственно, туда полезли? — спросил Григорьев насмешливо и тут же зашипел сквозь зубы.

— Ну вот, говорила тебе, осколки ведь!

На грохот прибежала и Адриана Васильевна. Однако наделала еще больше бед — второпях задела своими широкими бедрами этажерку в коридоре, с которой посыпались на пол один за другим скользкие глянцевые альбомы.

— Какая я неловкая!

Она поднимала альбомы, нагибаясь так, что трещало платье.

На правой пятке Григорьева носок потемнел от крови.

— Ну вот, я теперь как Ахиллес.

В этот момент Севастьян Тимурович вспомнил о Михайлове. Когда он вошел в кабинет, Михайлов как раз закончил подписывать подарок — собственную, недавно вышедшую книгу по истории Китая. Остроумие давалось ему с усилием, о котором как бы свидетельствовал нажим ручки. Он отложил ее через секунду после появления Григорьева. И у Севастьяна Тимуровича возникло ощущение, что взгляд его успел схватить что-то необычное, но Михайлов двинулся к нему навстречу с книгой и с распростертыми объятиями, с задушевным выражением в глазах и не дал понять, что же это было.

— Мой дорогой друг... — начал Михайлов, и Севастьян Тимурович приготовил ответное выражение лица и держал его как перед фотографом, выслушивая товарища и не в первый раз удивляясь, как долго и обстоятельно тот может говорить.

Шли по песку вдоль воды, было тихо и пасмурно, пахло водорослями. Чайка вскрикивала.

— Не могу вспомнить... — повторил Севастьян Тимурович.

— Я тоже все забываю, — махнул рукой Михайлов.

Его большие следы тут же наливались водой. Шли босиком, закатав брюки до колен.

Григорьев сбоку поглядел на него:

— Ты левша или правша?

— Правша, конечно, — удивился Михайлов. — Хороший вопрос, всю жизнь знакомы!

— А почему ты тогда подписывал мне книгу левой рукой?

— Когда?

— Ну, на дне рождения моем.

Михайлов задумался, опустил по привычке углы рта:

— С чего ты взял?

— Не знаю, вот вспомнил вдруг, что еще тогда удивился этому. Может, показалось?

— Конечно, — без интереса ответил Михайлов, обернулся и помаhal рукой дамам.

Они отстали, задержались у пирса. Смотрели вместе с Ильей, как там сидят на ящиках молчаливые рыбаки. Ждали, вдруг у кого клюнет. Потом задушевными подружками брели рядышком, переглядываясь, посмеиваясь над Ильей. Нарочно задавая ему вопросы, провоцируя всезнайку. «Илья Андреевич, а скажите, вот Луна — это символ чего?»

— Все на свете знает... — смешливо шептала Адриана Васильевна.

— На меня всегда молоденькие западают. Вот подожди, подрастет, остепенится — будет за тобой бегать, — говорила Лиза.

— Луна? — небрежно сияя, отвечал Илья. — Это многозначный символ, в греческой мифологии ей соответствовала богиня...

Электричка с воем пронеслась вдоль пляжа, и дамы взялись за свои шляпки.

— ...и еще смерти. И часто изображалась со свитой собак. А у китайцев...

Встречная электричка.

— Экий дамский угодник, ты его не в секретари себе готовишь? — усмехнулся Михайлов.

— Кого? — не понял Григорьев. — А-а, Илью...

Он не знал, что сказать, как-то выходило само собой, что этот парень везде следовал за ними.

— Он... способный.

Они встретились взглядом с Михайловым.

— Слишком уж он, прости за откровенность, вокруг Елизаветы Витальевны увивается.

— Да брось, — ответил Григорьев и от неловкости, не зная, что делать, тоже помахал рукой в сторону пирса. — Я что-то другое, совсем другое вспомнить хотел, — сказал он раздраженно и зашагал вперед. Вскрикнул, подпрыгнул на одной ноге: — Вот зараза, опять та же пятка, да что за черт!

— На ракушку наступил?

Зашли в кафе. Для Ильи пришлось попросить у официантки еще один стул.

— На угол не сажайте его, замуж не выйдет. Ой, то есть не женится! — расхохоталась Адриана Васильевна.

— Странно, я был уверен, что оно закрыто, — сказал Севастьян Тимурович.

— Почему? — спросила Лиза.

— Ну, я не помню, кажется, пару месяцев назад я был здесь, видел, что его закрыли.

— Значит, ремонт был, теперь опять открыли.

— Да, да, наверное... Только его тогда уже сносить начали. Весь верхний этаж...

— Мы горячее будем заказывать?

— Шашлык?

— Так! Я замерзла, мне коньяка.

— Вам принесут «Апшерон», — сказал Севастьян Тимурович, прикрыв глаза, как от головной боли.

— Что?

— Вам принесут «Апшерон».

— Но я еще не заказывала, — весело отвечала Адриана Васильевна.

— Ошиблись, ошиблись, «Слынчев бряг»!

— Коньяка нет, вот бренди, — объясняла официантка. — Хороший, болгарский. Это одно и то же, как коньяк.

— Вы здесь работали в прошлом году?

Однако вопрос Григорьева прозвучал уже в спину уходящей официантке.

— Лиза, а ты помнишь?.. Что тебе запомнилось больше всего из нашей поездки в Ялту?

— Ну, многое запомнилось, — отвечала Елизавета Витальевна.

— Ялта? Первое упоминание о Ялте, датируемое XII веком, есть у арабского историка Аль-Идриси. С крымско-татарского «ялыда» переводится как «на берегу», — бойко встрял Илья.

— Ну вот гостиница, где мы жили, а, Лиза?

— Да, конечно, очень милая.

— А подробнее?

— В Ялте прекрасные гостиницы: «Коралл», «Дарсан», «Крым», «Спарта», — не унимался Илья.

— А мы с тобой в какой были?

— Подожди, я не могу сориентироваться, какой салат выбрать. Ты будешь с креветками? — отвечала Лиза.

— Вы в пансионате «Прибой» останавливались, — флегматично заметил Михайлов. — Ты мне рассказывал.

— Когда? — повернулся к нему Севастьян Тимурович.

— Уж прости, числа не записал. Я буду греческий.

— А я с креветками. Мужчины! Не забывайте о своих обязанностях. Адриана Васильевна подняла рюмку. Илья взялся сворачивать горлышко бутылке.

— «Прибой»? Почему я не запомнил названия?

— Ха, сколько лет прошло! Я не помню, что вчера было, — усмехнулся Михайлов.

— А вот я всегда все помню, — сказала Адриана Васильевна и встретила глазами с Григорьевым.

Ему даже показалось, что она коснулась под столом туфель его щиколотки. И в этих васильковых глазах он увидел летнее небо, каким оно было в тот день, когда он с теткой Валентиной отправился в интернат.

Идея принадлежала Адриане, потому что ей хотелось проявить заботу, как она сама говорила — «разрешить ситуацию».

Старушка собиралась как на праздник. По дороге пришлось, в самом деле, остановиться и устроить пикник. Валентина успела рассказать свои любимые истории еще до пикника, в машине, потом на пикнике, а потом с полчаса любовалась природой, проносившейся за окном, и снова принялась рассказывать. Она не понимала до последнего момента, что ее везут сдавать в больницу для психохроников. Только некая тень сомнения в том, что это «дача», мелькнула в глазах, когда она вошла... И этот взгляд Григорьев запомнил. Запомнил муху, которая ударялась в зарешеченное маленькое и низкое окно, густо покрашенную белой краской решетку и подоконник, санитарку с двойным подбородком, которая уже стояла за спиной тетки Валентины, скрестив руки на груди, ожидая.

Григорьев вышел, когда тетка Валентина отвлеклась, разглядывая истрепанный прошлогодний журнал на тумбочке. Когда она обернулась, племянника уже не было, и она не помнила, когда, куда и как надолго он ушел, и что она должна делать теперь, и где она вообще. Одна секунда изменила ее жизнь, и она не заметила этой секунды. Она стояла, не понимая, что ей теперь делать, как актриса, забывшая роль.

Был теплый летний вечер, когда он шагал назад. Птицы пели. Полянь пахла. И никакого ужаса. Все на удивление просто.

Не осталось ни следа от прежнего каждодневного раздражения против тетки Валентины, к вечеру доводившего Григорьева до тихой истерики. В машине на ее сиденье лежала смятая после пикника салфетка. Он почувствовал желание вернуться. Торопливо выбросил салфетку, развернулся на краю поселка и поехал к шоссе. Камешки выстреливали из-под покрышек. Пыль повисла в вечернем воздухе, просвеченная солнцем.

С этого дня он велел себе все забыть, начал ремонт в квартире, и через несколько месяцев они съехались с Лизой.

...Севастьян Тимурович вышел из-за стола. Зал кафе был пуст. Кроме их компании, никого. Стулья стояли кверху ножками на столах. Он направился к дверям туалета. Рядом была приоткрытая на четверть дверь, ведущая в служебное помещение. Кривой кафельный пол. Стена, до середины покрашенная синим. Деревянный грубый стол со стопками тарелок.

Он увидел официантку:

— Извините.

— Да, — обернулась она.

Это была брюнетка с индийскими глазами и широкими бедрами.

У нее был смуглый румянец и на губах помада шоколадного цвета.

— Что-то еще заказать хотите?

— Я хотел спросить...

Она внимательно, без улыбки смотрела на него.

— Вы здесь давно работаете?

— Не очень, а что?

— Мне казалось, что пару месяцев назад кафе закрыли и здание вроде даже определили под снос и начали уже сносить, без крыши стояло.

— Этого я не знаю, я два месяца назад в отпуске была, к родне ездила. А что вас интересует, собственно?

— Разве этот дом не снесли?

— Ну вы же здесь стоите?

— Два месяца назад?

— Меня не было, — повторила официантка.

Она шагнула чуть ближе; ей стало казаться, что мужчина нарочно придуривается, ищет тему для разговора, но сбивается и робеет, не хам, застенчивый, такие ей нравились.

— Я спрошу у хозяина, — пообещала она.

— А где хозяин?

— Его нет. Я сейчас одна.

— Мне кажется, что я вас где-то видел. Раньше.

Она улыбнулась, понимая.

— А это жена ваша, такая светленькая?

— Нет.

— Значит, брюнетка?

— Да.

Официантка снова улыбнулась, покачав головой:

— Ну бегите к ней, а то вас уже небось потеряли.

Он прошел обратно через кафельный коридор с обшарпанной синей стеной и через пустой зал с перевернутыми стульями на столах.

— Ну где там туалет? — с грехотом выдвигаясь, спросил Михайлов.

По залу тянуло холодком; дверь была полуоткрыта, и за ней стояли Елизавета Витальевна и Илья.

— Вышли подышать, — прокомментировала Адриана Васильевна взгляд Григорьева.

— Вы сказали, что все помните? — спросил он.

— Тише! — прижала палец к губам Адриана Васильевна и с преувеличенным испугом глянула вслед своему супругу. — Я не знала, что Лиза курит.

— Так. Иногда. Балуется.

— Балуется, — повторила Адриана Васильевна и улыбнулась. — А Илья тоже балуется?

— Нет. Он никак не может бросить.

— Понятно. Значит, всерьез увлекся...

— А вы чего испугались?

И тут же, словно пародируя испуг, задрожала чайная ложечка на тарелке, ей ответили другие приборы, задребезжали стекла в окнах, и с воем вдоль станции пронесся тяжелый грузовой поезд. Дверцы высокого шкафа, стоявшего у стены, бились, как будто кто-то пытался выскочить из него.

Адриана Васильевна ответила, но Григорьев ничего не услышал. Она четко артикулировала, и ему показалось, что она дурачится, просто мычит, вытянув накрашенные полные губы.

— Нет, охота не для меня, — говорил Михайлов. — Охота — это что? Это тебе не тургеневские прогулки с собакой. Это едешь черт-те куда с черт-те кем и ящиком водки в придачу, там все пьют, спят вповалку, храпят. Я уже не говорю о том, что животных жалко убивать. И мне неприятны такие компании. А вот рыбалка — другое дело. Тут ты один, природа и тишина, рассвет. Ты медитируешь, глядишь на поплавок. И кажется, улов тебе совсем не важен, ну совсем. Но если начинается поклевка — вот тогда азарт!

Они поехали вдвоем с Григорьевым. Как-то сговорились и встали рано. Встретились на пирсе, сели на шестичасовой катер. День занимался мягкий, серенький. Отправились на Песчаный. Пассажиров толпа, однако все грибники.

— А почему рыбаки не едут, может, там не клюет? — спросил Григорьев.

— Лентяи, дураки, вот и не едут, — ответил Михайлов, всегда уверенный в своих расчетах.

Стояли на корме, опираясь о дрожащие леера и глядя, как рассекает серую гладь белый хвост за кормой катера, как уменьшается город, превращаясь в открытку.

— В такую несолнечную хорошо брать должна.

— Не сглазь, — сказал Григорьев.

Михайлов постучал по спасательному кругу, раскрашенному, как флаг Швейцарии.

Через сорок минут выгрузились, грибники скрылись за поворотом дороги, катер, не взяв ни одного обратного пассажира, отвалил, и Михайлов с Григорьевым остались одни на маленьком пирсе между морем и небом. Михайлов любовно расчехлил старенький японский спиннинг.

Главным сюрпризом стало то, что Михайлов, вместо того чтобы погрузиться в обещанную медитацию, непрерывно говорил три часа подряд. Он исчерпал все темы и прокрутил их заново. Да, собственно, и тем-



то у него, как выяснилось, не было в достатке. Всего две: работа над новой исторической книгой и ремонт в квартире. Неисчерпаемые.

— Ну вот, хоть и улов не ахти, зато наговорились всласть, — улыбался Михайлов, сматывая леску, и ласково смотрел в глаза друга.

Григорьев был потрясен, и товарищ принял эту растерянность за род восхищения перед его талантом ученого и сноровкой домохозяина. Михайлов искренне не понимал, что три часа говорил одно и то же, как будто механическая игрушка доезжала до стены и, упираясь, отъезжала назад, чтобы снова подъехать и упереться. «Как будто он не человек, а ожившая проекция моих, в общем, скудных сведений о нем, которые он вынужден бесконечно ретранслировать, потому что я больше ничего о нем не знаю, а его самого, отдельного от моего вымысла, не существует». На дне просторной сумки в целлофановом пакете лежала единственная красноперка. «Нет, он был уверен, что клев будет хороший, а я сомневался, значит, Михайлов существует». Кислая улыбка скрепила этот вывод.

Придя домой, Григорьев хотел преподнести всю эту историю с рыбалкой в комическом ключе, поведать Лизе, что он не выдержал излишний Михайлова, убежал с пирса и спрятался в лесу; и тогда Михайлов рассказывал свою жизнь пойманным рыбам и пролетавшим чайкам и, наконец, капитану катера, который в отчаянии сбросил Михайлова за борт, надев ему на шею спасательный круг, раскрашенный как швейцарский флаг. Но Лиза прижала к губам палец: она говорила по телефону и проговорила так полтора часа, перезванивая то одному, то другому клиенту, то своему агенту-риелтору, повторяя бесконечно адреса, цены, метраж...

Иногда она отвлекалась, и очевидно было, что по телефону обсуждали уже кого-то из общих знакомых. Севастьян Тимурович следил за лицом Лизы. Она, увлеченная разговором, этого не замечала. И как бывает, когда при долгом повторении одного слова оно становится бессмысленным, так лицо Лизы становилось незнакомым для Григорьева. Он даже испугался и отвел глаза. Сейчас она кончит говорить и займется чем-нибудь на кухне, а потом опять ей позвонят, а потом будет смотреть телевизор и проверять какие-то выписки в ноутбуке, опять что-то по работе вперемешку с кулинарными рецептами из Интернета, затем сработает таймер в духовке или мультиварке.

«Лиза постоянно занята делами. Занимает она ими свою жизнь или только мое воображение?.. Есть ли у нее какая-то жизнь кроме этой почтенной видимости — бесконечной работы и кухонных хлопот? Должна ведь быть! Но я никак этого себе не представляю».

— Лиза, у тебя есть любовник?

Она подняла глаза:

— Что?

Григорьев повторил с той же простой интонацией.

— А зачем?

— Ну как... Ты молодая женщина, я значительно старше тебя, тебя... тебя... все устраивает в наших отношениях?

— А что?

— Вот и я спрашиваю.

— Я не понимаю.

- Что тут можно не понять?
- Что на тебя вообще нашло? Ты что, меня обвиняешь? Ты меня к кому-то ревнуешь?
- Я просто хотел узнать, что тебя не устраивает в нашем браке.
- Меня все устраивает, — отвечала Лиза.
- А в жизни?
- Меня и в жизни все устраивает. Что меня должно не устраивать? Севастьян Тимурович задумался.
- Ладно, извини, — сказал он.
- Нет, подожди, что это на тебя нашло? Ты что, с Михайловым поругался?
- С Михайловым невозможно поругаться. Не такой он человек.
- Почему невозможно?
- Действительно... — Григорьев и сам засомневался. — Надо проверить. — Он собирался уже выйти из комнаты, но тут повернулся к жене и сказал: — Лиза, ты дура!
- В каком смысле? — опешила она.
- В прямом.
- Ну, наверное, ты прав, хотя мне обидно, я ведь все стараюсь делать...
- Ну, ты ведь не будешь долго обижаться на меня?
- Лиза пожала плечами:
- Я не обижаюсь.
- Лиза, я должен тебе признаться. Постарайся принять это мужественно.
- Он поглядел ей в глаза.
- Хорошо.
- У меня есть любовница.
- Кто?
- Это важно, в принципе?
- Нет. Просто...
- Что ты будешь теперь делать?
- А что надо делать? — спросила Лиза.
- Ну как, это тебе решать — что! Ты можешь меня бросить. Можешь в отместку завести себе любовника. Да мало ли — отравиться, выгнать меня из дому или тоже отравить. У тебя разве нет фантазии?
- Ну я не знаю, — растерялась Лиза. — А ты как считаешь лучше?
- Григорьев подошел к ней, наклонился и поцеловал:
- Прости, я пошутил.
- Да что с тобой сегодня?

Ждал автобуса на остановке, в автобусе смотрел на пассажиров, ждал, когда приедет, шел по улице, ждал, когда дойдет, разговаривал с деканом заочного факультета, ждал, когда кончится разговор, читал лекцию, ждал, когда все выйдут из аудитории, чтобы запереть дверь, смотрел в окно, ждал автобуса на остановке, смотрел на облака, ждал, когда приедет домой, ждал, когда Лиза перестанет говорить, кивал ей в ответ, ушел к себе в комнату, читал книгу, выпил таблетку от головной боли, ждал, когда подействует, ждал, когда Лиза погасит свет, ждал, когда соседи наверху



угомонятся, спал, ждал, когда Лиза освободит ванну, когда закипит чайник, автобуса на остановке, смотрел на пассажиров, пробка, ждал, когда Михайлов расскажет одну из своих историй, вместе с ним ждали, стоя в очереди в буфете, потом вместе ждали выступления ректора, ждали, когда он закончит говорить, Михайлов тихонько каламбурил: «Отряд не заметил потери Творца», ждали, когда секретарь на выходе из конференц-зала отметит их фамилии, Михайлов острил: «Вспомним их поименно», читал лекцию, ждал, когда студенты выйдут из аудитории, чтобы запереть дверь, смотрел в окно на облака, прошелся пешком, смотрел сверху на залив, корабли, ждал, когда придет нужный автобус, снова стояли в пробке, ремонт дороги, ждал, когда наговорится по телефону Лиза, хотя сам в это время лежал у себя в комнате с книгой, однако все равно ждал, слышал разговор не вникая, без интереса, но ожидая, когда он закончится, закрылся в ванной, сидел на краю, ждал, когда наберется вода, закрыл глаза, хотел вспомнить что-нибудь хорошее, ждал, когда что-нибудь вспомнится, вместо этого опять про институт и разное ненужное, ждал, когда последний глоток воды засосет хромированное отверстие в ванной, ждал, когда соседи сверху прекратят сверлить и стучать. Каждый вечер он смотрел из окна на город, на огни домов, и они казались ему укоризненными, как будто говорили, что вот еще один день прошел неправильно и его уже не вернешь. Вся жизнь с какого-то момента превратилась в дорогу, идущую в направлении противоположном истинному смыслу и желанию. С этим тяжелым чувством он засыпал и просыпался. Иногда какой-нибудь простой трудовой звук — сигнал автомобиля, звон упавшей на асфальт дворницкой лопаты, грохот мусорного бака — возвращал его на мгновение к простой, отделенной от него и уже потому счастливой реальности. Но это был всегда лишь краткий блеск недосягаемого счастья. «Как прекрасен мир без меня! — подумал Григорьев. — Рай — это мир без тебя, в нем живут только другие, осененные твоей симпатией и снисхождением».

Холодок бежит за ворот. Одеся не по сезону. Рановато вышел без пальто. Утро синее. Небо слева погружено кубами в строительные леса. Искрами трещит, сыплется сварка. Подняв забрало шлема, веселый парень-сварщик свистнул и помахал Григорьеву. А над ним, уже в каких-то вавилонских высотах, башенный кран поворачивает свой клюв. Такому крановщику должен закрывать наряды сам Брейгель.

— Привет, Эдик! — крикнул в ответ Севастьян Тимурович с молодой продрогшей бодростью в теле, грудью чувствуя холодную ткань рубашки.

Пошагал дальше улыбаясь.

Улица, такая же, как всегда, неширокая, плоско-выпуклая, с ветвистыми трещинами асфальта, как черное стекло, отражала небо и веселую желтую бочку с надписью: «Квас». Он прошел, последовательно вспоминая вот этот разбитый участок тротуара, это окно на втором этаже, всегда неожиданно выглядывавшее из-за густых ветвей старого тополя.

Пришла в голову озорная мысль: зайду в подъезд, поднимусь, позвоню, извинюсь, скажу, что ошибся, но наконец узнаю, кто там, за этим

окном, живет. Подъезд, пролеты узкие, хрущевка, ступеночки мелкие, солнце лежит на них гармошкой.

Перед дверью с номером 13 замер, уже приставив палец к звонку. Что может быть за этой дверью? Вдруг там летняя ночь? Едва белеет мягкой пылью узкий проселок в темном поле между высоких трав, тяжелые снопы которых зачесаны ветром в разные стороны, поблескивают под луной, вставшей над переключиной телеграфного столба. В этот предутренний час уже пробирает осенняя свежесть, и звезда то там, то здесь чиркнет наискось по небу. Идешь и невольно оглянешься, хотя знаешь: никого не может быть сейчас поблизости. Весело и страшно. А впереди чернеет роща...

Дверь отворилась, и Адриана Васильевна застыла с ключом в руке. Брелок подрагивал, остро блестел.

— Как вы меня... напугали, — выдохнула она. — Как вы узнали?

— Что узнал? — спросил, отступив на шаг, оторопевший Севастьян Тимурович.

Адриана Васильевна недоверчиво усмехнулась.

— Вы тут живете? — спросил он растерянно.

Она рассмеялась:

— Вы прекрасно знаете, где я живу.

— Ну да, — кивнул Григорьев.

— Проходите уж, угощу вас кофе... Шерлок Холмс.

— Почему Шерлок Холмс?

— Не скромничайте. Вот что вы здесь делали?

— Действительно, трудно объяснить, — сказал Григорьев. — Я зашел, потому что... Вы не поверите, это вообще глупость, фантазия. Окно этой квартиры всегда казалось мне... особенным, странным, в хорошем смысле слова, не таким, как все другие. Я не знал, что вы здесь живете.

— Я здесь не живу. Это квартира моей мамы. Она умерла три года назад. Муж думает, что я отписала квартиру сестре... В общем, это долгая история. Вам с сахаром?

— Понятно. Вот неожиданность. Никогда не верил в такие случайности.

— Вы не умеете лгать, но очаровательны, когда пытаетесь, — сказала Адриана, помешивая кофе в разогретой турке.

— Я вовсе не... — Григорьев махнул рукой.

— Здесь все осталось так, как было прежде. Ну, почти так... Хотите посмотреть? Берите кофе, я проведу вам экскурсию по сказочной стране моего детства и отрочества. — Она двинулась вперед, так что от стука ее каблуков задребезжали дверцы в стареньком серванте.

Севастьян Тимурович слушал ее рассеянно, воспринимая больше сам голос, интонацию, необыкновенно выпренную и книжно-фальшивую, но привычную для Адрианы Васильевны, поэтому сама она ее уже давно не замечала. И эта интонация для рассеянного слушателя составляла как бы самостоятельную и даже главную тему, так что если Адриана Васильевна хотела сказать, что в детстве очень любила гулять за новостройкой, там, где еще сохранились старые одноэтажные домики с покосившимися заборами, через которые в мае тяжело переваливалась рыхлыми шапками сирень, и были уличные колонки с тугими рычагами, на которые



приходилось, перегнувшись, наваливаться всем телом, то на деле у нее это выходило совсем иначе, вроде: «О, никто не любил природу так, как я в детстве, никто не знал лучше меня окраин этой местности, потому что никто чаще моего не бывал в поле, никто более моего не бродил пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и роццам, по холмам и равнинам! Всякое лето находила я новые приятные места или в старых — новые красоты».

На самом деле говорила она не так — так это только звучало. Севастьян Тимурович кивал и следовал за ней из одной комнаты в другую.

«На другой стороне реки видна дубовая роцца, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные...» Она даже рукой сделала плавный жест, как бы открывая занавес, за которым мрели эти пасторали.

«Давно уже сравнивают любовь с розою, которая пленяет обоняние и глаза, но колет руку: к несчастью, терние долговечнее цвета!.. Надобно заметить, что и самые блестящие молодые люди по большей части входят в связи с женщинами ветреными, которые избавляют их от трудного искушения: мудрено ли, что любовь и непостоянство имеют почти одно значение в свете?...»

— Это в смысле того, что... — проговорил Григорьев неуверенно, смущенный тем, что она стоит так близко и смотрит так прямо.

«...что все нежные связи, основанные только на удовольствии, не могут быть надежны и, разрываясь, оставляют в сердце горечь о минувшем заблуждении...»

— Но ведь... и с моей Лизой вы подруги.

«Сердца нежные всегда готовы прощать великодушно и радуются мыслию, что они приобретают тем новые права на любовь виновного, но раскаяние души слабей не надолго укрепляет ее в добродетельных чувствах: оно, как трепетание музыкальной струны, постепенно утихает, и душа входит опять в то расположение, которое довело ее до порока. Легче удержаться от первой, нежели от второй вины...»

— Я не предполагал и не нарочно вас выследил.

«...а первые долее скрываются за щитом равнодушия и возбуждают любопытство, которое сильно действует на женское воображение. Хочется видеть в пылкой деятельности сердце флегматическое, хочется оживить статую...»

— Но ведь ты...

«Тронутая чувствительность имеет язык свой, которому все другие уступают в выразительности; и если глаза служат вообще зеркалом души, то чего не скажет ими женщина страстная?» И она прикусила нижнюю губу с выражением сосредоточенности человека, жадно добывающего наслаждение...

Свет лежал косым квадратом на полу, там, где осталась ее белая блузка. В старом зеркале отражался угол кровати и босая пятка Григорьева.

— Ну признайся, выследил меня, выследил, выследил? — повторяла она ритмично.

— Да-а... — наконец с облегчением наступающего безразличия согласился он.

Пылинки двигались наискось в солнечном луче.

— Что это стучит?

— Не бойся! Это соседи, ремонт. — Она дурашливо навалилась на него сверху, как бы защищая.

Хотелось пить, и Григорьев пошел на кухню.

— Ой, до чего же мужчины любят порассуждать, — сказала Адриана, когда они уже сидели на кухне и пили херес.

— Наши представления о большинстве вещей фантастичны (любовь, брак, призвание, профессия, гуманизм, патриотизм, логика и так далее — практически все), но именно от них мы отталкиваемся и именно с ними, заведомо ложными, продолжаем сравнивать все результаты своей жизни: брак, работу, положение в обществе. Отсюда наша неудовлетворенность. Однако же мы боремся и с нею, пытаемся дотянуть свою жизнь до этих мифических стандартов. Почему?! Все для того, чтобы не признавать реальности? Почему? Она все перечеркнет! Все! За ней открывается хаос! Мы предпочитаем ему фальшивое, зато утешительное. Предпочитаем фантазию, созданную нами самими. Предпочитаем собственные заблуждения невыносимой правде мира, — говорил Севастьян.

— Рассуждай, это сексуально, — сказала она и кокетливо поглядела сквозь стекло бокала.

Потом вытянула вперед и держала на весу ноги, любуясь ими и постукивая друг о дружку туфельками. «На самом деле, Севочка, все это только тень возможного. Нельзя жить в этой тени вместо реальности».

— Как ты сказала? Тень возможного?

— Да.

— Но это невозможно!

— Почему?

— Потому что это определение Кьеркегора, а ты его никогда не читала, значит, и процитировать не могла.

— Ты слышишь от меня только то, что сам хочешь услышать? Любовь — это зеркало. Или это тоже цитата?

— То есть ты говоришь и делаешь только то, чего я сознательно или неосознанно жду?

— Да, я твоя сексуальная игрушка-хохотушка, — залилась игривым смехом Адриана Васильевна.

— Ну подожди, я хочу разобраться, — говорил он, уклоняясь от ее рук. — По Кьеркегору, «отчаяние возможного» у эстетического человека связано с фактичностью, не соответствующей ожиданиям человека. В своем сознании такой человек стремится подменить свое «я» другим «я», обладающим некоторыми преимуществами. Вот, например, я...

— Знаешь, почему мужчины такие глупые? Потому что много рассуждают. Мне дома хватает одного профессора. Тебе надо еще хересу выпить. Полный стакан.

Илья однажды сказал своему научному руководителю:

— Севастьян Тимурович, я карьерист.

И с этой минуты Григорьев проникся к нему симпатией. Он видел много карьеристов, но ни один из них не заявлял об этом так прямо.



— В таком случае вы сделали неверный выбор, вам не стоило идти в аспирантуру. Надо было пробиваться в чиновники, управленцы...

— Да вот сам думаю, что глупость. Однако нравится!

— Хорош карьерист, — усмехнулся Григорьев.

Севастьян Тимурович часто ездил по филиалам института, читал лекции, принимал экзамены и всегда брал с собой Илью. Для компании.

— Я при вас как Санчо Панса, — смеялся аспирант.

— Почему как Санчо? Вы не толстый, я не худой.

— Ну не обязательно такое буквальное сходство... И вообще, это не я придумал. Так в институте говорят.

Севастьян Тимурович удивлялся:

— Мы ведь не похожи!

— Похожи, похожи... — улыбаясь, но отводя взгляд в сторону, отвечал Илья.

Григорьев пожимал плечами.

— Вы взятку не берете, — добавлял Илья.

— А мне и не предлагают.

— Ну а другие и не ждут.

— Давайте сразу закроем вопрос, Илья Андреевич. Я взятку не брал и брать не буду никогда. Я ни на что не намекаю, хотя понимаю, что по некоторым соображениям со мной ездить в командировки, может быть, невыгодно, но я никогда, повторяю, никогда...

Подбородок у него дрогнул.

— Севастьян Тимурович, вы меня неверно поняли. — Илья понизил голос. — Я полностью с вами солидарен. Я же карьерист! Мне нельзя брать взятки. Помните, как начал свою карьеру Цицерон? Репутация — прежде всего! Кроме того, бескорыстие — это поэзия любого ремесла.

— Кто это сказал?

— Иоанн Златоуст.

— В самом деле?

— Да. Правда, другими словами. Он выразился в том смысле, что ремесло купца не угодно Богу. А разве торговать без денег — это не чистая поэзия?

Вот ради этого балагурства Севастьян Тимурович и брал Илью с собой в командировки. Илья знал множество «историй из жизни», но в отличие от Михайлова никогда не повторялся.

Вот они едут в вагоне электрички. Григорьев смотрит в окно.

— Это точно наша электричка?

— Конечно, — удивляется Григорьев.

— А то я недавно рассказ прочитал. Прямо про меня в чем-то. Там один парнишка поехал после школы поступать в вуз. Но во время пересадки сел не на тот поезд. Приехал не в тот город. А планировал он еще встретиться со своей девушкой или невестой. Ну и встретился, конечно, но не с той девушкой. И поступил не в тот вуз. В общем, все не то, все не так, как он планировал. Впрочем, жизнь есть жизнь, приноравливается, живет. А потом, через много уже лет, он вдруг встречает ту девушку, настоящую, ну, в которую он был влюблен сначала, а она ему говорит, что он не тот человек уже. И сам он видит, что эта правильная девушка тоже не та, хотя вроде бы и та. Но теперь его взгляды изменились. И дальше



с ним происходит все не то, что он себе представлял в юности. Не та работа, семья, все — случайно получившееся, по ошибке, все это продолжается, развивается и приводит его совсем не к той старости и не к той смерти. И вот он умирает и попадает на тот свет. Там его встречают, смотрят на него и говорят: да нет, это не он, это другой. Уходи! А куда, спрашивает он. На этом рассказ кончается.

— С точки зрения астрологии это невозможно?

— А при чем здесь астрология? — удивляется Илья.

— Так, само выскочило. А кто написал?

— Какой-то иностранец, язык сломаешь. Йонтони Мевемваг. Датчанин, кажется, или швед — немец, в общем.

— И как называется?

— Die fremde Ewigkeit. «Чужая вечность».

По вагону идет ревизор, пробивает билеты.

С одной стороны плавно вырезанный берег моря просится на открытку, с другой — бурые остовы автомобилей, пластиковые корпуса телевизоров и стиральных машин, автопокрышки, пластмассовые куклы и резиновые сапоги, раковины, провода, кости, кабели, керамические изоляторы, алюминиевые искореженные полосы, компакт-диски, одноразовые шприцы, костыли, унитазы, стекловата, бидоны, осколки битых стекол и зеркал, кафель, щебень, железнодорожный рельс, газовые баллоны... Посреди всего этого разнообразия мелькают зазывные вывески загородных кафе и шашлычных.

Напротив Григорьева — женщина: она сидит очень прямо, закрыв глаза, с гордым лицом, как бывает, когда человек еще не заснул и помнит себя.

— Часто это все одна лишь видимость. Все не то, что кажется, — замечает Илья.

— Вы про эту свалку?

— Да нет. Не только. Я вообще. Вот история из моего детства. У меня папа — учитель биологии. Бывало, идем с ним, а он мне все вокруг объясняет, и мне так интересно становится, что все вокруг не просто так, а по каким-то законам существует. И законы эти не нарушаются. Папа все знал. И вот мы однажды купили попугайчика, хорошенькую такую, маленькую птичку. Собаку мама не разрешала. Назвали Галя. Попугайчика. Папа мне и про породу их рассказал, *Melopsittacus undulatus*, как они называются по-латыни, и про среду их естественного обитания. Потом для пары решили завести ей мальчика. Тоже купили в зоомагазине. Назвали Гоша. Папа мне объяснял, что они должны скоро начать строить гнездо и выводить потомство. Но Галя с Гошей все больше дрались. «Странно!» — удивлялся папа. Ему не нравилось, когда в природе что-то не так. А потом оказалось, что наша Галя не девочка, а мальчик. «Да, вот теперь все объяснилось, — говорит мой старик, — все стало на свои места согласно науке». А то он даже нервничал, что попугаи ведут себя не как положено. «Видишь, восковица у нее посинела, значит, Галя — мальчик».

— А что такое восковица?

— Это окраска возле клюва. У девочек коричневая, у мальчиков синяя. Я все тогда записывал в тетрадь. Ну, в общем, живут у нас два мальчика, раз уж так получилось. И вдруг Гоша снес яйцо, и это в очередной



раз разбило картину мира для моего отца. Он глазам своим не поверил! Гоша оказался девочкой, несмотря на окрас восковицы. Ошибка природы.

— Прямо какая-то гейская притча.

Пассажиры в вагоне теперь кажутся родственниками; гордая женщина напротив уже не сидит так прямо: она спит, привалившись к окну и раскрыв рот. Григорьев поднимает с пола ее журнал. На станции Новонежино поезд долго стоит с открытыми дверями; слышно, как гудит электричество. За перроном видны пятиэтажные дома без стекол в окнах, брошенные. Смеркается. Входят дорожные рабочие в оранжевых жилетах. Все думают, что это их ждали, но поезд стоит и стоит. В вагоне зажигают свет. Потом снова гасят. Опять видны пустые дома с выбитыми окнами. Собака бежит по улице.

— Кроссворд решаете?

— Да нет, так. Решил подсчитать кое-что...

— А я жил в такой пятиэтажке, — стучит по вагонному стеклу Илья. — Сосед у нас во дворе был интересный. Инвалид, без ноги. Молодой еще дядька. Ездил на «запорожце» с ручным управлением. Ему, как инвалиду, дали и квартиру на первом этаже, и гараж во дворе. Он был афганец, этот мужик, дядя Слава, кажется. Выступал в школах, на уроках патриотического воспитания, рассказывал там. Организовывал вечера для ветеранов, ходил с ними, пробивал для них льготы, квартиры, трудоустройство, если надо, или пособия. В общем, очень энергичный и всегда веселый, жизнерадостный, хотя и без ноги. Короче, без остатка отдавал себя людям. Ну и по пьяному делу любил, конечно, помянуть боевых друзей, вспомнить бои под Кандагаром, попеть военные песни; моргал ресницами, чтобы не плакать, крепился. Нормальный дядька. А потом, значит, я не помню, как именно, но открылось, что никакой он не афганец и ногу по пьянке потерял. Маневровым локомотивом на станции отрезало. И все перестали с ним общаться, выражали ему свое презрение как самозванцу. И конечно, из комитета его поперли. После он даже переехал от нас куда-то. Не смог вынести этого бойкота. А на его место поставили уже настоящего, проверенного афганца. И вот этот настоящий — он, я извиняюсь, хрен занавесил на всю эту работу, ни для кого, кроме себя, не старался, палец о палец не ударил, чтобы кому-нибудь из своих же помочь. Однако дачу себе выстроил и шифером покрыл. Вот я и думаю: кто из них лучше-то был?..

Они приезжают уже ночью. И здесь это ночь настоящая, не то что в городе. Машина выхватывает дорожные знаки. Фонарей нет. Поселок энергетиков. Все работают на ТЭЦ. Григорьева везут в гостиничный люкс, а Илью, извиняюсь, что больше номеров нет, отвозят в среднюю школу и поселяют в камерке технички либо в красном уголке. Говорят: располагайтесь на выбор!

Утром они встречаются перед дверью аудитории.

— Дома так сладко не спал! — щурится Илья.

— Это какой-то странный люкс, — хмурится Григорьев. — Стены фанерные. Все слышно. Люстра не горит, и тараканы.

— Можем поменяться. Хотите?

После занятий они гуляют по узким тенистым улицам, аккуратно застроенным крепкими двухэтажными домиками. Стены толстые. Цен-

тральные окна фонарем. Крохотные балкончики. В палисадниках высоченные тихие цветы. Астры, топинамбуры, георгины. Топинамбуры до-стают желтыми головками до балконов.

— Обратите внимание на фасад: какая эклектика! ДК энергетиков. Севастьян Тимурович задирает голову, смеется.

— Классический античный стиль, — продолжает Илья. — На фрон-тоне две музы, у одной в руке скрипка, у другой — лыжи!

За Домом культуры заброшенный сад. Белеют бюсты классиков. Физиономии у всех разбиты кирпичом. Григорьев с Ильей идут угадывая.

— Вот это Лермонтов. А это Толстой. А это кто? А! Я догадал-ся — Некрасов!

— Странно, что нет Пушкина, — говорит Севастьян Тимурович.

— Да.

Они идут дальше по траве.

— Большой парк! Не хуже нашего городского.

— А вот вам и Пушкин!

Они останавливаются. На небольшой круглой площадке стоит на по-стаменте памятник. Вернее, одни только ноги. Верхнюю часть кто-то спи-лил на металлолом.

«И долго буду тем любезен я народу...» — читают они на постаменте.

— Действительно, — говорит Севастьян Тимурович.

Идут дальше. Снова домики, тишина и осенние цветы. Солнце са-дится.

— Илья.

— Да?

— Вы можете пройти небольшой тест?

— С удовольствием. А для чего?

— Хочу проверить одну свою теорию.

— Я люблю тесты. Это самое глупое и поэтому самое популярное изобретение новейшего времени. Человек хочет показаться себе другим, новым, даже не лучшим, а хоть каким-нибудь. Потому что в жизни его постоянно преследует подспудное чувство, что его вообще не существует. А тут — на тебе тест: вы глубокая личность с тонкой интуицией, в про-шлой жизни были фараоном и так далее...

— Вы в точности читаете мои мысли... Кто основал орден иезуитов?

— Игнатий Лойола.

— Чему равен ярд в сантиметрах?

— Не знаю.

— Столица Бангладеш?

— М-м... Дакка.

— Государственный язык?

— Не знаю...

— Какая любимая присказка у нашего уважаемого коллеги Михай-лова?

— Нашла коза на камень?

— И последний вопрос. Зачем я все это у вас спрашиваю?

— Я должен это знать?

— Да!

— Почему?



— Я знал, что вы именно так на это ответите: «Я должен это знать?» Видите, выходит, что вы знаете все, что знаю я, и не знаете того, чего не знаю я. Что это доказывает?

— Это может доказывать все что угодно. Факт не существует сам по себе, отдельно от интерпретации, а они могут быть... — Илья очертил рукой горизонт. — Вы какую задачу ставили для исследования?

— Проверить, существует ли ваше сознание отдельно от моего или вы лишь проекция моего вымысла.

Илья засмеялся:

— Мне всегда с вами интересно! Вы не похожи на остальных. Не обижайтесь, Севастьян Тимурович, но вы ненормальный — и самый интересный человек в нашем институте. Однако... лишь в плане научной дискуссии... Не хочу вас обидеть, но почему именно я проекция, а не вы? Представим, что я проецирую вас, вы только эманация моего сознания, которая в свою очередь способна создать еще одну проекцию меня, и так далее — эксперимент с двумя зеркалами и прочая старинная чепуха.

— Вот и я бы так рассуждал!

— Ну, просто мы оба предсказуемы или не слишком оригинальны, это нормально... Или вам стоило задавать более личные вопросы.

— Например?

— Впрочем, и это тоже бесполезно. Я ведь могу оказаться хитрой проекцией. Соврать. Но если я умею хитрить, значит, я уже не проекция, а самостоятельная величина. Если только моя хитрость не задана исподволь вашим сознанием.

— Да, так ничего не выяснишь. Спасибо, коллега.

Они покинули парк и оказались на небольшой тенистой площади перед магазином.

— А давайте портвейна купим в этом магазине, Севастьян Тимурович! Я в студенчестве очень любил портвейн.

— Портвейна? — тревожно спросил Григорьев.

— И выпьем его в том чудесном саду, среди классиков. Когда еще будет случай выпить в такой компании?

— Давайте! — с комичной удалью махнул рукой Севастьян Тимурович. — Только вы будете покупать: мне несолидно брать «Три топора».

— Чего?

— У-у, молодежь! «Три топора» не знают, это ж портвейн — три семерки!

— Ну, вот вам и доказательство к вашему тесту!

Над входом была гипсовая голова губастой большеглазой коровы, своим кокетливо-тупым выражением напомнившая Григорьеву Адриану Васильевну.

Внутри дребезжал холодильник. Грузчик, похожий на задумчивого валашского вампира, с загнутыми подковой вниз усами, ни с того ни с сего улыбнулся Григорьеву и вышел в подсобку.

«Одна из деталей, которую никогда не учитывает наше сознание в своих фантазиях и воспоминаниях, — это календарь. Человек сосредотачивается на лицах, словах, может вспомнить оттенок волос, запах, деталь пейзажа, что он говорил и что говорили ему. Но никогда не скажет точно, что именно он делал три года назад, седьмого, положим, сентября.



Для людей это неважно. А для астролога точная дата — главный инструмент».

Когда они вышли на улицу, солнце уже скрылось за сопку и синяя тень накрыла поселок. Было еще светло, но энергетикам, видно, не терпелось показать себя, вжарить на полную, и в парке чуть засветились два фонаря. Один возле ДК, другой в глубине.

— Вы умеете без штопора открывать?

— А как же!

Они побрели по траве к дальнему фонарю и наконец выбрали место. Старая скамейка напротив ветхой невысокой эстрады для летних выступлений самодеятельности. Григорьев провел ладонью по скамье. Илья уселся на край эстрады.

— Нет-нет, — засмеялся Григорьев, наблюдая, как Илья пытается снять с бутылки пластмассовую пробку, — дайте-ка мне.

Он достал из кармана ключи, вставил один из них, поддел пробку. Разлили в одноразовые стаканчики.

— Ну!

— Нет, скажите тост, Севастьян Тимурович.

— За приятное общество! — сказал Григорьев. — Чувствуешь себя как в священной роще героя Академа. Среди классиков. Вот Платон, вот Аристотель, вот Ксенофан.

Выпили.

— А что героического совершил этот герой Академ?

— Я плохо помню... — сощурился Григорьев. — Ох, давно портвейна не пил! Ну и дрянь! По-моему, он указал Кастору и Полидевку, где спрятана их похищенная сестра Елена.

Быстро темнело. Открыли вторую.

— Вы, я вижу, мастер!

— Хе, юность... — отозвался Григорьев. — Теперь уже на тренерской работе.

Ветер приятно шелестел в кронах; листья, опадая, задевали лицо. Фонарь качался за деревьями. Немудреная закуска кончилась. Илья хотел сбегать.

— Необязательно, — сказал Григорьев.

Открыли третью, взятую для подстраховки. Редкие деревенские звуки обставляли ночь.

Григорьев бродил в темноте, лобызался с битыми классиками. Гладил по вискам Некрасова, лил на голову Толстого портвейн и говорил ласково:

— Пей, Левушка, пей, дорогой!

— Вы титан, Севастьян Тимурч! — повторял Илья. — Не ожидал. Просто титан!

Григорьев посмотрел на него строго и сказал:

— Выпей! И тоже будешь титаном!

Потом они потерялись в темноте и снова нашли друг друга, но потеряли свою лавочку напротив эстрады. Шли, пока не споткнулись об нее.

— А скажите, Илья...

— Да?

— Последний вопрос из теста. Какое сегодня число?

— Число?



— Да. Месяц и день недели.

Фонарь за деревьями качнуло ветром. Лицо Ильи ушло в тень. Потеряло свои черты, как лица гипсовых классиков.

— Ну и заодно год, — добавил Григорьев.

— Странный вопрос...

— Обыкновенный.

— Я же знаю ответ.

— Ну так скажите!

— Десятое сентября 2013 года, пятница.

— Точно?

— Да.

— Отлично!

Фонарь осветил улыбку Ильи.

— Предлагаю за это тост!

— За календарь! — поддержал Григорьев. — И взгляните заодно на это, — он протянул Илье листок, — тут, правда, не видно ни черта, но я вам расскажу. Я тут набросал на досуге подсчет... В общем, ни в 2012-м, ни в 2013-м — вы следите, Илья? — ни в 2014-м, ни в 2015-м... ни в одном из этих годов десятое сентября не выпадает на пятницу!

Фонарь за спиной Григорьева погас. Илья скрылся во тьме.

— Ну, я просто ошибся, сегодня девятое.

— Не-ет, — погрозил ему в темноте Григорьев, — тогда год был бы шестнадцатый.

— Ну хорошо, хорошо! А по-вашему, какое число?

Григорьев икнул и задумался.

— Я просто сейчас забыл, но я знал... я знал!

— Вы абсолютно правы! Я понял, вот сейчас прямо почувствовал, что не существую... Я лишь фантом. Какая легкость! Какая свобода! Вы удивительный человек, Севастьян Тимурч! Спасибо вам! Спасибо огромное!

Илья обнял своего наставника, и оба они покачнулись.

— Странно, — сказал Григорьев, — ведь это я хотел... хотел быть свободен... Я сейчас не могу сформулировать...

— Да нет! — махнул рукой Илья. — Вы не хотели быть, вы хотели только что-то доказать мне, я тоже не помню... Ах да! Вы говорили, что пройдет время, тысячи лет, и календари разойдутся окончательно, разница между ними превысит 365 дней, и мир запутается в системах, его исчисляющих.

— Пьяный бред.

— Я не могу быть пьяным. Я не существую! Это вы пьяны. А я лишь пьяная производная вашего сознания!

— Прекратите этот балаган! — Топнув ногой, Григорьев попал каблучком в старую консервную банку.

...Он не помнил, как вернулся в гостиницу.

Утром Григорьев пошел бриться, но не смог встретиться взглядом со своим отражением в зеркале. Оно дрогнуло нехорошей усмешкой и отвело глаза. Кошмар был коротким. Стук разбудил Григорьева.

«Да что же они там, гвозди, что ли, заколачивают в восемь утра?!» Дотянулся до тумбочки, набрал номер Ильи. «Этот вид связи недоступен для абонента». Что это значит?

В «люксе» Григорьева не было ни душевой, ни умывальника. Отправился в общий душ в конце коридора. По кафельному полу звонко капало в пустых кабинках. «Спортсмены! Уже на пробежке». Зачесал мокрые волосы наверх. Спустился. За стойкой дежурного пусто. На тумбочке советский телевизор с выпуклой толстой линзой экрана. «Планируется построить и реконструировать до двадцати объектов...» Изображение подрагивало, и зигзаг ломал диктора каждую секунду. Затошнило. Отвернулся. Не стал ждать дежурного, сунул ключ в карман и вышел. Магазин с коровой над входом. Пивная открывалка на веревочке. Сделал несколько глотков под коровой. Выдохнул. Холодное. Снова набрал. «Этот вид связи...» Дошел до автобусной остановки. «Илья читает с утра. Потом я... Так. Сейчас девять... К обеду-то уж точно успею. Здесь рядом...»

Автобус маленький. Старый «пазик». Пришлось стоять. Пассажиры мотались на сиденьях как тряпичные куклы. Ухватился за поручень. Потом все вышли. И он тоже собрался. Но водитель предупредил: «Нет, интернат дальше. Конечная». Теперь автобус ехал пустой. Григорьев сидел, глядя в окно. Показалось, что вспомнил силосную башню вдалеке.

Никто не ждал автобуса здесь, на конечной. Водитель заглушил мотор и, закуривая, смотрел Григорьеву вслед. Единственная улица шла между двух крутых сопок. Еще зеленых. Облака между ними как разваренная цветная капуста. Номера домов написаны на заборах. Он узнал белый, двухэтажный. Решетки толсто выкрашены. Дежурный санитар или медбрат починял изгородь, сказал: «Да, это там. За корпусом “Б”». Недалеко. Прямо вверх по дороге и налево». — «За корпусом “Б”?» — механически повторил Григорьев. «Да. Он уже не работает, закрыли после пожара».

Григорьев зашагал вверх по неширокой, размытой дождями дороге и всего через несколько шагов оказался в первобытном лесу. Светлый зеленый сумрак, пробитый редкими столбами света, скоро померк. Утренний туман тек по распадку. Могло показаться, что вокруг ни души на сто верст, если бы не бодрый стук молотка, доносившийся из поселка. И тут перед его глазами вырос старый двухэтажный корпус «Б». Отсыревшие стены, пустые окна, за одним из которых мелькнул криво висящий на шнуре абажур. Григорьев повернул налево, и ему послышалось, что в доме за его спиной что-то стукнуло. Дорога сузилась. Он искал кладбище. Брел уже по тропинке. За ногу зацепилась какая-то проволока. Он нагнулся, чтобы отцепить, и увидел на проволоке черную скрученную ленту с истершейся позолотой. Оказалось, что он уже стоит на кладбище. Лента и проволока были от венка. «Покойся с миром», — разобрал Григорьев затертую глиной надпись. Озираясь, разглядел в тумане несколько косых потемневших пирамидок, кресты, оградки. Сел, привалившись спиной к нищенскому, сваренному из трубок кресту. На похоронах Григорьев не был. Просто перевел необходимую сумму и теперь мог убедиться, что работа выполнена аккуратно. Крестик покрашен серебрином, на медальоне выбито: «Триполко Валентина Сергеевна». Все правильно. Севастьян Тимурович подумал о том, как жила здесь тетка Валентина, каким был ее последний день. И одновременно с чувством вины вошла в него полно-



кровная плотность мира. Он глядел на провеси тумана между деревьями, постепенно теплевшие на солнце. Слышал, как ударяют по листьям редкие капли. «Как здесь тихо, — подумал он и прикрыл глаза. — И всегда будет тихо, очень медленно идти настоящая жизнь своими долгими минутами. Сложенный из них час кажется днем. И этот день запоминаешь надолго. Жизнь вот этих деревьев, травы, проходящих над ними облаков. Пока человечество мечется там, в стороне, торопливо проживая свою коротенькую жизнь, чтобы потом опять влиться в настоящую, длинную». Прошел час или два, а может быть, четверть часа; Григорьев почувствовал, что одежда его отсырела. Комары над ним вились нимбом, он сдувал их с лица. Сварной крест надавил спину. Григорьев побрел обратно, снова зацепился за проволоку. Обе брючины понизу потемнели от росы. На пиджаке были зеленые цепкие катышки, репейник на рукаве. Он шел, не глядя по сторонам, в мыслях все еще сидя на кладбище под деревьями и облаками, которые ослепительно заглядывали в просветы между тяжелых крон. В какой-то момент ему показалось, что он сбился с пути. Тропинки нигде не было. Но тут же в стороне он увидел тот пустой дом. Понял, что, действительно, забрал порядком в сторону, потому что дом теперь был виден со двора, а не с фасада. Сырость темными потеками покрывала стены, окна чернели обгорелыми рамами. И снова Григорьеву почудился стук. Он прислушался, остановившись. Удар повторился дважды, как будто постучали кулаком в запертую дверь. Севастьян Тимурович пошел напрямик, через высокую траву, к дому.

Ему стало весело. Он шагал быстро и улыбался от нетерпения. Споткнулся о какой-то ящик, упал в мокрую траву, поднялся, не отряхиваясь, и скоро вошел в дом. Обвалившаяся штукатурка, битый кафель гулко хрустели под ногами. Высокие дверные проемы, пыльные полосы наклонного света, остовы кроватей. Стук повторился трижды, настойчиво и громко. Севастьян Тимурович побежал на звук, поняв, что он слышится сверху, со второго этажа. Поворот лестницы. Мельком вспомнилось, как мальчишками лазили в пустой недостроенный дом. Обвалившаяся с чердака обгорелая балка косо перегородила проход. Он нагнулся. Стукнуло мощно и совсем близко. Севастьян Тимурович двинулся вдоль череды пустых, заваленных мусором палат со ржавыми панцирными сетками кроватей. Заглядывал в каждую и шел дальше. Стук не повторялся. Только птица промелькнула быстрым махом за одним из окон. Взгляд его остановился. В крайней угловой палате на полу, среди тряпья, обломков мебели, битых стекол, он увидел сумочку. Черную, с длинными ручками. И сразу узнал ее. Это была сумочка тетки Валентины. Та самая, с которой она отправилась тогда на свой последний пикник. Истертая позолота замочка тускло поблескивала. Он вошел в палату, нагнулся и расстегнул сумочку. Узнал гребенку тетки Валентины, старенькую пудреницу с зеркальцем, затертую упаковку каких-то таблеток и крохотный блокнотик. Раскрыл, увидел ее закругленный почерк.

«23 февраля. Вчера умер Леша Петренко. Помню его в институте, очень застенчивый был. Бросил и уехал однажды. Его потом вернули. Уговаривали.

Днем спала один час.

Приняла 1/2 таблетки валидола.

24 февраля. На завтрак каша с молоком.

Афобазол лекарство.

Мотороллеры ввели по просьбе Ватикана.

25 февраля. Поэт Элина Быстрицкая “Осенний вальс”.

Бельгийские астрономы обнаружили три новые планеты, на которых может быть жизнь...»

Больше записей не было, чистые листочки.

Севастьяну Тимуровичу показалось, что кто-то смотрит ему в затылок. Он медленно обернулся через плечо, но палата была пуста. Взгляд его встретился с тусклым отражением в позеленевшем зеркале на дверце старого массивного шкафа, стоявшего у стены за его спиной. И тут же в дверцы шкафа что-то бешено ударило изнутри. Заколоченный гвоздями-сотками шкаф сотрясаясь от грохота и треска. Зеркало высыпалось. Гвозди поддавались с трудом. Григорьев замер, пока догадка не ударила его. Он схватил с пола ржавый штырь, втиснул его между створками шкафа и стал с натугой их отгибать, помогая той силе, что рвалась ему навстречу. Одна из петель сорвалась, гвозди поддались, дверцы распахнулись, и прямо в объятия Севастьяна Тимуровича вывалился Сева Григорьев. Легонький, как тряпичная кукла, с изрезанным гвоздями лицом, но тот самый, прежний. Они встретились взглядом.

Тень от старого двухэтажного дома дотянулась до соседнего тротуара.

Пустой круглый столик стоял под навесом магазина-кондитерской.

Воробей прыгал под ним, подбирая крошки.

Собака перебежала улицу.

Дерево перебирало листвою.

Рабочий вынес из магазина и поставил на тротуар пустой молочный бидон.

В тени под стеной спала кошка.

Старуха с ожерельем из прищепок вышла на балкон.

— Шоколадное суфле закончилось, — сказала официантка посетителю, задумавшемуся за столиком на террасе.

— А?

Он жил здесь уже третью неделю, сильно загорел и два раза ездил со своей молодой женой на экскурсии. От третьей она отказалась из-за головной боли. Ты перележала на солнце, сказал он ей и поехал с соседом по пансиону, тучным говорливым добряком, похожим на бескрылого жука. Эта бескрылость выражалась именно в выражении его доброго лица и мягком двойном подбородке.

Они дегустировали вина и осматривали белый дворец и армянскую церковь. На обратном пути он видел из окна экскурсионного автобуса, как его жена весело идет по тротуару, размахивая пестрой сумкой. Ее провожал инструктор по пляжному волейболу.

Вернувшись в пансион, он принял душ в пустом номере, вышел на террасу и заказал себе кофе с шоколадным суфле. Они были женаты уже три года, и он ко многому стал относиться очень спокойно.

— Это ничего, — сказал он официантке.

В Ялте было без четверти три.

Алексей ИВАНТЕР

**«ИЗ ТЕХ ВРЕМЕН,  
ГДЕ ВОЛГА-ВОЛГА...»**

\* \* \*

А жизнь кончается, кончается,  
Ну ничего, ну ничего...  
Диванчик вдавленный качается —  
Батутик детства моего.  
И тихо комнатка возвращается,  
И давит память на виски,  
И мама каждый раз прощается,  
Как могут только старики.  
Как будто раз последний виделись,  
Листали в клеточку тетрадь...  
В альбоме дед в парадном кителе  
Дает приказ не умирать.  
А мама плохо защищается,  
Уже трещат и фронт и тыл.  
А мама так со мной прощается,  
Что отвечать — ни слов, ни сил.  
И что-то в воздухе давнишнее,  
Как ноты речи дорогой,  
Как в том саду под старой вишнею  
Из жизни прошлой и другой,  
Где каждый вечер возвращаешься,  
Как гардеробный номерок...  
А тут прощаешься, прощаешься,  
Никак не выйдешь за порог.

\* \* \*

Голодный год двадцать девятый; в ряду чужих мужей и жен  
на фото третий, рядом — пятый, четвертый — спичкою  
прожжен.  
Стоит апрель, весна бушует, и ус, похожий на айдар, топор-  
щит весело ошую краснознаменный Краснодар. А дальше —

выборгские фото, перелистнешь — и фронт Донской. И тут же — из пехоты кто-то перед немецкою рекой, письмо с затертою строкою и снимок, смазанный на треть, где кто-то выскоблен рукою, должно быть, женскою осередь. Все под одной обложкой старой, всегда в одежде выходной — врачи, артисты, комиссары — рукою наклеены одной. И фотография другая, чуть дальше — в профиль и анфас, где бесконечно дорогая одета в драный канифас.

Судьба; и не семьи, пожалуй, — родов, поселков, городов, как отблеск стали побежалой из приснопамятных годов, где род разметан и раздроблен и жарким временем лужен — и тот, кто бритвою соскоблен, и тот, кто спичкою прожжен.

\* \* \*

Зима трескучая, сорочья, и лес, прошитый снегирем, и снеговое оторочье — в согласии с календарем, моста всячего перила, изба без крыши и трубы, дубы и братская могила, и накрененные столбы. Выходит старая старуха, которой некуда убежать, подходит, но не слышит ухо и мало слушается речь, звучит, как ботало на шее; а мне открыжилось в уме, что колея — как две траншеи, уже готовые к войне.

\* \* \*

Вылег снег от Бреста до Урала,  
 Шедшая от кряжистого пня,  
 В области Тверской поумирала  
 Вся моя некровная родня.  
 По больничкам местным немудреным,  
 До которых лишь и довели,  
 Чтобы на казенных макаронах  
 Протянуть неделю не смогли.  
 Тянет в окна сыростью могильной,  
 Семижильным родом корневым,  
 Кровные — закопаны под Вильно,  
 Ночью не являются живым.  
 Только эти — с граблями-руками,  
 От души широкие в кости,  
 С песнями, слезами, матюками  
 Не оставят, господи прости!  
 ...как метели пневские сквозные...  
 ...как ночной приставленный конвой...  
 Милые, далекие, родные,  
 Кровные по песне горевой.



\* \* \*

Проехав Славянск-на-Кубани,  
Купив, но не выпив вина,  
Шепчу, как чужими губами,  
Попутных станиц имена.

В краю населенном не густо,  
Изученном в вечном пути,  
Растут виноград и капуста  
И все, что умеет расти.

И кажется: вправо ли, влево  
Достаточно плюнуть на скат,  
Как вырастет статное древо —  
Прибежище птиц и цикад.

Тут, пыль поднимая с обочин,  
Заводит убитый мопед,  
Презрев понедельник рабочий,  
По суетной жизни сосед.

Хозяйская жизнь растакая  
Его не отпустит никак,  
И выпить зовет Каневская,  
И в небо стреляет глушак.

Он едет в Лиман чигирями  
По русской от века земле,  
И руки его с якорями  
Лежат на китайском руле.

Во власти рыбачьего зова  
Седым и вспотевшим виском  
Он чувствует ветер Азова  
С полынью и мелким песком.

Там жизни и рыбы владетель,  
Опять ожививший мопед,  
Над ним, как последний свидетель,  
Из красного облака свет.

\* \* \*

Семья Соломиных тех самых —  
Мне незнакомых, но зато  
Из тех времен, где наши мамы  
В дешевых драповых пальто,

Где общепитовские чашки  
И щи с куриным потрошком,  
И на ремнях сияют пряжки,  
Зубным натерты порошком.  
Где дух вареного гороха  
Неистребим и гонит сон;  
Во мне далекая эпоха  
Еще звучит, как Мендельсон.  
Рубахи темные на фото,  
Но в светлом женщина; и дед,  
Предвидя или зная что-то,  
Как к смерти, в белое одет.

\* \* \*

Принадлежащая живым  
И охраняющая павших,  
Земля под снегом голубым  
Лежит на пастбищах и пашнях —  
Переделенная в клоки  
И вожделенная вовеки...  
Разжав худые кулаки,  
В ней спят родные человеки.  
За этот крохотный надел  
Подравшись в жаркую погоду,  
Сосед три года отсидел  
И отсидел еще б три года.  
А тут — не стоит ни рубля,  
За частоколом поределым  
Лежит ничейная земля —  
Пустые русские уделы.  
На них подснежники цветут,  
Над ними сыч крылом помашет,  
На них леса с войны растут,  
На них не пляшут и не пашут.  
Лишь этот дуб да этот пень,  
Видавший конницу Мамаю,  
Гулянки шумных деревень  
Еще застали в Первомае.  
И зверь, не знающий греха,  
Живет с подругою своею,  
Где над фундаментом ольха  
Над детской комнатой моею.





\* \* \*

Шарканье метлы или лопаты  
 В пять утра татарской во дворе.  
 Коренасты, жилисты, сопаты,  
 Дворники вставали на заре.  
 Дворники — Шамиль, Равиль, Мухаммед —  
 Чистили и метлами мели,  
 С козами, гусями, петухами  
 Шевелилась Яуза вдали.  
 За приемным пунктом стеклотары,  
 Отрываясь от славянских масс,  
 Собирались вечером татары  
 На вечерний дворницкий намаз.  
 Мир неразделенный и прекрасный  
 Только заходил на виражи.  
 Отсидевший Сокол, видом — ясный —  
 Пацанам затачивал ножи.  
 Лук растили около котельной,  
 К праздникам крутили колбасу,  
 Дядя Федя в комнате отдельной  
 Бородавку срезал на носу.  
 И, когда зарыли дядю Федю,  
 Вечером, сойдясь на полчаса,  
 У котельной выпили соседи,  
 В ход пошли и лук, и колбаса.  
 К логике железной приучала  
 Жизнь, куда там Чехова ружье...  
 Я смотрю с последнего причала  
 В детство одичалое мое.  
 Огород засеян — как затарен,  
 Хорошо, не жарко на заре...  
 И сосед мой — вдумчивый татарин —  
 В пять утра с лопатой во дворе.

\* \* \*

А в городе застылом за каменной грядой, водой прикрытом с  
 тыла и с запада водой, в том городе печальном, в том городе  
 ночном, моем первоначальном, но больше не родном, где зо-  
 лотые дужки над пылью эполет, где поднимает Пушкин ду-  
 эльный пистолет, курсанты выходные бухают во дворе... Но  
 умерли родные в далеком январе. И некуда, наверно, и не к  
 кому давно, темнеет на Галерной погасшее окно. И светом чу-  
 жемлечным, сродни иным мирам, сияет над Кузнечным окно  
 по вечерам. Там не с кем повстречаться, там улица пуста. Не  
 надо возвращаться на старые места! Никто не возвратится,  
 не выйдет по УДО... Но тянет, тянет птицу на ветхое гнездо!

\* \* \*

Из тех времен, где Волга-Волга, японский жив городской,  
скрипит ручная кофемолка червячной парой вековой. Ополоснув бачок кофейный, готова кофе зерновой, я ощущаю дух трофейный моей машинки бытовой. Ах, фрау пленница, вертунья, ночная гостья гаража, берлинской кухни хлопотунья, кофейных чашек госпожа! Вам быт не нравится гаражный, а мне привычно без затей и финтифлюшек антуражных чинить коробки скоростей. И, позабытые отчизной, грозя угаснуть навсегда, моим неистовым вещиизмом воскрешены Вы для труда в плену ночного Подмосковья, в хозяйстве злого пикачу, где я пою «Встречай, Прасковья» и ручку старую кручу.

\* \* \*

Велосипедик трехколесный —  
Еще без шин, на ободах.  
И нет шоссе многополосных  
В малоэтажных городах.  
О, чудо ветхих отпечатков  
В косых заламах и трухе,  
Где дамы в лайковых перчатках,  
А дети в кофтах из пике...  
Там все понятно и знакомо  
И вспышкой освещено:  
Немецкой линзы глаукома  
Рисует мутно и темно  
Рукой француза-эмигранта —  
Как много времени примет —  
Пять лет до смерти Фердинанда  
И до Гражданской восемь лет.  
Гармошка фотоаппарата...  
Накрыт фотограф с головой...  
А дальше дым; и брат на брата  
До смерти на передовой,  
Когда, наверное, напрасно,  
Стакан под вечер накатив,  
Все видишь резко и контрастно  
Сквозь сердца телеобъектив.

\* \* \*

Пурга на станции Лихая  
Зимой в семнадцатом году.  
А я запомнил: степь сухая,  
Вокзал прокуренный в чаду.



В угасшей памяти осталась,  
Застряла в раненом глазу  
Земная пыль, мирская малость,  
Большие тыквы на возу.

Вдруг возникают эти связи,  
И возмущается душа,  
И дончаки у коновязи  
Жуют из торбы не спеша.

И снова, как не исчезало,  
Глаза сощурь и будь готов:  
Сухая пыль, и жар вокзала,  
И скорый поезд на Ростов.

И за упавшей пеленою  
Дорога долгая домой...  
И эта женщина со мною  
Дороже памяти самой.

\* \* \*

Приходят мертвые ночами, войдут — по притолку плечами,  
бочком, стараясь не греметь, за стол. «Пора?» Не отвеча-  
ют, нальют и головой качают, а выпьют — начинают петь.  
А допоют — уйдут с рассветом, но звуки в доме отогретом  
в дверной не вылетят проем. А за окном пурга кругами, как  
над Мологи берегами, над санно-тракторным путем. Наста-  
ли времена такие — приходят мертвые тверские из Пнева,  
Тюхтова, Холма. Через Сабель идут, Язвиху, а добредут —  
помянут лихо, такая выдалась зима. Все вспомнят — торфо-  
разработки, сивушный дух паленой водки, отца забравшую  
войну; а сколько лет уж горевых-то... К кому пойдут еще?  
Живых-то и тех весною помяну.



Андрей ИГНАТЬЕВ

## ОБЛАКА НА ТОМ БЕРЕГУ

Р а с с к а з

Когда в средней части Уральских гор природа бывает снисходительной и выдается несколько по-настоящему жарких летних дней, хочется бросить все и ехать скорей на озера, что свинцовыми отливками так щедро расплесканы по округе. Почти всякое из них хоть в одной линии берега несет очертания черных гор; возносясь плавно, подобно верблюжьим горбам, они медленным караваном уходят вдаль, постепенно растворяясь в сизой слоистой дымке. Озера теплы и прозрачны. Светит яркое солнце.

Но и в эти дни, созданные, кажется, единственно для того, чтобы провести их в забытьи, блаженном и безмятежном, я вспоминаю о доме.

Оставив его далеко, чувства о нем я ношу у самого сердца и вижу родные места так ясно и прямо, как, возможно, быть не могло, останься я у своих истоков. Там, где тихой колыбельной пускается в путь красавица наша Кама. Бежит по низинам, по долам, сплетая земли коми, удмуртов, татар, нанизывая многие-многие деревни и старые купеческие городища, и наполняет потом до краев великую русскую реку.

Как большинство городских детей, чьи родители — выходцы из деревень, летние каникулы я проводил у бабушки с дедом. Класа до пятого мне не давали никакой работы, и это были праздные дни. Я слонялся по улице, бегал в сосняк, разведывая ягоды, грибы и птичьи гнезда, или брал велосипед и мчался с друзьями на деревенский пруд ради купания и рыбалки.

Деревня была молодая, ее основали только наши деды, потому двойными именами пошли нарекать, начиная с наших отцов. Геня Мишка, Сергей Ленька, Борис Коля... Первое имя — вместо отчества, и только второе — свое. Так это принято у удмуртского народа.

Починок был невелик, самое большое дворов пятьдесят, все в одну улицу. Подъем с ключа, где по первости набирали питьевую воду, как бы делил деревню на две части. По левую руку стоял наш дом — два этажа добротного красного кирпича под серой шиферной крышей. По правую руку, за несколько дворов от самого края, вел хозяйство Пантелей, безногий мужик, который никому не передал свое имя.

Появился ли он здесь с первых дней, как заложили деревню, или поселился потом — этого мы, мальчишки, не знали, как неизвестна нам была и история его увечья. Спросить у взрослых не решались, а те, кто спрашивал, получали нагоняй вместо ответа. Летом Пантелей носил клет-



чатую рубаху с коротким рукавом и серые брюки, завязанные штанины которых закрывали его культи. Он был широк в лице и плечах, мясистая челюсть энергично жевала неизменную папиросу, щеки чаще всего покрыты щетиной нескольких дней, шея коротка и почти не видна из-за воротника рубахи. Дом Пантелея всегда был приведен в порядок: окна мыты, наличники крашены, бревна сруба хранят свежесть соснового среза под глянцем олифы. Внутри палисада горит цветник, растет молодая, но раскидистая яблоня, а по изгородке звонкой ягодой идет малина.

Я вспоминаю. С выгона, поднимая невысокую пыль, в деревню заходит стадо коз и овец. Козы отделяются и, неуклюже вскидывая ноги, скачут вперед. «Ме-е-е, ме-е-е», — кричат непоспевающие козлята. Козы набегают на палисадник Пантелея, опираясь на столбы и забор, встают на задние ноги и начинают жадно обгладывать сочные ветви.

Мальчишка-пастушок в сапогах с непомерно высокими голенищами быстро огибает стадо сбоку и, нагнав отбившихся коз, угощает их свистящей вичкой\*.

— Кьш! А ну! — кричит он в раже. — Кьш! Кому сказано?!

Животные бросаются врассыпную. Но у страха короткая память — не проходит минуты, как все повторяется у следующего палисада.

На перепутье, где скрещиваются деревенская улица и дорога, ведущая с ключа, на высокой, неведомо откуда взявшейся бетонной плите, сидят и стоят вокруг деревенские женщины и старухи. Они лузгают семечки и судачат о жизни. В любую погоду на них резиновые калоши, трикотажные колготы, цветастые халаты, а на головах белые платки с мелким узором.

С приближением стада женщины заметно оживляются, прекращают разговоры, стряхивают с халатов налетевшую шелуху, достают из карманов сухие корки хлеба и запевают:

— Ча-ле, ча-ле, ча-ле! Бы-ле, бы-ле, бы-ле!

Так зазывают овец и коз в наших весях. Овцы отчаянно блеют. Толкая друг друга, они пробиваются вперед, тянут негибкие шеи к подминаящим рукам, пробуют ухватить сухарь, да только слюнявят корки волнующимися губами. Хозяйки, с выработанной годами сноровкой, — зная, когда выдать руку, а когда и завести чуть не за спину, — как на веревочке влекут за собой скотину. И плывет по деревне хороровое: чале-чале, быле-быле.

Но скоро улица затихает. В сухом знойном воздухе осаживаются звуки и пыль. Приглушенный шум слышен лишь за высокими заборами дворов, где скотину заводят в хлев, задают ей корм. А потом скрипят дверные засовы, в нависающей тишине растворяется последнее блеяние и цоканье копыт по деревянным настилам. Закипает другая работа.

Сердце мое тает всякий раз, когда я вижу эти картины, и паводок грусти наполняет его, когда осознаю, что мне не повторить эти дни, не прожить их заново и все, что осталось, — ходить следами памяти, пробуя восстановить слова, цвета, лица...

\* Вичка — прут.



Пантелей не жил бирюком: я часто видел его на улице, всегда среди людей. Если что-то рассказывал, то говорил громко, весело, задорно. Как бусины четок, я перебираю мгновенья, но не могу вспомнить при нем никакого инвалидного кресла. Наиболее ясно мне припоминается самодельная маленькая тележка на четырех колесиках. Только как он мог передвигаться на ней, если дорога была так толсто покрыта песком, что нередко в нем увязали даже наши велосипеды?

Кажется, я понимаю. На тележке этой он выкатывался не дальше, чем за собственные ворота. А если нужно было на почту или в магазин, словом, в достаточно далекое место, на улице всегда стоял мотоцикл с коляской. Он и был его ногами. Пантелей рукой резко опускал педаль, заводил мотоцикл, подтягиваясь, закидывал культы на черное прорезиненное сиденье и, выжимая газ, круто брал с места. Он ехал по деревенской улице на своей выдавшей виды «планете», и широкая улыбка расходилась по его лицу, почти до выпуклых удмуртских скул.

На мотоцикле ездил Пантелей и на рыбалку. Мы с дедом часто встречали его у пруда, где он в одиночку управлялся с надувной лодкой и сетями.

Посреди ночи тихий голос деда будит меня:

— Андрей, Андрей.

Я открываю глаза и, еще не разделяя сон и явь, молча смотрю на его склонившееся, близкое лицо. В комнате светло, но это бледный свет луны, рассеянный ситом тюля.

— На рыбалку поедem? — негромко спрашивает дед.

Вспоминаю, что напрашивался накануне.

— Да, — сквозь сон роняю я.

И вылезая из-под одеяла.

Пока собираюсь, дед сидит на кухне и шумно прихлебывает горячий чай. Лунный свет выбеливает скатерть, фарфоровую чашку, льняную рубашу, оттянутую дюжими плечами, редкое серебро волос. Мне есть не хочется, однако уговорами деда я проталкиваю в себя перепечку\* и пирожок с мясом.

На улице зябко и тихо, в небе моргают последние звезды. Дед открывает ворота (медленно, чтобы не скрипнули, не стукнули, не подняли шума) и выкатывает мотоцикл. Я забираюсь в самодельную коляску, груженную рыбацким скарбом: там мешки с сетями, свернутая резиновая лодка, весла. Я чувствую себя маленьким. Дед укрывает меня фуфайкой, одеялом, заводит мотоцикл, и мы выезжаем. Мерное стрекотание разносится по сонной улице.

Когда с грунтовки выбираемся на асфальт, я будто просыпаюсь повторно. Мотоцикл взрывает, как хищник, вырвавшийся из клетки, и устремляется вперед. Сзади валит аспидно-синий дым. По лицу щеткой ходит холодный ветер. Глубже зарываюсь в завалы телогрейки и одеяла, но они не дают тепла, и я то и дело съезживаюсь от волнами накатывающего озноба...

\* *Перепечка* — ржаная ватрушка с овощной или мясной начинкой.



Добравшись до пруда, дед сразу брался за дело: расправлял лодку, прилаживал ножной насос, начинал качать воздух. Лодка была одноместной, и когда дед перекаладывал в нее мешки с сетями, для меня никогда не оставалось места. Но ждать на берегу, первому из домашних узнавать об улове — это было радостно моему сердцу и стоило того, чтобы вставать ни свет ни заря.

Дед спустил лодку на воду, забрался в нее, поймал руками весла и начал грести. Я подошел к воде. На ней покачивался полупрозрачный пар, и от этого она казалась теплой. Окунул руку — в самом деле, парная. Сквозь робкий туман разглядел вдалеке знакомую голубую «планету».

Я шел по берегу. Росистая трава рисовала на сапогах черные полосы. Стайки мелкой рыбы, испугавшись звука шагов, пружинками отскакивали от мели и устремлялись на глубину. Кто-то покрупней плеснул хвостом и взбаламутил воду, согнанный из укрытия вывернутого, брошенного в пруд пня. Я забрался на этот шаткий островок и стоял, вслушиваясь в то затихающую, то возобновляющуюся работу весел. Тянулись медленные минуты. Вот уже в молочные облака на том берегу брызнули первые капли рассвета и замешались бледно-розовым слабым огнем. Позади визгливыми вскриками самых ранних петухов просыпалась деревня, где-то в лесу все реже ухала ночная птица.

Когда дед причалил лодку, мы пошли проверить дела Пантелея. Берег в том месте был пологий, ближе к краю трава редела, переходя в песок, песок — в размоченное толокно. «Планета» стояла почти у кромки. Дед никогда не подгонял мотоцикл так близко.

Пантелей, в сером затертом пиджаке поверх рубахи, сидел на растеленном квадрате цветной клеенки и раскуривал новую папиросу.

— Здорово, — сказал ему дед.

— Здорово, Микаш, — пыхнув дымом, отозвался Пантелей.

— Ну как?

— Не доставал еще, — не отрывая глаз от воды, ответил Пантелей.

— Поплавки вроде тревожатся, может, и попал кто.

Я посмотрел на пруд. В рассеивающемся его дыхании разглядел белые, в линию выстроенные бруски: покачиваясь на слабых волнах, они, действительно, то вздрогнут мелкой дрожью, то опять затихают.

— В коряжнике карп бьет, — сказал дед.

Пантелей растер пожелтевшими пальцами щетинистую щеку.

— То коряжник, — задумчиво протянул он, — ладно, если без сетей останешься, — так, чего доброго, и лодку продерешь!

Дед кивнул.

— А карп и сюда заходит, — широко развел руки Пантелей. — Мне тот раз дыру оставил — пороса пройдет! До сих пор никак не залатаю.

— Говорят, в выходные городской утоп? — спросил дед, перескочив на другое.

— Вроде переплыть хотел, а на середине судорога за ногу хватъ — и того... — Пантелей резко махнул рукой, увлекая воздух.

— Пьяный был, что ли?

— Того не знаю.

Пожевал мундштук и вдруг повеселел.

— Слышь, мужики, а меня-то эта судорога, небось, ни за что б не схватила? — спросил он и захохотал, отправив в пляс тлеющий уголек папиросы.

Дед покачал головой. Подтолкнул меня легонько, и мы зашагали обратно к своей лодке.

Мужской разговор не женский. Он скуден, нескладен, небрежен, он может начаться вдруг, как бы не с того места, и закончиться резко, в обрыв.

С мальчишками мы ездили на пруд днем. Привязывали к велосипедным рамам ивовые прутья и гнали наперегонки маленькой шайкой. Один разойдется, выскочит вперед и несется, несется, пока силы не оставят. Тут уж он отпустит руль — спину назад, руки по бокам — и демонстративно виляет полукругами. Но недолго ему быть на вершине. Воспользовавшись моментом, следующий прильнет к раме да как ринется! Первый спохватится, да поздно: его уж обставили с ходу. Так, водомерками резвясь, и ехали. Все тощие и бешеные, и непонятно, как из таких выходят потом коренастые, угрюмые люди.

Однажды на берегу нам попался мотоцикл Пантелея. Сам он, как всегда, сидел рядом, карауля на этот раз толстую, вставленную в рогатину удочку. Мы катили мимо и вряд ли остановились бы, но заметили, что большой белый пакет, лежащий подле, бугрится боками крупной рыбы. Не сговариваясь, дружно дали по тормозам. Колеса заскользили, размазывая траву в сочную кашу.

Кто-то из первых подбежавших возбужденно заголосил:

— Ребзя, карпы! Большие! Бо-о-ольшие!

— Как? На что? С берега? — осадили мы Пантелея.

Он улыбался. Мы шарили глазами по траве. В ней блеснула открытая консервная банка.

— На червя? На червя? — гадали мы.

— На червя, — согласился Пантелей.

Мы наспех отвязали удочки, приноровили к крючкам насадку и очередью поплавок расстреляли поверхность пруда. Самые быстрые успели сесть рядом с Пантелеем, другим достались места поодаль. Мы устали на полавки и стали ждать.

Гладь воды была бестрепетной, стеклянно-литой. Вдруг из-за сосен с гомоном, со сварливым карканьем, зашторивая небо черным, поднялась огромная стая ворон. Там, где она летела, на воде вспыхивали мелкие фонтанчики брызг.

Зрелище это было столь удивительным и необъяснимым, что мы наперебой заверещали:

— Что? Что это такое? Что падает?

— Что-что? — поддразнил Пантелей. — Воронье обделалось! Вот что.

Мы разом захохотали, а уж когда он прибавил: «Хорошо, что коровы не летают» — тут уж мы скрутились клубками.

Но веселье быстро кончилось. Пантелей посерьезнел. Напряженная рука потянулась к удочке. Поплавок нырнул, резкий рывок — и толстая леска натянулась, как тетива, крепкое ольховое удилище описало крутую



дугу, и из воды вылетел дюжий карп и звучно шлепнулся оземь. Его тут же накрыли растопыренные пальцы.

Мы повскакали с мест. Молодой карп в золотом монисто отчаянно бился на песке.

— Вот это да! Ничего себе! Круто! Мне б такой попался!

И многие из нас нетерпеливо перезабросили удочки, доставив наживку еще ближе к месту, где только что белел пенопластовый поплавок Пантелея.

Среди жары этого дня, не разбавленного ни облачком, ни ветерком, спустя и десять минут, и полчаса, час сидения на одном месте в улове нашем не оказалось ни окушка, ни даже глупого пескаррика. Мы уныло пялились на воду. Многие с радостью выдернули бы свою снасть, качнись поплавок хотя бы от водной ряби, однако ничего не волновало зеркало пруда. Только Пантелей, куда бы ни угодила его наживка, раз за разом вытаскивал нового карпа.

— Как же так? — спрашивали мы с досадой. — У нас совсем не клюет!

— Грешите, наверное, много, — отвечал, потягивая папиросу и плюхая очередную рыбину в пакет, — хотя... мальчишки, какой с вас грех?

В конце концов, изморенные солнцем и неразделенной чужой удачей, мы оставили удочки, сняли одежду и забежали в воду, наводя брызги и шум.

— Давай, кто под водой дальше? — крикнул мне Леха.

— Давай, — согласился я и набрал воздуха.

— Ра-аз, два-а, три!

Я оттолкнулся ногами и нырнул. Греб изо всех сил, но руки тяжело одолевали воду, вязли. Я открыл глаза: мутно-зеленая пелена кругом, дальше собственных рук ничего не видно. Со всех сторон холод, и будто совсем не плывешь: сколько ни старайся — остаешься на одном месте. Когда в груди стало совсем тесно, я выдул последний воздух и вынырнул. Оглянувшись — Леха сзади. Ударил по воде пятерней, обрушив на меня колючие брызги. Я зажмурился и сквозь тонкую радужную пелену увидел, как уезжает с берега старая «планета». Отравленные сизые клубы лизнули землю и расползлись по воде.

Когда я уже хотел выходить из воды, что-то полоснуло по ступне, побудив меня еще скорее выбраться на сушу. Я сел на траву и подогнул ногу: порез был сбоку, небольшой, но глубокий. Плоть расслаивалась, темная кровь быстро натекала.

Все вокруг стало неразборчивым. Кто-то вытащил из воды отбитое горлышко стеклянной бутылки.

— Гони домой! — сказали мне мальчишки. — Домой, слышишь?

— А? Да не, нормально, — храбрясь, отнекивался я.

И все же, ладом не обсохнув, натянул футболку, штаны, с большой осторожностью — носки и стоптанные туфли.

— Торопись, а то заражение будет! — посоветовали в спину.

И я последовал этому совету. Чтобы не усугубить рану, крутил педали, стараясь нажимать только неповрежденной ногой. Дорога шла вниз, и ехал я все равно быстро. Быстро миновал колхозный коровник, засаженные ровными рядами картофеля поля, поросшую бурьяном окраину



леса, дальше въехал в молодой сосняк, который стоял по обеим сторонам асфальта, погружая его в прохладную тень. Тут я был одинаково далеко и от друзей, и от дома. Все казалось странно-пустынным, безжизненный лес молчал, сосны медленно плыли. Крутанул педаль назад — и они со всем остановились.

Положив велосипед у обочины, я прошелся вдоль серой кромки (в туфле неприятно хлюпало). Низко стелясь по земле широкими листьями, здесь обильно рос подорожник. Уже не раз мне приходилось залеплять им локти или колени, расшибленные на этом же асфальте. Я сорвал несколько листков, сложил аккуратно стопкой и сел рядом. Когда стащил туфлю, крови там было — как будто ее зачерпнули. Я вылил все в траву. Носок снимал медленно, осторожно скатывая в валик, — боялся, что он присох к ране и от неловкого движения она может снова разойтись. Рана все еще была живой: кровь бежала, а кожа на ступне набухла и побелела. Стянув носок, я отжал его — и удивился, сколько впиталось в этот маленький лоскуток ткани. Я почувствовал онемение в обеих ногах одновременно. И снова заторопился: прижал листья подорожника к ступне, натянул носок, надел туфлю, запрыгнул на велосипед и понесся, понесся дальше.

На въезде в деревню песок, как всегда, лежал во всю ширину дороги — никак не объехать, и я засомневался — удастся ли проскочить, чтоб не спешиваться, не тащить велосипед руками. Разогнался сколько мог, почти проехал последние метры... Пedaли винтились с большим трудом, и я привстал с сиденья, чтоб давить их всем телом. Усилие отдавалось глухой болью в раненой ноге.

Все-таки я выкарабкался и опять стал набирать скорость, миновал несколько заборов, широких ворот с расписными столбами. Шума от меня никакого не было, но белая гусятинная стая, устроившаяся в тени черемухи, всполошилась. Беспокойно поднялась, гусак воинственно расправил крылья и ринулся наперерез как оголтелый. Мне пришлось резко вильнуть рулем, чтобы не свернуть ему шею. Потерял равновесие, велосипед стал заваливаться, и я со всего ходу упал. Ручка руля больно уткнулась в бок. Я рухнул грудью на землю и едва не пробороздил ее носом. Вожак выдул горлом победные фанфары.

На поднятый шум показалась птичья хозяйка.

— Дыге-дыге-дыге-дыге, — позвала она.

Белая тучка взметнула крылья и со всех лапок пустилась на ласковый голос.

Я выругался, приподнялся на руках и увидел впереди посверкивающий мотоцикл Пантелея. Встал, отряхнулся, поднял велосипед. Руль ушел в сторону. Выправлять его было напрасно: он безвольно болтался, как на шарнире. Пришлось катить велосипед, придерживая за раму. Переднее колесо на неровностях дороги юлило туда-сюда. Через пять шагов мы с ним распозались в разные стороны, как ноги перводневного ягненка. Отчаявшись, я бросил свою ношу на землю и закрыл лицо руками.

Цокнула щеколда, и раздался голос:

— Чего ревешь, партизан?

Я быстро растер слезы и оглянулся. Из лаковой калитки выкатился на тележке Пантелей. Он смотрел смуро, исподлобья, выцветшими глазами.



— Не реву я.

— Упал, что ли?

Я кивнул.

— Ушибся?

— Нет.

— А чего ревешь-то?

— Руль сломался, — сказал я, утаив о ране.

Поднял раму, руль маятником качнулся вниз.

— У-у, — сказал Пантелей, руками оттолкнулся от земли и подобрался к «планете». — Тащи сюда.

Я волоком притянул велосипед.

Пантелей отщелкнул голубую крышку, достал из мотоцикла промасленную портянку, развернул. В нашитых карманах, блестя хромом, лежали гаечные ключи.

— Вы почините? — с надеждой спросил я.

— Я-то? — усмехнулся Пантелей. — Конечно. Я только себя не почино, а все остальное — хоть с завязанными глазами. Ну-ка, наклони на меня. Вот так. Теперь держи.

Он взял один ключ, набросил на гайку, сделал несколько оборотов.

— Крепче держи! Во-о-о, — с усилием протянул.

От рук его пахло куревом, бензином, рыбой.

— Готово, партизан.

Я поднял велосипед. Руль сидел крепко, надежно.

— Спасибо, — поблагодарил я. — Спасибо, что починили.

— Нечего тут чинить, — сказал он. — Чего с собой инструмент не возишь?

Замявшись, я пожал плечами.

— А удочка твоя где?

Только теперь я спохватился: удочки не было! Забыл второпях у пруда.

— Карп, что ли, утащил? — спросил Пантелей улыбаясь.

Я промолчал. Поставил ногу на педаль, оттолкнулся и поехал дальше. Домой. В место, где ничего плохого уже не могло случиться.

Я лежал на диване, вытянув ногу вверх.

— У-у-у, — уважительно протянул дед, отдавая должное моей ране.

Он взял перекись, зеленку, бинт.

— Терпи, казак, атаманом будешь.

Мягкая вата легко коснулась ступни.

Казачков в наших краях отродясь не было. Но знаю, что прадед мой вернулся с фронта в большой барашковой папахе, которую до конца жизни и носил. Война шла далеко от наших деревень, на службу прадеда не призвали. Он добровольно отправился на фронт и там попал в партизаны. Чего было в этом больше — отваги или страха за жизнь родных? Некого теперь спросить об этом...

— Терпи, терпи, казак. — Дед наматывал бинт кругами.

А я лежал и ничего не чувствовал: порез не ныл, не саднил, не жег. Глубокие раны приберегают свою боль.

Я уехал из дома, едва получив университетский диплом. В небольшой городок близ восточных склонов Урала. Суeta нового места быстро захватила меня, однако и в работе, и в новых для себя хлопотах по быту я всегда помнил о доме, часто звонил и не мог дождаться январских праздников, чтобы навеститься к родным.

Однажды из звонка родителей узнал, что умер Пантелей. Новость огорчила меня. Я вспомнил его избу с окнами в синей кайме, высокие ворота и забор, аккуратный, ухоженный палисад. Поднял ли он все это сам, когда такая работа еще была ему под силу? Или помогала родня, соседи? Ведь не может быть, чтобы калека в одиночку поставил такое хозяйство. В детстве меня не заботили эти вопросы. Пантелей был для нас, мальчишек, таким же деревенским мужиком, как и все. Внешнее отличие было очевидно, но что скрывалось за ним — я не знал, не приглядывался, не думал об этом.

Смерть Пантелея вдруг открыла мне правду, которую я не осознавал, отправляясь в свой путь, будто в приключение, полное в любом повороте лишь счастливых событий. Я понял, что, пока я далеко, из жизни моей могут навсегда уйти близкие люди.

Поздней осенью у деда случился инсульт. Мне сказали, что ходить и говорить он больше не может. Бабушка не справлялась одна, и каждый день их навещали мои дядя с тетей.

Я приехал зимой. Снега выпало много, голые деревья стояли намертво вросшими в скиданные глыбы. У ворот, как ополоумевшая, бежала туда-сюда черная курица. Я открыл калитку, и она вбежала во двор. Снаружи дом совсем не изменился. И все-таки это был не тот дом, воспоминания о котором лелеяла моя память. В этом доме поселилось горе.

Дверь в комнате деда, чтобы слышать все, что там происходит, держали открытой, но от сквозняка и лишнего света вход завесили бордовой шторой. Я схватился за край, сдвинул в сторону и шагнул.

Направив в пол усталый взгляд, дед неподвижно сидел на незаправленной кровати. Он сильно похудел. Сильно. Щеки впали, нос заострился, белая майка висела на плечах почти не касаясь тела.

Дед медленно поднял голову. У него отказали ноги и правая рука. Хотя сознание было живо: он узнал меня, когда увидел. По лицу прыгнула косая улыбка, в глазах мелькнул свет, озаривший уходящую вглубь дорожку жизни. Фонари счастья светили на ней, когда по этому пути мы шли вместе. Дед попробовал заговорить, но слова не слушались его — получались одни и те же повторяющиеся звуки. Он силился овладеть речью и не мог — она становилась только быстрее. Я стоял растерянный и не верил. В конце концов дед хекнул, как будто потешаясь над своим бессилием, махнул рукой и замолчал. Он смотрел, виновато улыбаясь.

Я не мог сдержать слез. Большим и указательным пальцем стал растирать брови, за этим жестом серьезности пытаюсь спрятать глаза. Молча подошел к деду и положил руку ему на плечо. Я не знал, что сказать, все слова были неправильными. Внутри мешались беспомощность и боль.

— Как же так, — тихо прошептал я, — как же так, деда?

...Его не стало в начале весны. Я не смог приехать на похороны.

Андрей БОЛДЫРЕВ

## ЧУЖИХ РЕЧЕЙ АБРАКАДАБРА

### Жабры

1.

«Настанет всей Америке кирдык», —  
бубнишь себе под маской мизантропа  
и прешь, точь-в-точь из 90-х бык,  
на inferнальный свет ТЦ «Европа».

Всё Аннушка, что масло разлила,  
она одна во всем и виновата.  
И жизнь так зла, что не хватает зла  
и злата.

Во всем разлито зло — я б так сказал.  
А нас учили, что молчанье — золото:  
живи себе, гуляй в торговый зал,  
купи вина, грусти потом без повода.

2.

На службу — продери глаза, вставай! —  
с проспекта Дериглазова езжай.  
В аквариуме красочных витрин,  
один с толпою праздной на один,  
внимаю гад морских подводный ход,  
в ответ синхронно открывая рот —  
ну точно идиот.  
В сантехнике с названьем «Водяной»  
все норовят поговорить со мной,  
а я хотел бы отстегнуть улыбку  
и, перевоплотившийся в улитку,  
ползти домой.

...Водиле ранят душу купола,  
а мне — чужих речей абракадабра,

но как порой рутина не брала б  
 за жабры,  
 и я, и он — мы все придем домой,  
 где счастья все же нет, но есть покой,  
 горячий ужин с рюмкой или чаем,  
 где мы перед экраном засыпаем,  
 снимая каждый с плеч свой шар земной.

3.

Носом на кухне клюешь в полвторого,  
 зуд сочинительства давний кляня,  
 мол, на работу с утра, а другого  
 времени нет у меня.  
 Жил себе юный страдалец, который  
 был по ночам на луну.  
 Нынче же дайте мне точку опоры —  
 облокочусь и усну.  
 Мир примиряет с собой понемногу,  
 приумножая печаль,  
 вот и привычка к изящному слогу  
 счастья прибавит едва ль.  
 Бьешься об лед бытия глупой рыбой,  
 чаешь заветный покой.  
 Станный был выбор... А был ли он, выбор,  
 всю эту жизнь, боже мой?

<Из старых тетрадей>

На Херсонском кладбище при церкви Всех Святых  
 он курил у Богдановича могилы  
 в окруженье нас, беспечных, молодых,  
 под надзором пристальным супруги милой,  
 и, казалось, думал: «Эк меня и занесло»,  
 а его верблюжьи губы чуть дрожали.  
 Так, дорогой в Царское село,  
 сидя на санях, размышлял Державин.  
 Он приехал в Курск до неприличья стар,  
 говорящий памятник, свидетель акмеизма,  
 честно отработывая скромный гонорар  
 байками про Бродского, стихами и харизмой.  
 Всех благословлял, когда обратно уезжал.  
 Через годы, через расстояния  
 руку бы пожать его, что так и не пожал:  
 побоялся разочарования.

## Белый налив

Молодость зеленая — постой-ка,  
 наливайся соком добела.  
 ...Вместо сада будет новостройка,  
 заревет бензопила.  
 Или неминуемая осень  
 от родных ветвей наверняка  
 оторвет тебя, ударит оземь  
 и намнет бока.  
 Этот вкус забудется едва ли,  
 кисло-сладкий. Во дворе у нас  
 падалицу в детстве собирали  
 на грядущий Спас.

\* \* \*

Запасай, народ, попкорн:  
 все поставлено на кон:  
 далеко за черным лесом  
 Пушкин баттлится с Дантесом  
 из-за бабы — повод веский,  
 ибо нефиг жить по лжи.  
 Шли, читатель, эсэмэски,  
 Александра поддержи.  
 Пусть поэт, проливший кровь,  
 нашу чувствует любовь.  
 Говорят, что пуля — дура,  
 не захочешь — попадет.  
 Русская литература  
 дорого берет за вход.

Это кто там из засады  
 нагло лезет через задний?  
 Шишел-мышел, Мышкин-князь,  
 с корифеями вась-вась.  
 За пучок таких в базарный  
 день дают по три рубля.  
 Глядь, уже сидит, бездарный,  
 у руля.  
 Я трамвайный хам и быдло,  
 за державу мне обидно.  
 Бамбарбия кергуду,  
 тихо катим в Катманду.  
 Рулевой, остановите  
 Землю!  
 Я сойду.

## Железнодорожный романс

Она придет с работы поздно,  
но проводить не опоздает.  
Когда б не пять минут до поезда,  
остался б насовсем? Кто знает.

Как в фильмах (в резком замедлении),  
ее рука моей коснется —  
и все былое — на мгновение —  
романсом пошлым отзовется.

За пять минут натарабаришься:  
«Я встретил Вас» и все такое.  
Ах, не травите душу, барышня,  
багаж мой — книги и спиртное.

И что до сердца Вам, где бонусом —  
любви большой воспоминания?  
Вот скорый зашипел и тронулся  
в ночь — не до скорого свидания.

## Лицейскому другу

*Возьми такси до Луначарского...*

В. Косогов

Пойдем по улице по Ленина,  
вдоль развлекательнейших комплексов,  
где с пожилыми джентельменами  
гуляют девочки без комплексов.  
Я рад, что в этом бестиарии  
найдется место нам, что есть и  
места, где могут пролетарии  
присесть и заказать по двести  
грамм — под селедочку — «Столичной»  
и выпить как во время оно  
за Гнойного, за рэп античный  
и за стихи Оксимилона.  
Но если гнаться за признанием  
и петь под дудку ляжет карта,  
гори оно все ярким пламенем,  
как небеса над драмтеатром,  
где Пушкин воздымает голову,  
забронзовев, и, вне политики,  
срать на него хотели голуби  
и на собравшихся на митинге.  
А мы с тобой за все хорошее,  
за удаль времени гусарского  
отъедем безвозвратно в прошлое,  
возьмем такси до Луначарского.

---

Василий НАЦЕНТОВ

## УБИТЫЕ ПТИЦЫ ПОЛЕЙ

\* \* \*

Ни о детстве, ни о солнечном детстве,  
ни о городе — дымном, сыром и чужом —  
о снежинке, на которой такой же Нацентов,  
стол и лампа — за окном, будто за рубежом,

где пространства вполне — широка моя родина снега,  
только времени нет, запятая и белая боль  
забирают меня одного —  
перепончатой тенью стрекоз,  
крутобровым обрывом реки  
забирают с собой.

Потому ни о детстве, ни о городе, ни о реке —  
о весне, неизбежной и рыхлой, о седом мотыльке  
и том, что оттаяла речь и горчит на моем языке,  
и шершава она и печальна.

\* \* \*

снился сад  
невесомый щербатый  
долгий сад  
в перестуках ветвей  
с крыш как стаи бровей  
рыхлый снег невозможного марта  
нависал  
ноздреватый слабел  
становился мелодией тучей  
черных вёсен и вёсел  
ожившего сада  
ладонями лодкой  
отсыревшей пахучей  
и качался с ветвями  
как болотная выпь  
в такт дыханью куги

на воде расходились круги  
 слез и скрипа  
 тяжелого снега

\* \* \*

желтоватый как запах корицы камыш  
 вялых рук шелестенье синичьим крылом подожди  
 подожди умирать умирать прошлогодним листом  
 хрустом скомканной пачки пустой сигарет сигарет

каблучок и крыло все одно если цок или взмах  
 о последний троллейбус пришли окуджава за мной  
 поплыву с невозможной и рыжей девчонкой в обнимку  
 будто в ясной поляне засохшие дуб и береза

запятые и рифмы это кочки и костыли  
 остается невнятица глупого ритма и что-то  
 на окраине чуда про печаль домыхать  
 камышом желтоватым как запах корицы корицы

\* \* \*

*А спички — вот, и это — чудо...*  
 Юрий Казарин

сидит кукушка на суку  
 ку-ку ку-ку  
 и произносит не строку  
 но смерть и воздух

и во саду ли во саду  
 скрипит под вечное дуду  
 в две тысячи каком году  
 калитка ветка кот кукушка

я буду вечен и велик  
 седой и праведный старик  
 листва и плечи долгий крик  
 я буду буду

не чудом но отсылкой к чуду

вернее сноской в две строки  
 весне и смерти вопреки

\* \* \*

*И скучно и грустно...*

И странно и страшно, и вечное «и» на трубе  
 в соседстве со старой вороной и вянущим дымом  
 о рифме на «бе», но, вернее, о русской судьбе  
 белеет и блеет, о парус, то рымом, то Крымом.

А впрочем, прекрасен последний полет лепестка  
 моих сентябринок у вымокшей лавки, прекрасен  
 и капли ребяческий плух и такая тоска,  
 что не представим ни Антонов, ни Разин.

Усталой рябины рябой облетающий край  
 дырявым платком на поникшие плечи ложится.  
 И кто-то кому-то: «Пожалуйста, не умирай...»  
 И кто-то живет.  
 И плывут одинокие лица.

Плывут, одинокие, милые, бестолку так  
 и тонут, и тонут, круги голубые рисуя.  
 И странно и страшно... Зажато в холодный кулак  
 забытое «и», на трубе просидевшее всуе.

\* \* \*

О, ты не бережешь последних пчел страны  
 земного заколоченного лета,  
 и пуговики на детской рубашонке  
 смеются, отлетают и звенят.

Нательный крестик колетса, и я  
 поверх рубашки надеваю крестик,  
 когда иду от солнечной реки,  
 на брызги разлетевшейся и ставшей  
 то окриком, то взглядом рыбака.

Тропинка безъязыка и легка,  
 как лист бумаги,  
 но глаголют травы,  
 жуки и птицы  
 о любви моей,

молча о равнодушии твоём.

\* \* \*

Как убитые птицы, носки растянулись в углу,  
о взмахните и пойте, не важно о чем,  
о взмахните и пойте, и я никогда не умру,  
не умру — пролечу мотыльком  
над твоим обнаженным плечом.

И бушует весна и качается на повороте,  
и сережка звенит угольком и готова сорваться, готова.  
Талой каплей смахните, смахните и пойте.  
Как бездонно, бездонно весеннее слово.

Фотографии старой березы белы и белы,  
только снег с каждым годом чернее и все тяжелей,  
и вырастают в его черноту, будто в правду, немые стволы  
и убитые птицы, убитые птицы полей.

О весне говори, и воскреснет веселый чердак,  
чудеса и часы с крутогорлым отчаянным боем,  
о весне говори, и приснится в лесу Пастернак  
и убитые птицы, убитые птицы над полем.

Значит, нужно скорбеть, значит, нужно лететь мотыльком  
над плечом над твоим, над страной обнаженной, качая  
черный снег и весну, значит, нужно прожить дураком  
и потом умереть, умереть от любви и печали.



---

Борис КРАСНОВ

## ОБЛАКА НА ВОЗДУШНОМ ХОДУ

\* \* \*

Безвозвратно разрушен  
мир колодца-двора.  
Патефон его слушал  
я как будто вчера

за решеткой железной  
в комнатенке пустой,  
весь окутан отвесной,  
словно шкаф, темной.

И шуршала пластинка,  
и шипела игла.  
И душа-паутинка  
трепыхалась — жила!

\* \* \*

Пока еще не рассвело,  
я обниму тебя — земную,  
всю шелковую, всю льняную,  
все сонное твое тепло.

Пока щемящее во мне  
ликует чувство и томится  
и ты сложившей крылья птицей  
мне представляешься во сне,

пока влачится звезд обоз  
и ревность спит твоя и гордость,  
лишь мне покорна непокорность  
твоих рассыпанных волос.

Пока еще не рассвело  
и вся ты пребываешь в неге,  
в окне стоят глухие снега,  
их много за ночь намело.

И пусть грозит нам сквозь стекло  
судьба клюкою ледяною,  
ведь я с тобой, а ты со мною.  
Пока еще не рассвело...

\* \* \*

Если станет душе одиноко,  
я войду в зачарованный лес,  
где трещит балаболка-сорока,  
где спускаются ветви с небес.

Были будни мои высокосны,  
так верни мне тот берег реки,  
где песок, да смолистые сосны,  
да лишайников белых клубки.

Этот мир слишком душен и тесен!  
Я пошел бы туда напрямик,  
где узорные сети развесил  
восьминогий паук-луговик.

Если станет мне пусто и дико,  
я спиною в траву упаду...  
Подмаренник, осот, повилика,  
облака на воздушном ходу.

\* \* \*

Я позабыл, когда и кем я был любим.  
Ах, сладкий сон любви — рассеялся как дым.

Из жизни целый пласт вдруг выпал и пропал.  
О чем же я грустил, о чем стихи кропал?

Я помню, но не то, что гонит сердце вскачь, —  
я помню чей-то крик, я помню чей-то плач.

Я видел, как беда текла со всех сторон,  
как утешала тень смыкающихся крон.

И — как обманчив кров шатающихся стен,  
и как сбегала жизнь из отворенных вен.

Я вижу, но не то, что радует мой взгляд,  
и я прилежно пью свой каждодневный яд.

Я память жгу свою с собой наедине,  
и меркнут времена, живущие во мне.

Надежда КУЗНЕЦОВА

## ПОЧТАЛЬОН НЕ ПРИХОДИТ В СУББОТУ

*Пьеса в двух действиях*

### Действующие лица:

- Семен Федорович Шершов, военный пенсионер, орденосец, 75 лет.  
Лидия Ивановна Шершова, его жена, пенсионерка, 70 лет.  
Валентина Ивановна Капустина, старшая сестра Лидии Ивановны, 77 лет, вдова, пенсионерка, но работает.  
Варвара Петровна Калининна, сватья Шершовых, 76 лет, вдова, ветеран труда, почетный пенсионер.  
Владимир, старший сын Шершовых, 42 года, программист.  
Сергей, младший сын Шершовых, 39 лет, предприниматель.  
Наташа, жена Сергея, дочь Варвары Петровны, 37 лет, администратор.  
Степка, сын Наташи и Сергея, 5 лет.  
Темка, сын Владимира, 8 лет.  
Афанасий, сосед Шершовых, пенсионер, 71 год.

Действие происходит в наши дни в Семипалатинске.

### Действие первое

#### Сцена первая

Дача Шершовых. Огромный участок, ухоженный, утопающий в зелени. На участке — добротный большой дом, где Шершovy живут постоянно. В центре сада — бассейн. Кроме этого — баня и мастерская. От мастерской к бассейну протянуты шпалеры, с которых свешиваются чахлые гроздья винограда, еще не спелого. Суббота, жаркий полдень. На веранде сидит Семен Федорович, смотрит, как на газовой плите закипает в кастрюле борщ. Входит Лидия Ивановна со свежей зеленью в руках.

Лидия Ивановна. Сеня, выйди, уйми там Афанасия! Привязался к нашим... Я их попросила сухую малину вырезать, а Афонька тут как тут! Зачем, говорит, стариков увезти хотите?



Семен Федорович. И зачем?  
Лидия Ивановна. Сейчас прям обсуждать начнем? Мало вчера говорили?

Семен Федорович. Так ни до чего же не договорились...

Лидия Ивановна. А ты бы не все, о чем дома говорим, соседям выкладывал!

Семен Федорович. А у меня от соседей секретов нет. На виду живем.

Лидия Ивановна (*режет зелень*). Вот именно! Афанасий хоть забор со своей стороны поставил, а с Касимовыми у нас картошка! А с Петровыми — яблони! Заходи в любое время!

Семен Федорович. Мужики не к тебе заходят, а ко мне... В мастерскую... А Афоня теперь пусть вокруг бегают! Пусть в калитку долбит, раз такой рохля! Ему Лариска плешь проела: «Ставь забор! Ставь забор! Вот уедут Шершовы, неизвестно, кто на их место...» Вот и поставил...

Лидия Ивановна. Держал бы язык за зубами! Еще ни козла, ни воза, а соседи как с ума посходили! Лариска первая очередь заняла за клубникой, чтобы ей выкопать...

Семен Федорович. Тебе кустов жалко? У нас этой клубники — до дыры!

Лидия Ивановна. У себя в мастерской распорядись! Вы там как в пивнушке! Болтуны!

Семен Федорович. Я только говорил, что уезжать не собираюсь...

Лидия Ивановна. Соберешься! Или тебя соберут!

Семен Федорович. Только если на кладбище.

Лидия Ивановна. Ну хватит! Выйди! Надоел уже Афоня твой! Вон, висит на заборе, того гляди завалится... Поди, уже пьяный.

Семен Федорович. Пьяный, и что?

Лидия Ивановна. Тоже хочется?

Семен Федорович. Что я, не выпью, если захочу? Я тебе не Афоня! Ему Лариска даже на пиво денег не дает... Вчера точно почтальона не было?

Лидия Ивановна. Ты же сам от калитки не отходил — все караулил... Перед детьми неудобно... (*Вздыхает.*) Было бы письмо — занесли бы. Теперь до понедельника... И где это Афоня набрался, интересно?..

Семен Федорович. Я ему бутылку поставил. Беленькой!

Лидия Ивановна. Это еще зачем?

Семен Федорович. Чтобы он нашим детям лекцию прочитал... У него от водки язык развязывается.

Лидия Ивановна. Какую лекцию?

Семен Федорович. Здорово придумано, да?

Лидия Ивановна. Сеня, ты совсем сдурел!

Семен Федорович. У нас своя жизнь! Наша! А у них своя... Вот Афонька им мозги и промывает.



Лидия Ивановна. Это я сейчас тебе промою! Лекцию он читает! Я сейчас Афоне такую лекцию покажу! Пойду Лариске пожалуюсь!

Семен Федорович. Угомонись! Раскипятилась сама, а борщ еле шает. Скоро внуки придут! *(Выходит в огород, поет.)* «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали...»

Афанасий подхватывает, и они поют вместе:  
«Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой земли...»

Семен Федорович. Здорово, Афанасий!

Афанасий. Здоровеньки, коль не шутишь!

Семен Федорович. Чего шумишь?

Афанасий. Так вот с сынами твоими беседаю. Веселая беседа, однако...

Семен Федорович. Покурим?

Афанасий. С удовольствием!

Семен Федорович *(тихо)*. Замутил?

Афанасий *(тихо)*. Задание выполнено, товарищ полковник!

Семен Федорович. Сейчас перерыв. А после пяти в мастерскую забегай. У меня в бассейне ящик пива стынет.

Афанасий. Перекур, ребятки! Потом продолжим! Вы-то не курите?

Семен Федорович. Они здоровый образ жизни ведут, в спортзалах мышцы качают...

Афанасий. Молодцы! Мы вот раньше время не тратили. Может ты, Семен, в армии качался? Не знаю, как у вас в авиации... Я-то нет, у нас на флоте только зарядка... А вот мышцами своими до сих пор довольный. А вот я интересуюсь, ребята, в спортзале сразу все мышцы качают или какую-то выборочно можно подкачать, а?

Семен Федорович. Тебе-то зачем?

Афанасий. Погодь, Сеня! Я с сынами твоими говорю.

Владимир. Там, дядя Афоня, можно что угодно подкачать...

Афанасий. Любую, значит, мышцу?

Владимир. Любую.

Афанасий. Тогда вам, ребятки, надо сначала главную мышцу подкачать! Ослабла она у вас!

Сергей. А какая у вас главная мышца, дядя Афоня?

Афанасий. Так известно какая! Какая у всех мужиков!

Семен Федорович. Пошляк ты, Афонька!

Афанасий. А что? Ты вот мышцы не качал, а их двоих выстругал! Я троих сподобился. А они качаются... Вот я и говорю, чего им подкачать надо в первую очередь, чтобы хоть батьку догнать.

Владимир. Все с вами ясно, дядя Афоня.

Афанасий. Так и с вами все ясно!

Семен Федорович. Хоть по одному внуку дали... Степке с Темкой давно уже брата или сестру пора...

Сергей. Они между собой братья.



В л а д и м и р. Хитрый ты, отец! Вместо того чтобы над нашим предложением подумать, ты на нас дядю Афоню натравил. Думаешь, мы не понимаем?

А ф а н а с и й. Вот и не дергайте отца с матерью на старости лет.  
С е р г е й. Они еще не старые.

Афанасия зовет из дома жена, и одновременно Семена Федоровича зовет Лидия Ивановна.

А ф а н а с и й. Пойду-ка я, а то греха не оберешься.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Вечером — как договорились.  
А ф а н а с и й. Семен, я бутылки потом заберу.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Зачем они тебе? Сейчас и сдать негде...  
А ф а н а с и й. Надо мне. Не забудь! И вы, ребята, не выбрасывайте стеклянные...  
С е р г е й. Хорошо-хорошо.

Семен Федорович молча смотрит, как сыновья вырезают сухие прутья малины.

С е р г е й. Папа, мама зовет.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Слышу. Помочь?  
В л а д и м и р. Отдыхай, ты уже свое отработал.  
С е р г е й. Мы почти закончили.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Отработал, говоришь... Я еще даже кредит не отработал...

В л а д и м и р. Ты что, кредит взял?  
С е р г е й. Мама ничего не говорила... Папа, какой кредит в твоём возрасте?

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Что-то я не пойму: то говорите, не старьёй, то — какой кредит в моём возрасте? А такой!

В л а д и м и р. Темнишь ты, отец, что-то. Кредит — не шуточки! Знаешь, какие истории бывают? Трагедии! Светка рассказывала... Кто тебя надоумил на кредит? Лучше бы мне помог за машину рассчитаться.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Как будто вам не помогают.  
С е р г е й. Ты сам бы меньше кредитов набирал.  
В л а д и м и р. А у кого их нет? Может, у тебя? Пап, так что за кредит?

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Беспроцентный.  
С е р г е й. Уже хорошо.  
В л а д и м и р. Это в каком же банке беспроцентные кредиты дают?  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Это жизнь выдала. Кредит на удачу! Чтобы мы с мамой встретились, полюбили друг друга, вас родили... Не у каждого получилось... Вот какой кредит мы выплачиваем.

В л а д и м и р. Папа, что за наивная философия?  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Наивная — это у вас... Приехали! Предложили! Радуйтесь!

С е р г е й. И почему ты так агрессивно воспринимаешь наше предложение?



В л а д и м и р. Ты уже не в армии.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Я полковник запаса. (*Уходит, высоко подняв голову, поет.*)

Как грустно, туманно кругом,  
Тосклив, безотраден мой путь,  
А прошлое кажется сном,  
Томит наболевшую грудь.

Ямщик, не гони лошадей!  
Мне некуда больше спешить,  
Мне некого больше любить,  
Ямщик, не гони лошадей...

### Сцена вторая

За большим столом на веранде обедает с е м ь я Ш е р ш о в ы х.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Ну и чего там в зоопарке новенького?  
Н а т а ш а. Что там новенького может быть? Звери.  
Л и д и я И в а н о в н а. Дед какие-то вопросы задает... Да?  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Степка, страшные звери?  
С т е п к а. Большие...  
Т е м к а. Степка волков испугался, дальше идти не хотел.  
С е р г е й. Сынок, ты, правда, волков испугался?  
С т е п к а. Они большие, не как на картинке.  
Н а т а ш а. Он просто первый раз в зоопарке.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. У вас же в Новосибирске есть зоопарк.  
Н а т а ш а. До него ехать долго, а времени нет.  
Т е м к а. А я был! Мы с папой были.  
Л и д и я И в а н о в н а. Понравилось?  
Т е м к а. Да.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. А какой зоопарк лучше — наш или ваш?  
Т е м к а. Наш.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Какой «наш»?  
Т е м к а. Наш! В Новосибирске!  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Скажите пожалуйста, все у них там лучше...  
Л и д и я И в а н о в н а. Конечно, лучше. Нашел что сравнивать!  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Зато у нас аквапарк есть! Понравилось купаться в прошлый раз?  
С т е п к а. Да.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. А с горок скатываться?  
С т е п к а. Да.  
Л и д и я И в а н о в н а. Дед, дай поесть спокойно!  
Т е м к а. Деда тоже с горки съезжал. Со Степкой, а то Степка один боялся. А я нет!

Н а т а ш а. Степа тебя на три года младше, а ты уже большой.  
Т е м к а. Нет, Степка трусливый.  
С е р г е й. Степик, ты, правда, боялся с горки съезжать?  
С т е п к а. Знаешь, какая она высокая, а еще виляет...  
С е р г е й. Ну ты и заяц!  
С т е п к а. Я не заяц! Зато я лучше Темки плаваю!  
Т е м к а. Кого там! Я тоже умею плавать.  
С т е п к а. А я лучше! И я на три года младше тебя.  
Т е м к а. У нас тоже есть аквапарк... Только дорого платить надо.  
Л и д и я И в а н о в н а. Сегодня после обеда на речку пойдем, там поплавайте бесплатно.  
С т е п к а. Папа, а ты на речку пойдешь?  
С е р г е й. С бабушкой идите.  
Т е м к а. Папа, а ты? Я тебе покажу, как я ныряю.  
В л а д и м и р. Никаких ныряний!  
Л и д и я И в а н о в н а. И только у берега, а то я и купаться не разрешу.  
Т е м к а. Ладно. Бабушка, а ты мороженое купишь?  
Л и д и я И в а н о в н а. Куплю, чего бы доброго...  
Т е м к а. Точно купишь?  
Л и д и я И в а н о в н а. Куплю, раз сказала. Мне для вас ничего не жалко.  
С т е п к а. А деду жалко.  
Л и д и я И в а н о в н а. Чего это деду жалко?  
Т е м к а. Денег.  
В л а д и м и р. Тема, ты поел? Марш в огород!  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Когда это я денег пожалел?  
Т е м к а. А когда в аквапарк ходили, забыл?!  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Так то совсем другое... Иди лучше проверь в ящике, почты нет?  
Л и д и я И в а н о в н а. Что ты к ребенку привязался? Почталыон не приходит в субботу! Сиди, Темушка, на месте! Что там дед пожалел?  
С т е п к а. Мороженое.  
Т е м к а. Мы мороженое попросили купить.  
Л и д и я И в а н о в н а. И дед не купил?  
С т е п к а. Дед сказал, что в магазине его нет.  
Л и д и я И в а н о в н а. Как это? Оно во всех магазинах есть.  
Т е м к а. И мы деду так сказали, что точно знаем, что там есть...  
Л и д и я И в а н о в н а. А дед?  
Т е м к а. А дед сказал, что он точно знает, где у нас попа и где у него ремень...  
Л и д и я И в а н о в н а. Ты чего, дед, мороженое детям пожалел?  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Appetit не хотел перебивать...  
Л и д и я И в а н о в н а. Ну дед... Куплю вам мороженое сегодня.  
С е м е н Ф е д о р о в и ч. Ну вы и ябеды! А еще мужики...  
С т е п к а. Мы не ябеды. Мы же не сразу рассказали.



Темка. И мы не мужики.

Семен Федорович. А кто же вы?

Темка. Ты же сам нас вчера из мастерской выгнал и сказал, что настоящие мужики будут пить пиво и водку, а мы чтоб шли к бабушке под юбку...

Наташа. Вы бы, Семен Федорович, пока мы здесь, сами бы не пили и Сергея не спаивали... Он за рулем!

Сергей. У тебя тоже права есть...

Наташа. Ненавижу на ваши пьянки совместные смотреть! Хоть бы детей постеснялись!

Сергей. Знала, что так будет. Зачем поехала?

Наташа. А чтобы за тобой... Чтобы с брата старшего пример не взял.

Владимир. Наташа, умоляю, не лезь в мою личную жизнь.

Наташа. Больно надо...

Лидия Ивановна. Ребятки, идите в огород, ягодок поешьте!

Темка и Степка выходят из-за стола и убегают в огород.

Наташа. Мы сюда приехали вопрос с переездом решать, а вы пьете постоянно. Серьезно поговорить невозможно. Я за свой счет взяла целый день! Понедельник на дорогу уйдет. У меня на работе — завал! А вы ломаетесь! Давно бы уже все здесь продали, собрались и переехали!

Семен Федорович. Ты тут не команду! Мы не мебель, чтобы нас в машину загрузить и перевезти.

Наташа. А кто говорит...

Сергей. Наташа, сходи с мамой и ребятами на речку.

Наташа. А ты?

Сергей. У нас мужской разговор будет.

Лидия Ивановна. Не ссорьтесь!

Наташа. Знаю я этот мужской разговор!

Семен Федорович. Раз знаешь, то чего выступаешь?

Лидия Ивановна выходит.

Наташа (*кричит*). Степка, иди сюда, переобуйся!

Входит Степка. Семен Федорович и Владимир уходят в мастерскую.

Наташа и Сергей склонились у ног Степки, зашнуровывают ему кеды.

Наташа. Как мне это надоело! Сейчас опять в мастерской пить будете...

Сергей. Это для дела. Степик, жарко сегодня?

Степка. Жарко.

Наташа. А пить не жарко? Ненавижу!

Сергей. Лучше маме подробнее про поселок расскажи.

Наташа. Ее агитировать не надо.

Сергей. Вот мы папу и будем обрабатывать.

Н а т а ш а. Ага! Кто кого только! Он все про какие-то письма спрашивает, ответа, что ли, какого-то ждет?

С е р г е й. Вот у мамы и разузнай...

Н а т а ш а. Столько времени впустую... А день теперь отрабатывать придется.

### Сцена третья

Вечер того же дня. Лидия Ивановна с внуками и Наташа еще не вернулись с речки. В мастерской расположились Семен Федорович, Сергей с Владимиром и Афанасий. Они пьют пиво.

С е р г е й. Отец, надо решиться уже... Принять окончательное решение. Ты же командир!

С е м е н Ф е д о р о в и ч. У тебя есть кому командовать...

С е р г е й. Не обо мне речь. У меня все нормально. С заказами перебои, но это ерунда. Зато времени на дом больше.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. У нас тоже все нормально! Вся жизнь здесь прошла. В этом городке. Это по молодости в чужие края тянет. А теперь только в родные... Да я до сих пор карты этих мест наизусть помню!

В л а д м и р. Отец, мы все понимаем, но и ты нас пойми: пока мы еще можем ездить туда-сюда, хотя... Стройка — каждый день на счету! А к вам доехать — день! И обратно — еще день! А время, как известно, деньги.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Вы отсюда не с пустыми руками уезжаете.

В л а д м и р. Папа, что сейчас считать?

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Ты сам считать начал. Два дня, вишь ты, на дорогу!

С е р г е й. Маме уже тяжело в доме. Печь топить, баню... А дальше только хуже будет! У нее рука после перелома болит, давление! Ты сам плохо ходишь.

А ф а н а с и й. Он всегда плохо ходил, сколько я его знаю. Он же летать привык!

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Пока на своих ногах — к вам не поеду!

В л а д м и р. Вот, значит, что ты нам предлагаешь? Увозить вас в горизонтальном положении?

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Понимай как хочешь.

А ф а н а с и й. Вы родителей-то рано хороните!

С е р г е й. Да никто их не хоронит, дядя Афоня! Но и о нас надо подумать!

В л а д м и р. Сейчас вы можете все сами оформить, дом и квартиру продать, гараж, машину... Без всяких доверенностей и нотариусов. Собраться спокойно. Для граждан налог всего тринадцать процентов, а если мы продавать будем, то сорок!

А ф а н а с и й. Понимаю... Родители только и делают, что о детях думают. Это правильно.

В л а д и м и р. Другие бы родители радовались, что их дети к себе зовут! А вы уперлись как бараны!

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Ты со своей козой сначала разберись! Не больно твоя Светка нас ждет! Сюда и то приезжать брезгует.

В л а д и м и р. Это потому, что они с Наташкой не ладят!

С е м е н Ф е д о р о в и ч. И нам предлагаешь с внуками по очереди видеться? Чтобы Светка с Наташкой косились...

С е р г е й. Мы с Вовой не ссорились. Общаемся нормально. Степка с Темкой тоже.

В л а д и м и р. И никто не препятствует.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Это ваши дела! А мы с матерью между двух огней не полезем!

В л а д и м и р. Отец, ты не понял! Вы же не с нами жить будете! Вы себе полдомика купите с участком! Полностью благоустроенный! Отопление, вода, электричество, а маме место для цветов...

С е р г е й. Час езды на машине от Новосибирска!

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Про мать не знаю. Вы ей все уши продули, она, может, и собирается. А я нет!

В л а д и м и р. Мама без тебя не поедет!

С е р г е й. А ей здесь уже тяжело! Летом еще ничего, а зимой...

С е м е н Ф е д о р о в и ч. А если у нас другие планы?

В л а д и м и р. Папа, мы тебе объясняем, как лучше для вас будет! И нам удобно! Можем другие варианты рассмотреть! Можете квартиру однокомнатную в Новосибирске купить! Можно, конечно, и «двушку», денег хватит... Но лучше, чтобы свободные деньги остались, мало ли что.

А ф а н а с и й. А наша Анька как уехала поступать, так и все! Домой носа не кажет, не то что жить к себе. А мы с матерью ей тюками возили, пока она в Новосибирске училась. И потом... Сыновьям так не возили... Думали, дочка о нас заботиться будет в старости. Курей, гусей, кроликов, свиней держали. Только чтобы деньга лишняя была — Аньке помочь! Корову купили! Лариска молоко продавала. Все для дочки! Замуж вышла — машину! Внук родился — денег! А внука видели, только когда сами приезжали... Сейчас хозяйства нет, кроме кур, у Лариски руки большие... Сыновья обиделись. Так что твои, Семен, — молодцы! Приезжают... Наша двенадцать лет в родном доме не была... И не собирается! То они в Турцию, то в Египет, то еще куда отдыхать едут. А родителей совсем забыла! Только деньги давай! А мы даем как дураки...

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Молодцы, кто бы спорил. Только в старости к родным гробам тянет, а не от них...

В л а д и м и р. Ты о чем?

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Деревню родную вспомнил.

В л а д и м и р. Так ее уже нет давно! Ты же нас возил.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Ничто не вечно. Но все рано или поздно возрождается...

В л а д и м и р. Чем в воспоминания ударяться, ты, отец, лучше на свата посмотри! Уехал же Светкин отец! И доволен! Пенсию получает, квартира нормальная, подлечили его в городе... Все ему нравится!

Семен Федорович. А что ему остается говорить? Только то, что всем доволен! Светка — та еще... Бухгалтерша! Все рассчитала! Что же она не забирала родителей, когда мать болела? Два года лежала Мария! Светка хоть раз приехала? Поухаживала за матерью? Только на похороны... А потом уговорила свата все продать.

Владимир. Вас сыновья зовут — самые близкие вам люди!

Афанасий. Это верно. Мы на дочку надеялись. Это Лариска все... Баловала ее. А продолжение рода — в сыновьях! Неужели помрем с Лариской без сыновьего прощения?

Семен Федорович. Все устаканится.

Афанасий. Вот! Давайте по стаканчику!

Выпивают.

Семен Федорович. Может, вам к ним съездить?

Афанасий. Надо с сыновьями помириться... А потом и помирать можно. Витка в Томске на заводе инженером работает. Дочка у него уже взрослая. А Васька в Барнауле, фирма у него по ремонту электроники. И тоже девчонка... По внукам-то я тебя, Семен, обошел!

Семен Федорович. Вот и выпьем за внуков!

Выпивают.

Афанасий. Так что есть еще дело перед смертью — с сынами помириться!

Семен Федорович. Мы еще поживем! Что, нам здесь плохо, Афанасий?

Афанасий. Чем плохо? Земля, дом, огород... Речка рядом. Оставьте и вы! А? Привыкли уже! Столько лет! А в квартире, в четырех стенах, сопьешься, чего доброго... А здесь участок большой...

Сергей. Да там тоже дом! Половина только. Отец даже посмотреть не хочет! Новый поселок! Что, вам четыре сотки земли не хватит?

Семен Федорович. Мне скоро два метра хватит.

Владимир. Опять ты, отец! Неужели у тебя такие дети плохие, что ты рядом с ними жить не хочешь?

Семен Федорович. Дети у меня хорошие.

Афанасий. Что правда, то правда, Семен!

Семен Федорович. Значит, я плохой...

Сергей. Вчерашнее началось...

Владимир. Отец, сейчас очень удачное время продать здесь все и купить у нас. Курс выгодный! А оставшиеся деньги под хороший процент положить. Светка поможет! Она за аналитикой следит. Можно евро или доллары купить. А потом ситуация изменится — невыгодно будет.

Семен Федорович. Будем мы, значит, с матерью сидеть в новой половине дома, как звери в зоопарке, и ждать, когда вы к нам приехать соизволите?

Сергей. Туда мы чаще приезжать сможем! Это же совсем близко!

Семен Федорович. Свежо предание... *(Разливает пиво.)*

Все молча пьют.

Афанасий. Спой, Семен, эту — арию герцога...

Владимир. Началось...

Сергей. Отец...

Семен Федорович поет арию Герцога из оперы Верди «Риголетто».

Афанасий. Семен, ты бы известным артистом был, если бы в армию не пошел! Как поет, а? Но в молодости нас романтика тянула! Да! Молодость... Видели бы вы, ребятки, какая красавица была тетя Лариса!

Владимир. Она и сейчас симпатичная.

Афанасий. Сейчас не то! Одевается как пугало... А раньше...

Семен Федорович. Сейчас все в штанах.

Афанасий. Не говори! А раньше какие платья шили, сами раскраивали... У моей Лариски до сих пор выкройки хранятся...

Семен Федорович. И ткани-то простые были, а сошьют — залюбуешься! Юбочки цветастые!

Владимир. Ловко вы тему сменили.

Сергей. А мне тоже мамыны платья нравились. И на фотографиях красиво!

Владимир. Давайте все же про переезд поговорим!

Афанасий. По новой!

Семен Федорович. По кругу! Как в цирке!

Семен Федорович поет арию Мистера Икс из оперетты Кальмана «Принцесса цирка»: «Снова туда, где море огней...»

Афанасий. Ребятки, передавайте бутылки пустые! *(Складывает бутылки в мешок.)*

### Сцена четвертая

Поздний вечер этого же дня. Семен Федорович и Владимир с Сергеем приготовили баню. Все, кроме Сергея и Наташи, уже помылись, напились чаю и уселись смотреть телевизор. Сергей с Наташей пошли в баню.

Сергей. Баня уже остыла.

Наташа. Наоборот, прогрелась. Сейчас она теплая, а не жаркая.

Сергей. Как ты прям... Сыро... Уже не попаришься как следует.

Наташа. Ненавижу париться! Видела, как сосед напарился — под руки уволокли. Ненавижу пьянки!

Сергей. Я вообще не пойму, есть что-то, что ты не ненавидишь? Афоня пива перепил, вот ему плохо и стало... А я люблю попариться!

Наташа. Не переживай, припарка тебе будет! Но не думаю, что тебе понравится.

Сергей. Решилась попробовать что-то новенькое?

Н а т а ш а. Отстань! Это не я решила.

С е р г е й. Сухарь!

Н а т а ш а. Зато у вас в семье все такие мягкие! Как пряники!

С е р г е й. Злюка!

Н а т а ш а. Не лезь, говорю! Не сейчас!

С е р г е й. У тебя все время отговорки.

Н а т а ш а. Хочешь безотказную найти, как твой брат?

С е р г е й. Умеешь ты испортить настроение.

Н а т а ш а. Мне сегодня весь день портили настроение. И ничего!

С е р г е й. Кто? Кто и что тебе испортил? Ты сама кого хочешь доведешь!

Н а т а ш а. Я-то? Семен Федорович такое придумал, что всем вам мало не покажется!

С е р г е й. Что-то у матери узнала? Выкладывай! Вижу уже, как тебя распирает.

Н а т а ш а. Ваш папаша решил строить оперный театр!

С е р г е й. Спятила?

Н а т а ш а. Я? Я не собираюсь театр строить. Мне бы дожить, когда мы дом достроим...

С е р г е й. Какой театр?

Н а т а ш а. Проблемы со слухом? Оперный! Где поют.

С е р г е й. Где строить?

Н а т а ш а. Думала, не допрешь до этого вопроса...

С е р г е й. Ну?

Н а т а ш а. В деревне.

С е р г е й. В какой деревне?

Н а т а ш а. В его родной деревне! В Шишовке. Шишовский оперный театр!

С е р г е й. Деревни нет давно.

Н а т а ш а. Не было. Нашлись придурки, которые начали ее возрождать на свои кровные.

С е р г е й. И много?

Н а т а ш а. Придурков? Или много восстановили?

С е р г е й. Вообще.

Н а т а ш а. По словам твоей мамы — одиннадцать дворов. Пока не очень много нашлось желающих. Хотя для деревни одиннадцать дворов — это, наверное, даже много. Школа там с библиотекой, медпункт, мастерская... Короче, есть врач, учителя, художник какой-то, который иконы пишет, бабы какие-то, которые ткут... Музей народного творчества создают. Всем в городе надоело. Решили деревню поднимать. Съехались с разных городов, говорит, что даже из Москвы и из Питера есть. Да, у всех семьи многодетные, детишек полно... Почта есть. А главное — сельсовет!

С е р г е й. А родители при чем?

Н а т а ш а. Родителей твоих на родину предков потянуло.

С е р г е й. Они что, ездили туда?

Н а т а ш а. Не один раз.

С е р г е й. И молчат.

Н а т а ш а. Плохо вы своих родителей, оказывается, знаете. Я спросила, что это они почтой интересуются. Твоя мама и рассказала. В деревне этой все совет решает, кто там жить будет, кто какой вклад внести сможет в возрождение местности... Твой отец придумал построить там на свои деньги оперный театр. Говорит, что спеть там за честь считать будут самые знаменитые оперные певцы.

С е р г е й. Это на папу похоже.

Н а т а ш а. Это на дурдом похоже!

С е р г е й. Они что, туда переезжать собрались? Это же у черта на куличках!

Н а т а ш а. Представь себе — да! Ждут письма, когда их позовут...

С е р г е й. Значит, готовы все здесь продать, чтобы уехать в Шиншувку?

Н а т а ш а. Они уже продали гараж и машину. Уже тенге на рубли поменяли! Кажется, на эти деньги им там уже дом строят...

С е р г е й. Дом?

Н а т а ш а. Представь себе! Дом! Как готов будет — им напишут. Чтобы собирались и приезжали... Ненавижу!

С е р г е й. Кого теперь?

Н а т а ш а. Себя ненавижу!

С е р г е й. Удивительно.

Н а т а ш а. Так что все наши разговоры им на дух не нужны! Они уже решили.

С е р г е й. Поверить не могу!

Н а т а ш а. У меня тоже челюсть отпала.

С е р г е й. Надо Вовке рассказать!

Н а т а ш а. Расскажи, конечно. Одним нам развлекаться, что ли... Только не сразу... Я хоть немного выспаться хочу...

С е р г е й. Точно сдурели на старости лет!

Н а т а ш а. Мать твоя вроде не очень хочет уезжать, но она отца не бросит. А Семен Федорович просто очумел от этой идеи. Хочет в жизни еще что-то грандиозное совершить! Это я цитирую.

С е р г е й. Подвигов ему мало... А мы?

Н а т а ш а. Мы будем им гордиться!

С е р г е й. Да мне деньги нужны — дом достроить! Кредит на машину гасить!

Н а т а ш а. Я говорила, не бери этот кредит!

С е р г е й. У меня ж тогда заказов было полно, думал, досрочно рассчитаюсь!

Н а т а ш а. Думал ты... Ненавижу, когда ты меня не слушаешь, а я потом права оказываюсь!

С е р г е й. Надо поговорить с отцом, попробовать переубедить его.

Н а т а ш а. Он уже покупателя на дачу нашел. А квартира вообще влет уйдет!

С е р г е й. Но это же наши деньги, семейные! Отцу бы сроду трехкомнатную не дали, если бы у него двух сыновей не было... И дачу такую... Как можно с нами не считаться?

Н а т а ш а. Плакали теперь ваши денежки!

С е р г е й. А ты-то что злорадствуешь?

Н а т а ш а. Почему бы не позлорадствовать? Вы всегда молились на своего папочку! Как же! Герой! Орденоносец! Спас опытный самолет! Летчик-снайпер! А этот герой на старости лет решил пошутить...

С е р г е й. Знаешь, твоя мамаша тоже своими медальками трясет! Заслуженная труженица! Почетный пенсионер! Ветеран труда! Все ей не так. Делать я, видите ли, ничего не умею... Слова не сказать... Даже шуток не понимает!

Н а т а ш а. Но оперный театр она строить не собирается! После ее смерти мне все достанется...

С е р г е й. Радость-то какая!

Н а т а ш а. Конечно, с вами ей не сравниться! Но в итоге я богаче тебя буду!

С е р г е й. У мужа с женой все общее!

Н а т а ш а. Об этом мы еще подумаем...

Из дома доносятся «Куплеты Мефистофеля» из оперы Гуно «Фауст»:  
«На земле весь род людской...»

## Действие второе

### Сцена первая

Следующий день на даче Шершовых. В саду Л и д и я И в а н о в н а, Валентина И в а н о в н а и В а р в а р а П е т р о в н а нарезают яблоки для сушки. В центре стола — пустой таз, доски для нарезки. Вокруг стоят ведра с яблоками.

В а р в а р а П е т р о в н а. Называется, дочка приехала — в родном доме не побывала. Я ее вчера со Степкой ждала, думала, переночуют у меня. А сегодня бы вместе к вам приехали.

Л и д и я И в а н о в н а. Не обижайся, Петровна, у них времени совсем мало. Сейчас на базар уехали, ребятам что-то прикупить...

В а р в а р а П е т р о в н а. За три дня времени не нашлось...

Л и д и я И в а н о в н а. Они в пятницу уже вечером приехали. Пока умылись, поели — и спать пора. А в субботу Наташа с ребяташками в зоопарк ходила. Надо же культурную программу... Мальчишки на жаре находились... Так мы на речку их сводили... А вечером — баня. Когда ехать? Завтра они аж в пять утра собираются обратно.

В а л е н т и н а И в а н о в н а. В следующий раз, Петровна!

В а р в а р а П е т р о в н а. Я не обижаюсь, но дома-то надо побывать. И потом, так иногда разболеешься, что думаешь: конец... Следующего раза может и не быть!



Лидия Ивановна. Ты говорила, что замок тебе надо поменять на двери. Вот приедут в другой раз, я сразу к тебе их пошлю, пусть помогут по хозяйству. Или, если не терпится, Сеня или Афоня приедут...

Варвара Петровна. Не надо. Что я, замок поменять не найму? Я про дом говорю, родилась она в нем...

Валентина Ивановна. Варя, это мы трепетно к дому, а молодежи это не надо... Вон, мой внучок дом родной в казино проиграл — и как с гуся вода!

Варвара Петровна. Что творят! Не дай бог!

Валентина Ивановна. Если бы не Лида с Семеном — на улице бы жили.

Лидия Ивановна. Не трави душу.

Валентина Ивановна. Наказанье за что-то...

Варвара Петровна. Повезло, что квартира была, что сами живы остались. И Семену, конечно, спасибо, что жить в своей разрешил. Не каждый разрешит, даже и родственникам...

Лидия Ивановна. Да все нормально... А нам не ездить, не проверять, все ли там в порядке.

Варвара Петровна. Сдавать могли... Всё деньги...

Лидия Ивановна. Всех денег не заработаешь. Никогда не сдавали и не собираемся. Светка бы с Володей не уехали — до сих пор бы жили.

Валентина Ивановна. Братья молодцы, друг другу помогают. Вот оба дома строят, оба машины купили. Они и в детстве как ниточка с иголкой... Друг за дружкой все повторяли.

Лидия Ивановна. Доповторялись! Снохи не поладят никак.

Варвара Петровна. Так это Светка скандал учинила, не понравилось ей, видите ли, как ее Наташка приняла... Приехали всем кагалом, с сестрой, с детьми, Наташка их кое-как разместила, поила-кормила! Что ей не понравилось? Ковры не расстелили?

Лидия Ивановна. Ты, Петровна, свою не защищай! Обе хороши!

Варвара Петровна. А кого мне защищать, Светку, что ли? Тебе она сноха, а мне — никто! Конечно, я дочь защищать буду!

Валентина Ивановна. Петровна, не кипятись!

Лидия Ивановна. Я к ним одинаково отношусь.

Варвара Петровна. Ну конечно, одинаково! Вовка чаще приезжает, так ему всего больше перепадает, сама говорила. И денег даете ему больше...

Лидия Ивановна. Сергей-то раньше с Наташей перебрались в Россию... И Сергей на квартиру ссуду получил! А Вовке самому зарабатывать пришлось. Да еще не сразу на работу устроился. Светка надоела с попреками, что она в семье за мужика... Пока участок купил, пока дом строить начал, все время на съемной квартире жили... А Серега, когда дом строить решил, свою квартиру продал, так что капитал на стройку у него был. Мы им тоже помогаем, ты просто не знаешь... Они же оба наши.

В а р в а р а П е т р о в н а. Ссуду эту Наташка выбила! Сереженька бегать не хотел! Это уже потом, как квартиру купили, он обрадовался... Так и квартиру Наташка нашла!

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Что вы сцепились на ровном месте?

В а р в а р а П е т р о в н а. А то, что ровно делить надо!

Л и д и я И в а н о в н а. Хорошо так рассуждать, когда у тебя один ребенок!

В а р в а р а П е т р о в н а. А чего? Бегать надо! И Вовка бы ссуду получил, если бы подсуетился!

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Петровна бы всем ссуды раздала!

В а р в а р а П е т р о в н а. Да, всем! Молодежи помогать надо!

Л и д и я И в а н о в н а. А кто спорит?

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Зато сейчас оба брата рядышком... Оба дома строят!

Л и д и я И в а н о в н а. У них и проекты одинаковые. И бригаду одну нанимают.

В а р в а р а П е т р о в н а. У Вовки-то достроен уже, а у Сереги с Наташкой — без отделки...

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Доделают! Братья — молодцы! Хорошие у вас дети, Лида! А мой внучок все спустил...

Л и д и я И в а н о в н а. А чего Анна не пришла?

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Болеет. Ноги отекли, как у слона... Все из-за болвана этого! Семью бросил, неизвестно где шляется... А правнучка в этом году в первый класс пойдет. Собрать надо девочку в школу...

Л и д и я И в а н о в н а. Поможем...

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Я после ночной, но работы немного было...

В а р в а р а П е т р о в н а. Снова работаешь?

В а л е н т и н а И в а н о в н а. А кто нас кормить будет? В прачечную устроилась. День, ночь работаю, потом два дня дома...

В а р в а р а П е т р о в н а. Тяжело. Ты же на вредном производстве была, пенсия должна хорошая быть.

В а л е н т и н а И в а н о в н а. На Ксюху много тратим...

Л и д и я И в а н о в н а. Да, на детей деньги только так летят! То то, то другое!

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Лишь бы училась хорошо.

В а р в а р а П е т р о в н а. Степке тоже скоро в школу.

Л и д и я И в а н о в н а. Через два года только.

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Не успеете оглянуться.

Л и д и я И в а н о в н а. Тема первый класс хорошо закончил. Но учиться не любит. Только бы на велосипеде гонять... Присмотра-то нет.

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Может, спортсменом будет... Мы своему обалдую ни в чем не отказывали: и велосипед, и компьютер — на! Из последнего вылезали! Анна на двух ставках! А он нас отблагодарил...

Л и д и я И в а н о в н а. Хоть сегодня не грызи себя! Настроения и так нет.



В а р в а р а П е т р о в н а. Опять с переездом пристают?

Л и д и я И в а н о в н а. Да уж решиться надо... Все сказать...

В а р в а р а П е т р о в н а. Не советую. И сама никуда не поеду! Меня Наташка звала, как Коля умер... Нельзя в возрасте никуда уезжать — сразу в гроб!

Л и д и я И в а н о в н а. Светкин же отец уехал — и ничего, живет!

В а р в а р а П е т р о в н а. А Редькины? Только уехали к дочери, в Новосибирск между прочим, — один за другим ушли. *(Вздыхает.)* Соседи мои с четвертого этажа... Все продали, уехали, но даже года не прожили. Нельзя нам уезжать отсюда! Мы уже к нашей радиации привычные! Только сменим — сразу... Дача хорошая у Редькиных была, мы как-то с Николаем, царство ему небесное, заезжали... Усов от клубники набрали... А мне наша дача до сих пор снится.

Л и д и я И в а н о в н а. Ну и что бы ты там одна делала?

В а р в а р а П е т р о в н а. Дешево продали, Наташка поторопила... Кредит какой-то гасить...

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Квартира есть — и радуйся! А с огорода здесь взять можешь...

В а р в а р а П е т р о в н а. Я и купить могу, у меня пенсия хорошая.

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Повезло тебе, Петровна.

В а р в а р а П е т р о в н а. Не повезло, а заработала!

Л и д и я И в а н о в н а. Что-то Наташи с ребятами долго нет. Обещали к обеду вернуться.

В а р в а р а П е т р о в н а. Так ужинать пора уже. Я с пирогами... С семгой.

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Ой, Петровна, у меня уж слюни потекли.

Л и д и я И в а н о в н а. Подождем внуков-то. Потерпите?

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Я только и делаю, что терплю...

Входит Семен Федорович.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Петровна, иди-ка сюда!

В а р в а р а П е т р о в н а. Я яблоки режу.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Подождут!

Л и д и я И в а н о в н а. Не мешай работать!

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Давай, Петровна! Шевелись!

Варвара Петровна идет за Семеном Федоровичем.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Вот ты говорила, что мы винограда не дождемся! *(Показывает на шпалеры, с которых свисают крупные гроздья винограда.)* Смотри!

В а р в а р а П е т р о в н а. Батюшки, а я не заметила.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Так ты в землю смотришь! А надо в небо!

В а р в а р а П е т р о в н а. Ну, Семен, удивил! А попробовать-то можно?

Семен Федорович. Сейчас я тебе веточку срежу.

Варвара Петровна (*присматривается*). Семен, так они привязанные... (*Кричит.*) Вы гляньте, что придумал! Магази́нный виноград привязал и говорит, что это у него поспел!

Семен Федорович. Да пошутил я...

В сад вбегают Темка и Степка. За ними идет Наташа.  
Варвара Петровна целует дочь.

Наташа. Мам, ну хватит! Степа, поцелуй бабушку!

Степка подбегает к Варваре Петровне.

Лидия Ивановна. Степа, ты бабу Варю узнал?

Варвара Петровна. Конечно, узнал! Большой какой уже!

Лидия Ивановна. Есть хотите?

Темка. А сливы можно?

Наташа. Только мойте!

Валентина Ивановна. Я своим слив возьму?

Лидия Ивановна. Бери — не жалко! Бросайте работу! Пойдемте в дом!

Темка. Я виноград хочу! Дед, срежь мне виноград!

Варвара Петровна. Ой, виноград! Дед ваш магазинный виноград привязал...

Темка. Ну и что? Дед шутит!

Лидия Ивановна. Сеня, намой чашку винограда. Руки мойте и — обедать! Или ужинать...

Семен Федорович отцепляет виноград, моет и поет арию графа Орловского из оперетты Штрауса «Летучая мышь»: «Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад...»

## Сцена вторая

Все присутствующие на даче собрались за столом.

Лидия Ивановна. Мальчишки, ешьте! Не ждите никого. Обед пропустили.

Темка. Мы в кафе заходили.

Варвара Петровна. Чем там накормят? Ерунда какая-нибудь.

Степка. Я чипсы ел.

Варвара Петровна. Я же говорю — гадость.

Наташа. Степа любит чипсы.

Семен Федорович. Степа, а что ты больше любишь: чипсы или котлеты?

Степка. Котлеты.

Темка. И я котлеты!

Лидия Ивановна. Вот и ешьте!



Н а т а ш а. Хорошо, когда весь день дома, можно и котлет наготовить... С моей работой готовить некогда.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Ты что, президент?

Н а т а ш а. Очень остроумно!

В а р в а р а П е т р о в н а. Доча, да их делать недолго. Заранее можно — и заморозить. А надо — взял!

Л и д и я И в а н о в н а. Сейчас и фарш хороший продают.

В а л е н т и н а И в а н о в н а. И готовые.

В а р в а р а П е т р о в н а. Я сама фарш кручу.

Н а т а ш а. Ненавижу фарш крутить. Времени и так нет. Я вот даже к Соне не зашла, только по телефону поболтали.

В а р в а р а П е т р о в н а. Домой не зашла — вот что обидно! К подружке — второе дело!

Л и д и я И в а н о в н а (внукам). Ешьте, мои голодненькие!

С е р г е й. Не голодные они, мама.

Л и д и я И в а н о в н а. Ладно, не голодные...

С т е п к а. Я голодный, ба...

Т е м к а. Я уже наелся...

Л и д и я И в а н о в н а. Сегодня спать пораньше ложитесь! Завтра в пять часов вставать — и поедем.

Т е м к а. А что так рано?

В л а д и м и р. Чтобы приехать не поздно.

С т е п к а. В машине поспать можно.

Т е м к а. Я не могу спать в машине.

В а р в а р а П е т р о в н а. Когда домой-то заедешь?

Н а т а ш а. В следующий раз!

В а р в а р а П е т р о в н а. Когда этот следующий раз будет?

С е р г е й. Может, в конце сентября...

Л и д и я И в а н о в н а. Как раз урожай поспеет.

В а р в а р а П е т р о в н а. Ладно, подождем.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Жди, Петровна! У тебя теперь работа такая — ждать.

В а р в а р а П е т р о в н а. Работы много. Сил не хватает все переделать. Глазами бы все сделала...

Л и д и я И в а н о в н а. Что тебе делать? У тебя в квартире — как в отеле!

В а л е н т и н а И в а н о в н а. И то правда! По два раза в год ремонт делаешь... Дольше убираешь потом.

В а р в а р а П е т р о в н а. Не могу я в грязи жить.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Нет, Петровна, это тебе время убить надо.

В а р в а р а П е т р о в н а. И это тоже. Одной-то не сладко.

Н а т а ш а. Ладно тебе, мам...

В а р в а р а П е т р о в н а. Да я что... Я вам гостинцы привезла. (Шепчет на ухо Наташе.) Я деньги собрала... Купишь что надо...

Н а т а ш а. Хорошо... Потом... Тема, Степка, вы поели?

С т е п к а. Я сок хочу томатный.  
 Т е м к а. А я — яблочный.  
 Л и д и я И в а н о в н а. Сейчас...  
 В л а д и м и р. Идите, поиграйте немного в игры.  
 Н а т а ш а. Но чтобы спать по первому слову!

С т е п к а и Т е м к а, дружно кивнув, уходят в другую комнату.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Нашли чему радоваться! Компьютеру!  
 Подрастут — не оторвете...

В а л е н т и н а И в а н о в н а. Этот компьютер — зло! По своему  
 внуку-балбесу знаю! Все с игр начиналось!

В а р в а р а П е т р о в н а. Придумали же... В наше время книжки  
 да шахматы...

Л и д и я И в а н о в н а. Ты, что ль, Петровна, в шахматы играла?  
 Или книжки читала?

В а р в а р а П е т р о в н а. Я одни инструкции читала! Но дочку-то  
 выучила!

В л а д и м и р. И мы выучим. Сейчас время другое. Информацион-  
 ное.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Вы хоть бы здесь им компьютер не дава-  
 ли. Пусть в футбол играют, плавают, загорают. Книжки читают!

Л и д и я И в а н о в н а. И то верно! У себя разрешайте, ладно, раз  
 привыкли, а здесь пусть отдыхают.

Н а т а ш а. Скоро сюда приезжать не будем...

В а р в а р а П е т р о в н а. Как это?

С е р г е й. Вы теперь к нам приезжайте!

В а р в а р а П е т р о в н а. Приеду на Степкин день рождения.

С т е п к а (*кричит из другой комнаты*). Еще не скоро!

Л и д и я И в а н о в н а. Ушастый какой...

Н а т а ш а. Да, мама, к нам теперь приезжай! Так или нет?

В а р в а р а П е т р о в н а. Мне уже трудно, часто не наездишься.  
 Последний раз, когда на твой день рождения, еле в автобус забралась,  
 люди подсаживали. Так ногу прихватило...

Н а т а ш а. Что молчите, Семен Федорович?

С е м е н Ф е д о р о в и ч. А что говорить?

Н а т а ш а. Расскажите, что вы задумали?

В а р в а р а П е т р о в н а. Решили, значит, уехать... Жалко. Но к  
 детям и внукам поближе. Все, Валентина, закончатся наши воскресные  
 посиделки. Не с кем будет песни петь!

Л и д и я И в а н о в н а. Рано или поздно все кончается.

В а л е н т и н а И в а н о в н а. И с квартирой решили?

Н а т а ш а. Вы бы сказали, что в Шишовку уезжаете!

В а р в а р а П е т р о в н а. Куда? Лида, вы сдурели, что ли?

В л а д и м и р. Наташа, ты что говоришь? Папа! Мама! Что она  
 такое говорит?



Семен Федорович. Правду она говорит. Только раньше времени.

Варвара Петровна. Вы в своем уме?

Валентина Ивановна. Шишовки нет давно, трубы печные остались... Руины!

Степка (*кричит*). А что такое руины?

Лидия Ивановна. Степка, ты уши не развешивай, не подслушивай разговоры взрослых!

Степка. Так наушники-то одни! Тема первый играет, наушники у него... А мне что делать? Я и слушаю.

Лидия Ивановна. Почитай книгу!

Степка. Я плохо читаю.

Лидия Ивановна. Тогда телевизор посмотри. Давай я тебе хорошую передачу найду. (*Уходит в комнату к внукам.*)

Варвара Петровна. Да... Не ожидала.

Наташа. Никто не ожидал.

Владимир. Папа, а чего это ты за всех решил?

Семен Федорович. Не за всех, а за себя. Мы с Лидой так решили.

Владимир. Но так дела не делаются! Мы приехали решать семейные вопросы, а вы за нашей спиной свое гнете.

Семен Федорович. Что-то я не пойму, сынок...

Владимир. А то, что надо на семейном совете решать, кто куда поедет... Или не поедет.

Семен Федорович. Мы пока из ума не выжили, сами с мамой в состоянии решить.

Владимир. По вашему решению непонятно, в здравом ли уме...

Валентина Ивановна. Лида, где ты там, куда убежала? Это правда? В Шишовку собрались? Да что же это? А дача как же? А квартира?

Наташа. Они уже гараж и машину продали.

Владимир. Как продали? Когда?

Входит Лидия Ивановна.

Лидия Ивановна. Не на край же света уезжаем... Так еще и не уезжаем...

Владимир. Отец, ты машину и гараж продал?

Семен Федорович. Ну продал.

Владимир. А за сколько?

Семен Федорович. Какая разница?

Владимир. Как это? И где деньги?

Лидия Ивановна. Я вам в прошлый раз по пятьдесят тысяч дала. И в этот...

Владимир. Это же копейки!

Семен Федорович. Копейки, значит...

Лидия Ивановна. Сынок, сколько решили, столько и выделили. Мы же не миллионеры.

Варвара Петровна. А правда, за сколько продали?

Владимир. Сколько у вас осталось, после того как вы нам по сто тысяч выделили?

Семен Федорович. Почти нисколько. Мы заплатили за строительство дома в Шишовке.

Владимир. Ловко ты семейными деньгами распоряжаешься, папа. Хочу дом в Шишовке! А нас ты спросил, хотим мы строить в этой Шишовке дом?

Семен Федорович. Что-то я не помню, чтобы я спрашивал вас, строить ли нам дачу, покупать ли машину, гараж...

Владимир. Машину тебе в армии выделили, место под гараж тоже, я-то помню... А квартиру ты тоже продашь?

Семен Федорович. Надо будет — продам! Больно памятливый... Да не с того конца...

Варвара Петровна. Да вы что? Сдурели?

Владимир. Надо бы и наше мнение узнать! Сергей, чего молчишь?

Сергей. Да, папа, квартиру на всех давали...

Семен Федорович. А записана на меня. Вы проживали в ней. Но не захотели жить! Вас в большие города потянуло! В Россию! Там вам круче показалось. Здесь провинция! Захолустье! Не ваши ли слова? И квартира не нужна была, киселя поехали хлебать! Ладно, хорошо, это я понимаю, сам молодым был, хотел махнуть подальше от родителей... Но чего вдруг вы решили теперь делить квартиру?

Сергей. Мама, а чего же вы про Шишовку молчали, когда мы вас уговаривали переезжать под Новосибирск?

Лидия Ивановна. Да еще непонятно... Письма ждем, как там что. Рано ты, Наташа, разговор этот начала. Знала бы, не сказала тебе...

Наташа. Кто-то оперные театры строить решил, а я виновата?

Валентина Ивановна. Лида, какой театр?

Варвара Петровна. Ой, сдурели!

Наташа. Люди с жиру бесятся!

Владимир. Так... Дурдом! Мы их в новые полдома переселить хотим, Светка уже задаток внесла...

Сергей. А Светка при чем? И здесь навариться хочет?

Семен Федорович. Оккупация... Оккупанты!

Лидия Ивановна. Сеня!

Сергей. Папа, ты про кого это?

Семен Федорович. Про детей.

Владимир. Про нас? Это мы, стало быть, оккупанты?

Валентина Ивановна. Бог с тобой!

Семен Федорович. Молодое поколение.

Владимир. То есть — мы?

Семен Федорович. Значит, и вы.

Темка. Ба, а кто это такие — оккупанты?



Лидия Ивановна. Тише вы! Внуки все слышат! (Уходит в другую комнату и закрывает дверь.)

Варвара Петровна. Да вы чего?

Наташа. А я что говорила?

Семен Федорович. Сбежала, значит... (Вздыхает.)

Наташа. Это вы сбежать собрались!

Варвара Петровна. Семен, ты же умный мужик! Что ты затеял? О детях и внуках ты подумал?

Валентина Ивановна. Хоть Лиду пожалей!

Владимир. Ну и что это за новая теория про оккупантов?

Семен Федорович. Ничего нового здесь нет... Это теория нашествия. Я еще в летном училище слышал, а понял только сейчас.

Сергей. И как ты эту теорию к нам применил?

Семен Федорович. Если к гражданским... Каждое следующее поколение недовольно тем, как живет, что делает предыдущее. Дети критикуют все, что делают родители. Как будто дети умнее. А родители из ума выжили. Накопили всего, а не делят или делят неправильно. Вот мы знаем, как надо! И начинается нашествие... Захватить, поделить, выселить... Оккупация.

Владимир. Так ты, значит, толкуешь наше предложение переехать в Новосибирск?

Семен Федорович. А вы нас спросили, чего мы хотим? О чем мы мечтаем? Или нам уже это не положено, по-вашему?! Вы знаете, что у ваших родителей за душой? Вам это — ненужная информация! Вы-то знаете, как и что! А что мать стихи пишет, вы знаете?

Сергей. Мама...

Валентина Ивановна. Хорошие стихи! Я переписываю, Анне читаю, так и поплачем когда...

Владимир. Новость.

Варвара Петровна. А я салфетки крючком вяжу...

Сергей. Это все знают.

Наташа. Мама, нам больше не надо, у меня в интерьере скандинавский стиль... Минимализм.

Варвара Петровна. Это на память.

Валентина Ивановна. А мы с Анной тарелки разрисовываем. Ак Новому году я продам на подарки... Вам подарю!

Семен Федорович. Им это не надо. Им деньгами лучше.

Владимир. А вы договор какой-нибудь составили на строительство дома?

Семен Федорович. Нет.

Варвара Петровна. Да вы что! Это вы маху дали! Разве можно без договора?

Сергей. А если обманут?

Семен Федорович. Значит, обманут.

Владимир. Как у тебя все просто, отец! Отдал семейные деньги неизвестно кому, а своим — фигу под нос! Мы перед тобой распинаемся, а ты чужим людям запросто денежки подарил.

Варвара Петровна. Да...

Валентина Ивановна. А сколько денег?  
 Семен Федорович. Чужие люди, как ты говоришь, твоим родителям дом строят...  
 Владимир. Это на воде вилами писано!  
 Варвара Петровна. Ехали бы лучше к детям...  
 Валентина Ивановна. Я от вас не ожидала... Наш внук — балбес, но вы... Нельзя так легкомысленно...  
 Семен Федорович. Подождем. Время рассудит.  
 Владимир. Не ждать, а ехать надо! В Шишовку эту. Если что — в суд подавать.  
 Наташа. Вы не завтра, надеюсь, ехать собрались?  
 Владимир. Успокойся, Наташа, не завтра. Но в следующий раз... Сергей, настраивайся.  
 Сергей. Надо — съездим. Без вопросов!  
 Наташа. Только без меня.  
 Владимир. Вот и славно.  
 Наташа. Ненавижу.  
 Варвара Петровна. Снова, значит, домой не приедешь...  
 Наташа. Мама, ну о чем ты?  
 Варвара Петровна. Да ладно... Чего ты злишься?  
 Семен Федорович. Дня два надо только на дорогу. Самолеты туда не летают пока.  
 Владимир. Ничего, выкроем!  
 Сергей. Не пугай нас!  
 Лидия Ивановна (*за дверью читает внукам стихи*).

Я лечу над зоопарком,  
 Приземляться не хочу.  
 Мне удобнее на небе  
 За зверями наблюдать.  
 Гляну я в глаза жирафу:  
 Что ты ешь-жуешь, жираф?  
 Где тут северные звери?  
 К ним слетать охота мне.  
 Вижу лис, лошадок, уток —  
 Можно руку протянуть.  
 В клетке зверю очень тесно,  
 Поздороваться нельзя!  
 Я летаю, напеваю,  
 Веселюсь, как паровоз.  
 Звери думают, я — муха,  
 Надоела им совсем.  
 Я летаю так полгода,  
 Приземляться не хочу.  
 Так удобно мне на небе,  
 Но заправиться пора!

Темка и Степка хлопают в ладоши.

### Сцена третья

Раннее утро понедельника. Мальчишки сонные стоят возле машины вместе с бабушкой и Наташей. Владимир, Сергей и Семен Федорович носят из дома сумки, пакеты, банки.

Лидия Ивановна. Вова, укутай банки! Там стекла мало, капроновые в основном, но все равно...

Сергей. Стекланные надо отдельно.

Владимир. Надо было сразу по большим сумкам расставить, что мне, что Сергею.

Семен Федорович. Разберетесь, как доедете, не подеретесь, поди.

Наташа. Не подеремся.

Владимир. И все-таки, отец, ты подумай...

Семен Федорович. Подумаю.

Степка. Ба, поехали с нами!

Лидия Ивановна. А на кого же я деда оставляю?

Темка. А зачем его оставлять? Он тоже поедет.

Лидия Ивановна. Он не захочет.

Степка. А ты его усыпи, а когда он уснет, мы его увезем.

Лидия Ивановна. Не получится. В другой раз...

Степка. Почему в другой?

Сергей. Потому что мы все в машину не войдем.

Темка. Тогда в другой раз надо на двух машинах ехать.

Степка. Да! И бабушка с дедушкой войдут!

Владимир. Они пока не хотят к нам ехать.

Степка. Бабушка хочет! Скажи, ба!

Лидия Ивановна. Куда я без деда?

Степка. Мы тебя к себе возьмем жить! А деда Темке отдадим.

Темка. Хитрый какой! Чтобы только тебе вкусенькое готовили?

Семен Федорович. Вот как! Дед, значит, вам не нужен?

Степка. Нужен...

Темка. Мы меняться можем...

Лидия Ивановна. Это еда! В салон!

Наташа. Сок мальчишкам налили?

Лидия Ивановна. В бутылках пластиковых. Не перепутаете, где томатный, где яблочный?

Темка. За кого ты нас принимаешь?

Семен Федорович. Ты глянь...

Степка. Не перепутаем!

Лидия Ивановна. Наташа, ты маме будешь звонить?

Наташа. Вчера попрощались, чего ни свет ни заря трезвонить?

Позвоните попозже, что все нормально, уехали...

Семен Федорович. А все нормально?

Наташа. А мне-то что...

Владимир. Ну все, давайте садитесь!

Темка. Я на переднем сиденье хочу!  
 Владимир. Вы с Наташей — на заднем.  
 Темка. Там тесно!  
 Лидия Ивановна. Ничего, доедете, тут недалеко.

Лидия Ивановна обнимает внуков, сыновей, невестку.  
 Семен Федорович стоит молча.

Сергей. Папа, ну, пока...  
 Семен Федорович. Не обижайтесь на меня...  
 Владимир. Но ты все же подумай! И держи нас в курсе! Если письмо придет... Короче! Вам многие вещи не понадобятся. Если что, мы к себе перевезем... Нам все пригодится. Не раздавайте! Папина щедрость нам уже известна...

Лидия Ивановна. Ой, езжайте, а то скоро жарко станет.

Сергей. Пока, мама.

Лидия Ивановна. Давайте, хорошей дороги!

Темка. Наушники забыл!

Сергей. Сиди, я схожу! *(Уходит в дом.)*

Лидия Ивановна. В зеркало погляди и за дерево подержись!

Семен Федорович. Больше никто ничего не забыл? Чтоб не возвращаться...

Владимир. Если что и забыли — в другой раз заберем.

Возвращается Сергей.

Лидия Ивановна. Ну, с богом!

Машина отъезжает, дети отчаянно машут руками. Лидия Ивановна и Семен Федорович со слезами на глазах провожают родных.

Семен Федорович. Ставь чайник.

Лидия Ивановна. Ты ставь чайник, я клубники наберу...

### Сцена четвертая

День тот же. Семен Федорович сидит на крыльце.

Лидия Ивановна подвязывает помидоры.

Лидия Ивановна. Руки как крюки...

Семен Федорович. Далась тебе эти помидоры.

Лидия Ивановна. Смотри, урожай какой в этом году! Крупные, на земле уже лежат!

Семен Федорович. Пусть себе лежат. Быстрее покраснеют.

Лидия Ивановна. И погниют быстрее.

Семен Федорович. Не сгниют... Не успеют.

Лидия Ивановна. Есть хочешь?

Семен Федорович. Нет.

Лидия Ивановна. Не придет уже... Завтра теперь.

Семен Федорович. Подожду еще. Если пенсии разносит, то дольше. Ты иди, готовь пока...

Лидия Ивановна. Сеня, а может, правда, будем жить как жили?.. Все здесь обустроено. Квартиру продадим — деньги детям разделим. Молодым сейчас тяжело...

Семен Федорович. А сестру куда денешь? Снова на улицу, как внук выставил?

Лидия Ивановна. Мы ей деньгами поможем. Она полдома присмотрела. Плохонький, но свой. А она постепенно рассчитается.

Семен Федорович. Скорее, их внук снова рассчитает...

Лидия Ивановна. А кто на него оформит? На Ксюху оформят. А пока ей 18 лет не исполнится, никто ничего с этим жильем сделать не сможет. Валя узнавала.

Семен Федорович. Ну-ну...

Лидия Ивановна. Сеня, может, не поедет?..

Семен Федорович. Опять в кусты?

Лидия Ивановна. Да я во всем тебя поддерживаю!

Семен Федорович. Знаешь, Лида, я ведь на том опытном самолете как раз над нашими родными местами пролетал. Мне уже и команду дали катапультироваться! А внизу, далеко подо мной, Шишовка, Каменка ваша, Знаменское, Боровое... Бывшие... Головой понимаю, что никого там нет, что деревень этих давно нет, а все же в мозгу сверлит: а вдруг? Дачники какие-нибудь... Вдруг кто-то поселился? Места-то красивые! А тут крушение! Тогда точно — мертвое место! Я про опытный самолет и не думал... Просто подальше увести хотел. С вами уже мысленно попрощался со всеми... А потом и самолет выправился, и до базы дотянул. Зря это, что ли?

Лидия Ивановна. Ну уж хватит хорохориться! Мы уже немощные! А ты — театр строить! Смешно! И стыдно.

Семен Федорович. А мне не смешно! Стыдно, что ты так заметалась... Всегда, как решение принять, мечешься! Если хочешь к детям — переезжай! А я в Шишовку!

Лидия Ивановна. Надо еще раз все взвесить, чтобы по-человечески. Чтобы дети нас добрыми словами вспоминали!

Семен Федорович. Да они тебе в ножки кланяться должны, что ты их родила, выходила, сберегла в детстве...

Лидия Ивановна. Старые времена, что ли, — в ножки кланяться?

Семен Федорович. Вот и плохо, что не старые, что семья для молодежи — наследство! Родителей никто не слушает, зато какой-нибудь дурак, менеджер или риэлтор, — лучший друг, если им задницу лижет...

Входит Афанасий, приветственно жмет руку Семену Федоровичу.

Лидия Ивановна. Афанасий, ты бутылки свои когда заберешь?



А ф а н а с и й. Так за ними и пришел.

Л и д и я И в а н о в н а. Чем Лариса занимается?

А ф а н а с и й. На базар уехала. Проводили, значит...

Л и д и я И в а н о в н а. Проводили...

А ф а н а с и й. Слышал, молодежь ругает. Своих, что ли?

Л и д и я И в а н о в н а. Наши не лучше и не хуже...

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Да ну их... Я вообще ни про кого не собирался говорить... Почтальона не встретил?

А ф а н а с и й. Нет. А шумел чего тогда? Я с улицы услышал.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Афанасий, у тебя мечта есть?

А ф а н а с и й. Как не быть, есть. С сыновьями помириться.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Ну это понятно. А еще?

А ф а н а с и й. В смысле, по хозяйству что-то сделать?

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Не знаю, может, и по хозяйству...

А ф а н а с и й. Так дел полно! Скамейку Лариска просит отремонтировать. Дорожки выложить...

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Не то! Ну о чем-то же ты мечтаешь, когда утром просыпаешься, когда спать ложишься? Или день прошел — и ладно? Неужели в душе никакой задумки не держишь, чтобы людей вокруг порадовать? Или хоть Лариску...

А ф а н а с и й. А зачем же я бутылки собираю? Это же на фонтан! Фонтан сделать хочу, чтобы и шумел, и прохлада... Вы только Лариске не проболтайтесь! Хочу сюрприз чтобы был... Она думает, что я для кур... Сказал, что загон для кур сделаю перед домом... А сам уже все рассчитал, чертеж у меня есть... Бутылки мне для основания нужны! Стекло переливаться будет, играть на свету...

Л и д и я И в а н о в н а. А какой сам фонтан будет?

А ф а н а с и й. Да простой. Чаша с бьющим родничком, вода из чаши сливается в основание, как бы... ниспадает... И циркулирует при помощи насоса. В инструкции написано так. Лепить-то я не умею, а то бы какую-нибудь скульптуру вылепил.

С е м е н Ф е д о р о в и ч. А где чашу возьмешь?

А ф а н а с и й. А я купил на барахолке... Мраморную... И механизм... Мужик какой-то продавал фонтан, а я купил. Лариска думала, что я деньги пропил! Я обмыл, конечно, такую попку, но Лариске ни слова не сказал! Так что и вы молчите пока!

Л и д и я И в а н о в н а. Неужели, Сеня, ты бы без меня уехал?

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Думал — с тобой...

А ф а н а с и й. Стало быть, уезжаете... Ну добро...

Л и д и я И в а н о в н а. Не знаю, хочу ли я...

А ф а н а с и й. Лида, да как же врозь? Ты чего? Столько лет вместе прожили и вдруг — врозь?

Л и д и я И в а н о в н а. Да ведь внуков не увидим...

С е м е н Ф е д о р о в и ч. Я вот за это совсем не переживаю. Устроиться не успеем, как приедут, вот увидишь!

Л и д и я И в а н о в н а. Не знаю... Далеко...



Семен Федорович. Не край же света.

Афанасий. А вы про что говорите? Не пойму...

Лидия Ивановна. Это же сколько сил надо — все заново начинать?

Семен Федорович. А что заново? Дом будет! Хозяйничай как хозяйничала! Подвязывай помидоры!

Лидия Ивановна. А театр кто строить будет?

Семен Федорович. Не ты же!

Лидия Ивановна. А кто?

Семен Федорович. Бригада...

Лидия Ивановна. А кормить эту бригаду надо?

Семен Федорович. Кормить — ты.

Афанасий. Так вы, это, куда уезжаете?

Семен Федорович. На родину свою едем, Афанасий, в деревню Шишовку. Деревня наша возрождается на Алтае, вот мы туда и поедем.

Афанасий. Ну... Удивили! А что это вы про театр говорили?

Лидия Ивановна. Семен там театр строить будет. Оперный! Где поют.

Семен Федорович. Не обязательно, можно и спектакли ставить. Кружки, студии всякие...

Афанасий. Театр — это хорошо. Это мне нравится. Сеня, кто ж в деревню поедет петь? Какие артисты?

Семен Федорович. Был бы театр! Мне один режиссер знакомый говорил, что место, где нет театра, не развивается. Так что и в деревне театр нужен.

Лидия Ивановна. Оперный?

Афанасий. А что? Для начала детишки петь будут хором. Как мы в школе пели. Сейчас-то этого нет. А я все песни помню! А в армии как мы пели? Если бы нынешняя молодежь такие песни пела, разве бы они такие были? Мешок соплей! Или есть же бабки поющие, а тут вся деревня поющая будет. Семен все организует! Сам запевай!

Лидия Ивановна. Ладно, певцы, пойдете обедать!

Афанасий. Сеня, давай мою любимую!

Семен Федорович поет, Афанасий подхватывает: «Прощай, любимый город!  
Уходим завтра в море. И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой...»

## Сцена пятая

Раннее утро. Лидия Ивановна одна в доме.

Лидия Ивановна. Богородица, смилуйся! Спаси, сохрани и помилуй Семена! Дай пожить ему еще! Ведь страдает из-за каких-то бандитов... Помогите, Господи! Ему бы из комы выйти, а там он сам выкарабкается... Он крепкий. Подкрепи его, Матушка! Прощу! Дела еще

во славу Господа задумывал... Кто еще поможет? Кто заступится, кроме Тебя? Много я молитв Тебе слала... Почти каждый день за сыновей молила, чтобы все у них в порядке было, чтобы здоровы были, чтобы со всеми долгами рассчитались. Молила невесток вразумить, чтобы семьи не рушили. За внуков... Но Ты пока Семену помоги, ему в первую очередь! Потом уже нас, грешных, вспомни. Семену! Сеня, он в Бога верит! Не смотри, что летчик! Он только молиться не умеет, он как-то по-своему молится. А так... любит Тебя, Тебя и Сына Твоего, не сомневайся! Не забирай его, Господи, оставь пока нам, мы его выходим... Много хорошего он еще сделает. Только бы жил! Как без него? Без него все развалится, все... Богородица, на Тебя одну теперь надежда...

### Сцена шестая

Лидия Ивановна сидит за накрытым столом. Входит Афанасий.

Афанасий. Здравствуй, соседка! Все открыто у тебя...

Лидия Ивановна. Дети должны приехать... Детей жду.

Афанасий. А... В ящике у вас письмо. Вот, я прихватил.

Лидия Ивановна. Пришло...

Афанасий. Его Семен ждал?

Лидия Ивановна. Пришло бы раньше, может, и не случилось бы этого.

Афанасий. Все в коме?

Лидия Ивановна. Зачем-то на почту пошел... Говорила ему: чего ходить? Пришло бы — принесли. «Проверю, — говорит, — может, затерялось». Вот и проверил. Теперь все затерялось...

Афанасий. Эти, которые напали на него, думали, наверное, что он пенсию получил. Это так мы с Лариской решили... Письмо-то не будешь читать?

Лидия Ивановна. Семену отнесу, ему письмо.

Афанасий. Врачи не говорят, сколько он еще в беспмятстве будет?

Лидия Ивановна. Делают все, что нужно. Сейчас одна надежда — на Господа!

Афанасий. Молись, Лида, молись, это правильно. Это никогда не помешает! Пишут вам, значит, зовут, наверное... Как вы дальше?

Лидия Ивановна. Как дальше? Кто же знает сейчас, как дальше?! Что ты вопросы дурацкие задаешь?

Афанасий. Просто не знаю, что и сказать...

Лидия Ивановна. Молчи тогда. Хочешь, вон, поешь. Чай еще не остыл.

Афанасий. А ты будешь?

Лидия Ивановна. Нет, я ребят подожду.

Афанасий. Едут, значит... А в больницу всех пускают?

Лидия Ивановна. Пока только близких... По одному...

А ф а н а с и й. Вот, Семен Федорович, озадачил ты нас...

Л и д и я И в а н о в н а. Выпьешь?

А ф а н а с и й. Если нальешь...

Л и д и я И в а н о в н а. Коньяк будешь?

А ф а н а с и й. Это с удовольствиючком!

Лидия Ивановна выставляет из буфета бутылку коньяка.

Афанасий наливает себе и ей.

Л и д и я И в а н о в н а. За Семена!

А ф а н а с и й. За твое выздоровление, Семен Федорович! (*Чокаются, пьют.*) Все хорошо, Лида, будет! Не может Семен дать маху! Не такой он мужик! Крепкий он!

Л и д и я И в а н о в н а. Крепкий-то крепкий...

А ф а н а с и й. А я тебе говорю — выдюжит! Наливай!

Л и д и я И в а н о в н а. Я не буду больше.

А ф а н а с и й. А я за нашу медицину выпью! Пусть покажет, на что способна! (*Наливает и выпивает один.*)

Л и д и я И в а н о в н а. Закуси, Афанасий.

А ф а н а с и й. Неправильно, нечестно получается! Столько всего задумал — и в кусты! Нет, товарищ полковник, не годится! (*Наливает себе еще, выпивает.*)

Л и д и я И в а н о в н а. Афоня, не пей больше, развезет на весь день!

А ф а н а с и й. Каждый день должен смысл иметь! Чтобы чувствовать, что не зря ты его прожил... Так Семен говорил.

Л и д и я И в а н о в н а. А Лариска тебе другое скажет.

А ф а н а с и й. Не скажет. Как с Семеном случилось, она мне даже работать долго не дает. «Загнешься, — говорит, — а я что одна без тебя делать буду...» Не скажет... (*Наливает очередную рюмку.*) Ну, за любовь!

Л и д и я И в а н о в н а. Шел бы ты домой, Афанасий. Скоро мои подъедут.

А ф а н а с и й. Сейчас пойду, вот только на посошок... (*Наливает, долго смотрит на рюмку.*) Не годится так со службы уходить! Кому-кому, но не Семену! С песней надо! С оркестром! «Прощание славянки»! Как грянет! Чтоб до небес! Чтоб во все уголки! Самые глухие! До Шишовки вашей! Чтоб так проняло! До космоса!

З а н а в е с.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ  
Сергей СОЛОВЬЕВ

## ДУЧЕ

Главы из книги

*В издательстве «Молодая гвардия» готовится к выходу в свет книга Геннадия Прашкевича (Новосибирск, Россия) и Сергея Соловьева (Тулуза, Франция), посвященная одному из самых известных диктаторов XX в., создателю фашизма — Бенито Муссолини. События, в которые мы все сегодня вовлечены, заставляют внимательно всматриваться в мировую историю, которую некоторые слишком активные деятели пытаются переписывать. Но переписать историю нельзя. Авторы книги «Дуче» глубоко убеждены в том, что общими усилиями тень фашизма будет все же рассеяна. В главах, любезно предоставленных нашему журналу авторами и издательством, освещены годы, когда Муссолини уже пришел к власти и пытается реализовать свои многочисленные идеи.*

### Глава девятая.

#### «Вы, Ваше Превосходительство, такой великий...»

##### 1.

Муссолини часто вспоминает родителей.

Он жалеет о том, что они не дожили до триумфа.

Он строил фашизм (свой фашизм), не являясь, в сущности, теоретиком. Как всякий прагматик, он отталкивался от того, что видел в данный момент, какой информацией владел, и не боялся менять свои взгляды, часто — кардинально. Даже личное обаяние Муссолини отличалось только ему присущими особенностями. Встречаясь с дуче, люди попадали под его обаяние, но реальные обстоятельства очень скоро искажали создаваемый им образ. Что скрывалось в его душе, что пряталось в глубине его выпуклых глаз?

Выступая с балкона палатцо Венеция, дуче выглядел резким, решительным, но эта резкость его, решительность соответствовали конкретному моменту, а не тому, что творилось (или могло твориться) в его душе. Каким же он был там — внутри?

Благодаря случайности (подчеркнем — исторической случайности) у нас есть возможность заглянуть в душу диктатора. Заглянуть и увидеть, услышать то, что долгое время видела и слышала одна-единственная женщина, обещавшая оставаться с ним до смертного часа и (вот еще одна странность) сдержавшая свое обещание.

Мы имеем в виду дневник Кларетты Петаччи, любовницы дуче.

## 2.

С Камилло Ридольфо, учителем фехтования и конюхом, Муссолини каждый день на верховой лошади объезжал луга, окружавшие виллу Торлония. Итальянец, утверждал дуче, всегда — человек почвы, он не должен отрываться от родной земли. В родной Романье Муссолини приобрел большой участок и (возможно, в подражание Кавуру) создал там образцовое хозяйство.

Смотрите и подражайте!

В 1925 г. были перестроены все местные деревеньки вокруг Довиа, проведены новые дороги. Дуче помнил о своем детстве. Оно было несладким, но ведь и он тогда не очень сильно старался нравиться. В благодарность за внимание дуче местные жители подарили ему (по общественной подписке) замок Рокка делле Каминате, с давних времен стоящий на одном из холмов. С вершины холма окрестности просматривались до Апеннин на юге и Адриатики на востоке. Свой короткий отпуск дуче теперь старался проводить в Рокка делле Каминате, а римскую виллу собирался со временем превратить в музей.

На вилле Торлония хранились подарки, присланные со всей Италии. Там же после ужина он непременно смотрел кино: «Это разгружает мозг». «Золотая лихорадка» и «Новые времена» Чарли Чаплина, веселые фильмы с участием комиков Стена Лорела и Оливера Харди, сверкающий юмор Гарольда Ллойда и Бастера Китона — дуче все нравилось. Но он хотел видеть итальянские фильмы! Где наши фильмы? Где наши актеры? Где кино, напитанное фашистскими идеями?

Каждый день дуче появлялся в своем рабочем кабинете. Дисциплина! Прежде всего — дисциплина. В фашизме каждый может найти что-то для себя, но всегда и для всех фашизм — это дисциплина! Тем фашизм и велик, что он не правый и не левый. Фашистская догма заключается в том, что никакой догмы нет. Порядок и дисциплина! Вот главное. Так называемая демократия нивелирует, размывает жизненные ценности человека, сводит на нет индивидуальность, а он, дуче, прекрасно знает, что в глубине души каждый итальянец тянется не к разрушительной свободе, а к созидательному порядку.

Верить! Сражаться! Повиноваться!

Журналистов дуче или запугивал, или покупал. Писать следует о главных вещах, утверждал он. О борьбе за хлеб, о новых итальянских дорогах, о развитии авиации, о достижениях науки и техники, об армии.

Об армии в особенности. Дело не в «гусином шаге» (это просто древняя красивая римская традиция), не в торжественных маршах и шествиях (красота привлекает), дело в выучке, в слаженности, в силе, то есть — в дисциплине. Существование сильной армии кардинально меняет отношения с приграничными соседями, делает их более доброжелательными. Фашисты не верят в вечный мир, повторял Муссолини, выступая с балкона палатцо Венеция. Фашизм несовместим с пацифизмом, который есть не что иное, как трусливое бегство от борьбы и предательство памяти погибших. Война — единственное, что выявляет подлинные качества нации. Только война свидетельствует о благородстве и силе нации. Никакие испытания не идут в сравнение с войной. Девиз штурмовых отрядов *me ne frego* (мне наплевать) — это не просто стоический принцип. Это — упоение боем, восторг перед опасностью.

## 3.

Муссолини рос атеистом. Но именно он в 1929 г. решил наконец проблему сложных взаимоотношений светской власти и Ватикана. Чтобы построить империю, всех надо перетянуть на свою сторону.

Но бдительное око католической церкви не дремало. «Его Преосвященство, — писал Муссолини генеральный секретарь ордена иезуитов падре Такки Вентуре, —

поручил мне сообщить Вашему Высокопревосходительству о серьезных нарушениях, мешающих осуществлению тех священных целей, которые преследует правительство... Отмечены случаи, когда те увеселительные заведения, которые Ваше Высокопревосходительство благоразумно запретили, как говорится, изгнанные через дверь, возвращаются через окно. Из жалоб, которые Его Преосвященству приходится выслушивать, следует, что во многих римских кинотеатрах между двумя частями программы на сцене нередко появляются танцующие молодые женщины, вся одежда которых состоит из той, что носила их прагматеръ Ева до грехопадения, за исключением узких полосок на самых интимных частях тела, скорее разжигающих нечистые вожеления, чем умеряющих их. А ведь в кинотеатры ходят добрые христианские семейства, заботящиеся о нравственности своих сыновей и дочерей... им должна быть дана возможность избегать подобного бесстыдства»<sup>1</sup>.

Что ж, с такими «указаниями» дуче мирился. Дело благое. Но при этом он категорически возражал против любого вмешательства церкви в формирование списка кандидатов в депутаты — это дуче считал исключительно своей прерогативой.

В соответствии с Латеранскими соглашениями, подписанными папой и Муссолини, итальянское государство было признано римско-католической церковью, а Ватикан (соответственно) признан правительством Италии. Указанные соглашения включали в себя различные правовые положения, в том числе обязательство главы государства всегда и везде защищать честь и достоинство папы — вплоть до судебного преследования виновных.

Журналисты трубили о решительности дуче.

Вива Италия! Прежде чем ощутить необходимость в культурном (и, понятно, в нравственном) развитии, считал дуче, человек должен почувствовать внутреннюю потребность в приказе.

К тому же церковь утешает, это важно.

В декабре 1931 г. от сердечного приступа в Милане умер Арнальдо Муссолини. Младшего брата дуче любил. Кстати, именно Арнальдо сыграл важную роль в налаживании отношений с папой и только он умел смягчать решения дуче, у которого никогда не было близких друзей. Похоронили Арнальдо на кладбище в Меркато-Сарачено, и дуче приказал разослать телеграммы во все школы Италии: пусть школьники высаживают дубы в память о силе и величии убежденного фашиста.

Муссолини даже написал книгу о брате — «Жизнь Сандро и Арнальдо». «В детстве Арнальдо вечно пытался привести меня в чувство, он даже хватал меня за пиджак и говорил: “Бенито, хватит бросаться камнями, когда-нибудь тебя за это накажут!” Он останавливал меня — мой дорогой Арнальдо».

Дуче — диктатор? Дуче — тиран? Разве мог бы *диктатор*, *тиран* написать такую книгу? — восклицал философ Джентиле. А Муссолини писал сестре: «Моя дорогая Эдвидже. Удар (смерть брата. — Г. П., С. С.) оказался таким неожиданным и сильным, что мне понадобилось время, чтобы привести нервы в порядок. Я плакал и плачу до сих пор. Есть одно место в [твоем] письме, которое меня поразило, потому что сегодня это, к несчастью, правда: мы с тобой — единственное, что осталось от нашего семейного корня. Поэтому предлагаю тебе переселиться в Рим, ко мне поближе. Кстати, я думаю, что Сельскохозяйственную федерацию, в которой работает [твой муж] Микеле, нужно перевести в Рим. Но если этого и не случится, переезжайте. Здесь много возможностей для обучения твоих детей и есть хорошие будущие партии для девочек<sup>2</sup>. Приезжай. Мы провели бы вместе остаток нашей жизни...»

<sup>1</sup> Цит. по: Мильза П. Муссолини. Характер и путь. — СПб.: «Симпозиум», 2009. С. 598.

<sup>2</sup> Огорчения дуче, как всегда, перемешаны с будничными делами.

Железная воля — и вдруг такое! «Привести нервы в порядок... Плакал и плачу... Единственное, что осталось...» Так страшно дуче был угнетен только в дни убийства Маттеотти. Даже верная Маргерит Сарфати советовала тогда все бросить и уехать. Но в истории с убийством упрямого депутата Муссолини все-таки мучила не внутренняя (душевная) боль, а конкретные, вполне объяснимые страхи и сомнения. «Я ничего не знаю о мыслях друзей-недрузгов».

Согласитесь, это не «плакал и плачу». Это не «мы с тобой — единственное, что осталось от семейного корня».

Конечно, нервная система дуче была истощена. Конечно, его подтачивала изнурительная болезнь, с которой врачи не могли справиться. Но смерть Арнальдо (ведь часто только брат смел указывать дуче на его промахи) отняла у него решительность. К тому же в это время он окончательно порвал с Маргерит.

*Мой гений... Моя страна... Мой фашизм...*

Вдруг оказалось — этого мало.

#### 4.

Кларетту Петаччи Муссолини впервые увидел в 1932 г. Ему исполнился 51 год, ей — 20. Она была помолвлена с лейтенантом авиации Риккардо Федеричи, казалось, будущее девушки было предопределено, но встреча с дуче все перевернула.

Кумир нации!

Для Кларетты это были не просто слова.

Уже в десять лет она упрашивала мать гулять не где-нибудь, а на площади у Квиринала, чтобы еще и еще раз поаплодировать обожаемому дуче, когда он будет выходить из резиденции короля.

Кларетта знала, что дуче любит спорт, поэтому и сама зимой, без всякого принуждения, бегала на лыжах, а летом играла в теннис, занималась верховой ездой. Состояние родителей<sup>3</sup> позволяло ей вести такой свободный образ жизни.

Двадцать четвертого апреля 1932 г. Кларетта, ее младшая сестра Мириам (1923—1991), в будущем известная актриса, а с ними их мать — Джузеппина Пискетти (1888—1962) ехали по автотрассе виа дель Маре, недавно связавшей столицу с Остией, когда их обогнала мощная черная «альфа-ромео». Кларетта сразу узнала обожаемого дуче. Она крикнула шоферу: «Прибавь скорость, догони его!», но дуче сам заметил красивых девушек и остановил машину.

«Я вся дрожала, хотя в тот день не было холодно», — записала в дневнике Кларетта. При первой встрече дуче и девушка говорили буквально несколько минут, но через несколько дней Муссолини сам позвонил. И вот с этого дня Кларетта начала часто навещать палаццо Венеция. Тем более что жило семейство Петаччи совсем рядом — на улице Ладзаро Спаланцани.

Обычно дуче вызывал к себе Кларетту по телефону. Каждая их встреча занимала не более пятнадцати минут. Разговаривали они, стоя у окна (*у них ни от кого нет тайн*), — обменивались новостями о книгах, о театре, о музыке. Времени у дуче было мало, о любовной связи в то время речи не шло, к тому же врач, консультировавший Муссолини, предупреждал: «Только одна любовница, дуче! Запомните! Только одна! Не пить, не курить и всего только одна любовница! Иначе у вас не хватит сил выполнить предназначенную вам высокую миссию».

С Клареттой у дуче сложились особые отношения.

После Второй мировой войны некоторые исследователи склонны были считать, что, возможно, Кларетта была не просто любовницей дуче, но еще и английской шпионкой или хотя бы тайной посредницей между ним и Уинстоном Черчиллем.

<sup>3</sup> Отец Кларетты, Франческо Саверио Петаччи (1883—1970), был личным врачом папы Пия XI.

Явных подтверждений этому не нашлось, хотя в 1956 г. римский мировой судья, к которому обратилась Мириам Петаччи с требованием вернуть ей личные письма и дневники погибшей сестры, ответил ей резким отказом. «Эти документы, синьора, столь важны, что их распространение может повредить нашим добрым дипломатическим отношениям с другими нациями».

«Вы, Ваше Превосходительство, такой великий, могли бы Вы найти хоть точку времени для меня? Это сделает меня бесконечно счастливой», — писала Кларетта в своих коротких записочках. И терзалась: «Почему Вы заставляете меня ждать? Пытаетесь испытать мое терпение? Но оно не кончится никогда! Наоборот, это я буду испытывать Ваше терпение. С сегодняшнего дня начну посылать Вам такие записочки. И так до тех пор, пока Вы не позволите мне прийти. Уже целых два месяца и восемь дней мы не виделись. Ужас! Все это кончится тем, что я приду к Вам уже совсем седая».

## 5.

Записки и записочки. Ежедневные телефонные звонки. И просьбы, просьбы, бесконечные просьбы. Помочь отцу... Помочь брату... Помочь мужу, лейтенанту Рикардо Федеричи... Кларетта даже пыталась пристроить своего Рикардо пилотом-инструктором к дуче... При этом писала: «Еще ребенком, не зная ничего о любви и ее значении, я уже любила Вас, мечтала о том, как спасу Вашу жизнь, а в качестве единственной награды получу от Вас перед смертью поцелуй в губы. Умереть за Вас и ради Вас — вот высшая цель моей жизни...» В будущем умереть за дуче у Петаччи получилось, а спасти — нет.

Просьбы, просьбы, просьбы. Огромное количество просьб. Прагматизм влюбленной Кларетты иногда кажется бессердечным. Помочь отцу в суде... Отправить мужа служить в Африку... Унять домовладельца, нарушающего договоренность об аренде... Да-да, именно домовладельца!

И телефонные звонки — ежедневно.

10 октября 1932 г.

*Муссолини:* Синьорина Клара дома?

*Кларетта:* Это я.

*М.:* Ну что скажешь?

*К.:* О! Как я рада, что вы мне позвонили! Очень-очень!

*М.:* Не надо так волноваться.

*К.:* Если бы вы только знали, как же давно я жду этого звонка!

*М.:* Слушаю тебя.

*К.:* Скажите, можно мне прийти к вам прямо сейчас? Можно?

*М.:* Но сейчас уже поздно — половина восьмого.

*К.:* Для меня не поздно.

*М.:* А для меня поздно.

*К.:* (После неловкой паузы.) Я так давно жду.

*М.:* Я позвоню тебе на следующей неделе.

*К.:* О, прошу вас, только обязательно позвоните. Ведь уже два месяца прошло.

*М.:* Да, я позвоню. А если забуду, напиши мне записку с напоминанием. Кстати, как ты носишь [в palazzo Венеция] свои записки? Через кого передаешь?

*К.:* Через [вашего помощника] Наварру.

*М.:* А, ну ладно. Ты всегда сама их приносишь или кто-то другой?

*К.:* Почти всегда сама, только иногда брат.

*М.:* Он работает?



К.: Да. Кстати, и об этом я хотела поговорить с вами.

М.: Хорошо.

К.: И еще есть кое-что новое, касающееся меня, о чем я хотела вам рассказать.

М.: Значит, увидимся.

К.: Только поскорее, прошу вас.

М.: Да, я позвоню тебе на следующей неделе, всего доброго. *(После паузы.)* А скажи-ка, ты почувствовала что-нибудь, когда зазвонил телефон?

К.: Да, вы знаете, когда раздался звонок, я вдруг вся задрожала и почувствовала, что это вы звоните.

М.: Ну хорошо. Теперь ты довольна!

К.: О да, очень! Я очень довольна, но хочу большего...

Мир кипел. Мир горел и взрывался. Японцы открыто готовились к военной операции по захвату Шанхая. Активно работала Женевская конференция по разоружению. В Финляндии произошел мятеж. Русский эмигрант (казак, поэт, основатель «фашистской зеленой партии») Павел Горгулов смертельно ранил французского президента Поля Думера. В Чили возникла и почти тут же распалась социалистическая республика. В Германии правительство Франца фон Папена пыталось распустить коалиционное правительство Пруссии... А у дуче свои разговоры.

14 декабря 1932 г.

М.: Синьорина Кларетта дома?

К.: Это я. Добрый вечер.

М.: А, это ты! Отлично. Я позвонил, чтобы проверить, действительно ли ты всегда ждешь моего звонка с семнадцати часов до восемнадцати, как ты утверждаешь, или взяла и ушла.

К.: Теперь вы убедились, что я здесь. Я всегда дома с девяти до десяти и с пяти до шести. Почему вы не верили?

М.: Никогда ничего нельзя принимать на веру. Кто знает...

К.: Злой...

М.: Ну да! В общем. Думаю, мы сможем увидеться на неделе.

К.: Правда? Вы серьезно?

М.: Да. Правда, это печальная неделя<sup>4</sup>, а потом праздники. Но на этой неделе. А ты, действительно, хочешь?

К.: Конечно. Еще как.

М.: А почему? Просто из любопытства?

К.: Из любопытства?! Ничего себе.

М.: Ну, учитывая, что ты меня давно не видела...

К.: И что?

М.: Да ладно. Сколько мы с тобой уже не виделись?

К.: Давно, уже слишком давно. С двенадцатого октября.

М.: Двенадцатое октября, двенадцатое ноября, двенадцатое декабря, четырнадцатое... Два месяца и два дня... Вот ужас.

К.: Да, это в самом деле ужасно.

М.: Ну так я позвоню тебе завтра.

К.: Правда? Точно позвоните?

М.: Если ты хочешь этого.

К.: Очень хочу.

М.: Тогда до завтра.

К.: До свиданья, спасибо.

<sup>4</sup> Годом раньше умер брат Муссолини — Арнальдо.

## 6.

Обычно Муссолини был груб с женщинами. Но в отношениях с Клареттой все шло как-то не так. У других женщин он учился, хоть чему-то, но — учился, а вот юную Кларетту учил сам. Присматривался к ней. Что-то обдумывал. Долгое время между ними не было *близких* отношений (мы можем только гадать, что этому препятствовало, уж конечно, не возраст Кларетты, Муссолини такие мелочи не останавливали), они встречались (всегда у открытого окна, на пятнадцать минут), говорили о литературе, об искусстве, правда, почти всегда Кларетта умудрялась о чем-то попросить, ввернуть в разговор какую-нибудь просьбу, например, помочь отцу заняться серьезной журналистикой или устроить карьеру брату. Похоже, дуче нравилась роль такого наставника. Он *играл*. Великий актер (как многие императоры Древнего Рима), он наслаждался всемогуществом.

«Вы, Ваше Превосходительство, такой великий...»

Дуче нисколько не удивляли неожиданные повороты в их беседах. Ну вот, скажем, Кларетта сама предлагает дуче стать его личной тайной осведомительницей (у влюбленных своя логика); но дуче (и, похоже, не без удовольствия) ей отказывает. Кларетта записывает каждое его слово. «Наблюдать и быть незаметной, мало говорить и много слушать, умолкать в нужный момент, а потом в точности передавать чужие слова — и стараться никогда не обнаруживать и не разоблачать себя. Это опасная жизнь, полная жертв. Конечно, ты могла бы прекрасно вести ее, ты обладаешь для этого всем необходимым. Но я тебе не советую, потому что это означает полностью изменить свой образ жизни. А ты привыкла к совершенно другому. Ты еще ребенок и не можешь так решительно менять свою жизнь...» И далее: «Это совсем иная жизнь, нежели та, к которой ты привыкла, проходящая в постоянном движении, порой драматичная, и человек, единожды ступивший на этот путь, должен понимать, что уже не может сойти с него. Ты чувствуешь себя способной на такое? Ты ведь еще совсем девочка. Или нет? Да, конечно, у тебя много мыслей в голове, но все они вертятся, скачут, ни на чем толком не останавливаясь. Тебе все хочется и ничего. Вот когда у тебя, наконец, оформится какая-то серьезная идея, приходи ко мне. Стоит тебе сказать: “Я хочу заниматься этим-то”, и я все устрою».

## 7.

Своего кумира Кларетта называла — Бен.

Позже (когда они стали любовниками) Кларетте Петаччи были предоставлены трехкомнатные апартаменты на верхнем этаже палатцо Венеция; попасть туда можно было на специальном, недоступном для других лифте. Кларетта встречала своего Бена в «зодиакальной комнате», потолок которой был густо украшен звездами. Здесь они разговаривали, читали стихи, слушали музыку. Здесь Кларетта выслушивала откровения дуче. «Жаль, что он был евреем, — мог, например, заявить Муссолини, с удовольствием прослушав пьесу Бетховена. — Он — талант, но еврей». Антисемитизм ведь начинается не с указов, а с личностного внутреннего отношения к проблеме.

Каждый день Кларетта (через охрану) передавала дуче свои записки и письма на специальной бумаге, украшенной черным орлом и черной голубкой.

В палатцо Венеция она проводила много времени, но вечером непременно уезжала домой. Она долго упрашивала дуче дать разрешение на ее свадьбу с лейтенантом Федеричи (возраст не позволял), даже плакала: «Вы же все можете!», даже возмущалась: «Закон? Ну и что, закон! Поменяйте его! Вы, Ваше Превосходительство, такой великий!» — и, наконец, свадьба устроилась.

Но теперь Кларетта писала дуче другое. «С каждым днем я люблю Вас все больше и больше. Я купаюсь в божественной атмосфере Вашей любви и не в силах предстать, что он (муж. — Г. П., С. С.) прикасается ко мне... Мой муж — это человек, которого я или ненавижу, или презираю... Только он мешает мне броситься к Вам...»

Благодаря «Секретным дневникам» Кларетты Петаччи мы знаем, какие странные разговоры они вели наедине. Эти ее дневники — вовсе не лепет наивной любовницы, она хотела сохранить свои чувства... Но для кого? Откуда нарциссизм?

«Он показал мне свои фотографии, — записывала Кларетта, — которые сделал один американец. Фотографии великолепны. Он сказал: “Посмотри-ка на эту, какой у меня сильный, волевой подбородок. Теперь я понимаю женщин, которые влюбляются в такого мужчину, которые спят с такой фотографией под подушкой, как это делаешь ты. Я не из тщеславия говорю, что фотография хороша: сама посмотри, какой нос, подбородок, рот. Ну, скажи: может женщина не влюбиться в такого мужчину?”»

Из записей Кларетты видно, как прорастали в душе дуче цветы зла. Именно так. Цветы зла. Фашистские. Звучит напыщенно, зато в его стиле.

Вот дуче возмущен тем, что *его* итальянцы в *его* далеких африканских колониях бездумно *спариваются* (его собственное выражение) с местными жителями. В 1934 г. он даже запретил распространение какого-то популярного чувственного романа, в котором речь шла о любви между итальянкой и африканцем.

«Всякий раз, как я только получаю отчет из Африки, — записывала Кларетта возмущенные слова дуче, сказанные в августе 1938 г., — это расстройство! Вот и сегодня пять арестов за сожительство с негритянками. Один из Сардинии, другой из Неаполя, еще один из Чезенатико, про него я и подумать такого не мог. Ах, эти (*мои*) отвратительные итальяшки. У них отсутствует расовое сознание, нет никакого достоинства. Вот оно — наследие вольноотпущенных рабов. Рим разрушили не люди с востока, а вольноотпущенники, которые беспрестанно устраивали мятежи. Представляешь, один итальянец забрал из эфиопского племени четырех негритянских девушек, привез их домой и устроил гарем. Потом в один прекрасный день уехал и оставил их там. И знаешь, что случилось? Племя напало на его дом, освободило девушек и убило всех белых, находившихся там, всех до одного. Губернатор, которого я снял, Пирцио Бирони, тоже выбирал себе самых привлекательных негритянских девушек и держал их при себе. По его примеру поступали там и все остальные, вот племя и взбунтовалось. Это доказывает, что у них больше нет к нам уважения».

Правда, кое-что дуче радовало. В провинции Тигре итальянские солдаты талантливо вырубили из цельной скалы грандиозное скульптурное изображение любимого вождя. Волевой, круто выпяченный подбородок Муссолини нависал теперь над всей Эфиопией.

Но проблем было больше. Когда была основана Итальянская академия, евреи (кстати, по личному указанию дуче) не были в нее включены. «Евреи — торгаши, мелкие людишки, — записала Кларетта слова дуче 23 декабря 1937 г. — Когда на континенте появляется новый сильный человек, они сразу объединяются для борьбы с ним. Они ненавидят меня так же сильно и неистово, как ненавидели Наполеона. Они хотели бы сделать мне все плохое, что сделали ему».

А вот запись от 11 октября 1938 г. (говорит, естественно, дуче). «Эти гадкие евреи. Пора мне их уничтожить всех до одного. Выслал же я семьдесят тысяч арабов, значит, смогу выслать и пятьдесят тысяч евреев. Закрою их всех на необитаемом острове. Или уничтожу, как сделал Понтини, когда его спросили, что делать со всеми этими евреями. Он ответил: “Уничтожить их”, — и его поныне считают великим человеком. Евреи — подонки, вражеское отродье, труссы. У них нет ни грана

благодарности, признательности, от них спасибо никогда не услышишь. Они считали трусостью мою жалость. Они говорят, что мы нуждаемся в них, в их деньгах, в их помощи, что, если им не позволят жениться на христианках, они будут наставлять рога христианам. Отвратные людишки, я жалею, что сразу не поступил с ними жестко. Но они еще почувствуют на себе стальной кулак Муссолини. Я их раздавлю. А пока я приостановил работу всех биржевых маклеров. Потом они не смогут мошенничать, потому что заниматься торговлей я им тоже не дам. Тех, кто уже занимается, я не трону, но новых не пущу — все, хватит! Настал тот час, когда итальянцы должны видеть, что эти пресмыкающиеся не имеют права использовать их в своих целях».

Расовая нетерпимость дуче нарастала по мере утверждения его культа.

19 апреля 1937 г. опубликован декрет о запрете смешения с эфиопами.

30 декабря 1937 г. вышел декрет о запрете смешения итальянцев с арабами.

17 ноября 1938 г. появился еще один декрет — о запрете смешения итальянцев с евреями и о категорическом запрете для евреев занимать места на государственной и военной службе. Отныне ни один еврей не мог жениться на итальянке, избираться в парламент, открыть свой магазин, создать предприятие, нуждающееся в рабочих руках. Виктор Эммануил III как-то раздраженно заметил: «Дуче, еврейская раса подобна улью — не суйте руку в него». А когда Муссолини возразил, что итальянцам ни в коем случае нельзя недооценивать расовую опасность, потому что в Италии насчитывается слишком много бесхарактерных личностей, находящихся под влиянием евреев, король усмехнулся: «Да, дуче, это так. И я — такая личность».

«Они (евреи. — Г. П., С. С.) не должны отнимать хлеб у итальянцев. Посмотри, — обращается он к Кларетте, — сколько среди них преподавателей, сколько учителей. Слишком много! У них пенсия, они не обнищают. Пусть живут как все остальные иностранцы в Италии, которых не берут на работу официально. Наша цель — очистить расу, пусть на занятых евреями местах работают арийцы...»

И не только евреи, арабы, эфиопы. Столь же неприязненно дуче относился к французам. Разумеется, впрямую с балкона палатцо Венеция таких слов не выкрикнешь, но сказать Кларетте — можно. Вот он и выговаривался. «Отвратительный народец эти французы. Они всех нас смертельно ненавидят. Франция — страна бездельников, скопище разных рас, куча сброда, убежище подлецов. Они уважают только те народы, которые их победили в войне. Они испытывают священный ужас перед Германией, потому что та вздула их хорошенько. И испанцев они боятся, потому что наполеоновские генералы в свое время получили от них по первое число. Беды Наполеона начались как раз с Испании. Грязные французишки нас тоже начнут бояться, когда мы забьем их палками. Тогда, наконец, они поймут, кто такие итальянцы. А то как посмотришь, так только у них великие художники, гении...»

Разумеется, расизм и антисемитизм не были изобретениями Бенито Муссолини. Он не раз цитировал работы католического философа графа Жозефа де Местра (1753—1821), считавшего людей узниками расовой и этнической идентичности. «В своем понимании мы стремимся выйти за рамки фатально ошибочных представлений о равенстве всех людей и, конечно, стараемся учитывать все разнообразие народов и рас». Произнося эти слова, дуче откровенно любовался собой.

Великий актер, он представлял себя и великим борцом с мировым злом.

Некоторые суждения Бенито Муссолини и сейчас вызывают буквально оторопь.

«Сколько немцев в мире? — спрашивал он Кларетту (октябрь 1937 г.). — Миллионов сто? Это нация, с которой сложно сохранять дружеские отношения, и ее все боятся, как врага. Хотя они лояльны. И они поняли всю силу [фашистского] режима и теперь сознают, что если падем мы, то падут и они. Они сильны единством,

и они видят, что Италии не до шуток. Немцы хороший народ, они умеют творить великие дела. Кстати, они до сих пор фанатично отзываются обо мне. [Немецкие] офицеры были впечатлены моей силой, спокойствием, ясностью ума, властностью без истерики. Двенадцать миллионов студентов были поражены моим выступлением [в Германии], восторгались тем, что я говорил и как говорил. [Немецкий] народ фанатичен, полностью захвачен идеей. Они знали меня по фотографиям и считали, что я эдакий римский император, жесткий, суровый, безжалостный, а вместо этого увидели улыбающегося приветливого человека. В общем, сердце немецкого народа у меня в кармане. Представляешь, в Германии до сих пор показывают пленку с моим выступлением, и будут и дальше показывать во всех школах, чтобы абсолютно все смогли меня увидеть».

Напомним, что все эти разговоры ведутся на фоне уже полыхающего мира — тревожного, страшного, агонизирующего. Японцы захватывают столицу Китая Нанкин и устраивают там дикую резню. В Испании германский легион «Кондор» уничтожает город Гернику. В СССР идут показательные политические процессы. В Боливии — государственный переворот, в Польше — забастовки... 6 декабря 1937 г. Италия (вслед за Германией) выходит из Лиги Наций.

Наверное, дуче действительно нуждался в откровенных разговорах с Клареттой. «Плохая новость, — записывает она слова дуче (15 декабря 1937 г.). — Англия ведет маневры в Суэцком канале, и Франция тоже участвует со своим флотом. Следовательно, они заключили договор о союзничестве, договорились. Логично. Я, естественно, в ответ приму обычные в таких случаях меры. Англичане — подлый народец, грязный, деградирующий. Какого черта они лезут в Суэцкий канал, который находится в пятистах километрах от Италии, — с какой целью? Они всегда терпеть не могли великих людей, потому что у них таких никогда не было. Этот народ думает задом, не признает чужого превосходства. Эгоисты, отпетые алкаши...» Это все к вопросу о душе дуче.

«Немцы — сильный народ. Они начали бороться с религией, поскольку, говорят, Христос был евреем. Они борются не с католичеством, а с христианством. Да, разница есть. Я, например, считаю себя римским апостольским католиком, а не христианином. Христианство не подходит к нашим идеям и привычкам: оно слишком ограничено, узко, это замкнутый круг. А вот католичество — это модифицированная форма, вполне отвечающая духу современности...» И углубляет высказанную мысль: «Немцы смело борются с представителями этой [еврейской] расы. Они организуют занятия и конференции в школах, чтобы рассказать, что Христос был арийцем, ведь у него светлые волосы, голубые глаза и, следовательно, на еврея он не похож. Они ставят вопрос о расах — говорят, что не все люди одинаковы, что они не братья, поскольку сам Бог создал расы. У нацистов уже возникло своего рода язычество, кровавые ритуалы и прочее. Конечно, я пытаюсь как-то смягчить все это. Но если они считают нужным... Все-таки в Бога они верят... Они народ, который смеется надо всем... Если поставить нас с немцами перед дверями, на одной из которых будет написано “Рай”, а на другой — “Конференция по раю”, они пойдут туда, где конференция. А итальянец прочитает “Рай” и, довольный, не задумываясь скажет: “Вот и хорошо” — и побежит туда. Они (немцы. — Г. П., С. С.) сами устраивают бесконечные конференции. Отправляются в пивную, садятся там и спорят, спорят с огромными кружками в руках. Курят трубки. Великий народ...»

Поразительно, но еще в начале 30-х гг. Бенито Муссолини сам не раз предупреждал Гитлера об опасности государственного антисемитизма. «Есть две вещи, на которые истинный политик не должен поднимать руку: на женскую моду и на религиозные взгляды людей». И тогда же Муссолини убежденно говорил немецкому

писателю Эмилио Людвигу: «К настоящему времени в мире не осталось совершенно чистых рас. Даже евреи не избежали смешения. Я не верю ни в какие биологические эксперименты, которые якобы могут определить чистоту расы. Те, кто сейчас провозглашают высокое благородство германской расы, по забавной случайности сами ничего общего с германской расой не имеют. Подобное не может, не должно произойти у нас в стране. Антисемитизм в Италии не существует. Итальянские евреи всегда вели себя как настоящие патриоты. Они храбро сражались за Италию во время войны. Они занимают видные посты в университетах, в армии, в банках. Среди них такие высшие офицеры, как командующий армией на Сардинии генерал Молена, адмирал флота, генерал артиллерии и генерал берсальеров...»

Что ж, мир меняется... Идет гражданская война в Испании... Италия присоединяется к антикоминтерновскому акту... Франклин Делано Рузвельт во второй раз становится президентом США... Ученые разрабатывают синтетическую теорию эволюции, открыт элемент технейд. Ничто не стоит на месте.

Беседы дуче с Клареттой полны самолюбования. «Я бы хотел, чтобы меня на улицах не узнавали. Я бы один хотел бродить по Риму. Совершенно свободно. Пусть даже с фальшивыми усами». И не выдерживает: «Посмотри, у меня действительно красивый рот?» И так же охотно поясняет Кларетте: «Это зубной врач сказал такое моей жене». И подбегает к окну, за которым играют новый гимн Италии: «Слушай, слушай, как красиво звучат трубы!»

Он весь в движении. Весь в огне. «Ох, эти евреи! Их следует полностью стереть с лица земли».

## Глава одиннадцатая.

### «Италия обрела, наконец, свою империю...»

#### 1.

Муссолини давно мечтает об Империи!

Но империи — это война. Это большая война.

С кем? С Эфиопией? Где расположена Эфиопия, а где Италия!

Между Италией и Эфиопией лежит Красное море и Суэцкий канал, они в любой момент могут быть перекрыты недружественной Британской империей. Проще, наверное, завладеть ресурсами Австрии и Балкан, ведь они под боком. Но теперь приходится считаться с интересами Германии. Там нацистский режим быстро усиливается. Множество переворотов и покушений в странах Восточной и Юго-Восточной Европы в 1934, 1935 и 1936 гг. были инспирированы именно Германией. Гитлер активно готовился овладеть обширным пространством между Черным и Балтийским морями:

— в декабре 1933 г. фашистская организация «Железная гвардия» организует убийство премьер-министра Румынии Иона Георге Дуки;

— в мае 1934 г. в Эстонии фашистские лиги «Борцы за свободу» и «Балтийское братство» предпринимают попытку государственного переворота;

— в Латвии в мае 1934 г. к власти приходит авторитарное правительство Карлиса Ульманиса;

— в мае 1934 г. в Болгарии царь Борис III устанавливает личную диктатуру;

— в Литве в июне 1934 г. фашистская организация Аугустинаса Вольдемараса «Железный волк» предпринимает попытку свергнуть президента Антанаса Сметону;

— в октябре 1934 г. в Марселе хорватские усташи убивают короля Югославии Александра и французского министра иностранных дел Луи Барту. К убийству



явно приложил руку Муссолини. Организаторы имели итальянские паспорта, а главе усташей Анте Павеличу, приговоренному во Франции к смертной казни, Италия предоставила политическое убежище;

— в декабре 1935 г. новая попытка смены власти в Эстонии...

Не все эти попытки увенчались успехом, не все оказались в пользу Гитлера, но Муссолини и без того было ясно: за счет Европы новую империю не построишь.

Так что оставалась Эфиопия.

## 2.

Итальянский представитель в Лиге Наций объяснил причину войны так: «В силу трагической иронии судьбы Эфиопия владеет неабиссинскими колониями...», в то время как «в результате превратностей истории и международных ограничений Италия втиснута в тесные территориальные рамки, в которых она задыхается...»

В конце лета 1934 г. в Эфиопию были отправлены первые военные грузы. Франция, получив запрос о разрешении свободного экономического проникновения итальянцев на такую-то (на карте указывалось — какую) территорию, возражать не стала. Пусть Италия втягивается в войну подальше от Европы. Тем более что остановить события было уже трудно. В городке Уал-Уал, в самой глубине Эфиопии, 5 декабря подразделение Королевских колониальных войск (аскари) попало в засаду. Тридцать солдат были убиты. Это позволило дуче (ожидавшего чего-то подобного) объявить всему миру, что мирная Италия стала объектом неожиданной агрессии со стороны Эфиопии. Так что подтяните ремни, римляне! Отныне экономике будет контролировать государство.

В феврале 1935 г. дуче поставил перед своими министрами новую цель: избавиться от внешней зависимости. Некоторое время, сказал он, мы выдержим, наверное, и на собственных запасах, но от внешней зависимости необходимо избавиться! Всех нас, конечно, ждут испытания! Но это временно! Это совсем ненадолго! Там, в близком будущем — Эфиопия, сказочная страна с огромными запасами золота, драгоценных камней, меди, железа, каменного угля, нефти, с миллионами крепких и неприхотливых работников и солдат. Замолчите, злобные оппоненты! Мы не о «пушечном мясе», мы о дикарях.

Опасался Муссолини только Германии. Из-за перевооружения, начатого Гитлером, могло случиться так, что большую часть итальянской армии придется держать дома. Сосед хорош, когда забор хороший.

Значит, надо спешить. Значит, нельзя терять ни одного дня. Проведя первые расчеты, дуче пришел к мысли, что для завоевания Эфиопии ему хватит 160 тысяч солдат. Ну, конечно, еще механизированные части, готовые при первом приказе, не раздумывая, применить отравляющие газы. Конечно, Эфиопия — член Лиги Наций, это осложняло дело, но Муссолини считал, что начало войны ему вполне удастся представить именно как самозащиту — от нападения «нецивилизованных эфиопов». Он надеялся договориться с французами и подкупить англичан, отдав им одну из эфиопских провинций.

Несмотря на свою глубокую нелюбовь к Франции, в январе 1935 г. дуче подписал с французами тайный договор о возможном (в будущем) союзе против Германии. В ответ Пьер Лаваль, премьер-министр Третьей республики, дал гарантии (конечно, не рекламируя их) не мешать итальянскому вторжению в Эфиопию. Само собой, этого не избежать, Великобритания по традиции будет протестовать, но англичане теперь сами боятся Гитлера, так что будут смотреть на происходящее сквозь пальцы.

Муссолини так верил в свои расчеты, что о великих своих замыслах даже по слов информировал с запозданием. Дино Гранди, к примеру, до самого последнего

момента не знал о готовящейся войне. По поручению дуче в разговорах с англичанами он акцентировал внимание в основном на мирных намерениях Италии. Когда подозрительные англичане все же предупредили посла, что использование силы в Эфиопии будет рассматриваться ими как непростительное вмешательство в чужие дела, умный Дино Гранди передал это дуче в несколько иной редакции, скажем так, более почтительной. Да и чего там? Англичане — это же деградирующая раса!

Наконец, в октябре с балкона палаццо Венеция дуче заявил итальянскому народу о своем твердом решении наказать «зарвавшихся» эфиопов. Командующим армией вторжения был назначен генерал Эмилио Де Боно. Он был опытным профессионалом. Когда другие квадрумвиры только появились на свет, он уже командовал полками, а в Великую войну — корпусом. В ряды фашистов записался в родном городе Кассано-д'Адда еще в июне 1922 г. После победоносного марша на Рим именно генерал Де Боно возглавил полицию безопасности и фашистскую милицию; только после убийства депутата Маттеотти ему пришлось отступить в тень. Впрочем, уже через три года он управлял Триполитанией, а в 1929 г. возглавил Министерство колоний.

Назначив генерала Де Боно командующим, верховное руководство дуче все-таки оставил за собой. По его новым расчетам в войне можно было обойтись тремя сотнями тысяч военных и чернорубашечников. Генерал Де Боно возражал: не стоит рассчитывать на чернорубашечников, они — смелые ребята, но не умеют воевать. Раз смелые, значит, научатся, возражал дуче. К тому же они добровольцы. В Эфиопии нужны именно добровольцы.

Страна эта вдвое превышает территорию Франции, она густо покрыта непроходимыми лесами и болотами. У императора Хайле Селассие почти миллион воинов. Они плохо обучены и плохо вооружены, но их миллион. Потому и нужны добровольцы. Семь пехотных дивизий, одна моторизованная, дивизия альпийская и шесть дивизий чернорубашечников — этого вполне хватит, чтобы усмирить дикарей. Правда, переправить столько людей и грузов за три с лишним тысячи километров само по себе проблема, но мы справимся!

### 3.

Когда Гитлер объявил о полном перевооружении Германии (вразрез с условиями Версальского мира), дуче, конечно, встревожился. В своем журнале «Иерархия» он напечатал статью, в которой обвинил Германию и Японию в стремлении к мировому господству. При этом дуче не уставал повторять, что легко может остановить экспансию нацистов в Центральной Европе. Правда, одновременно советовал англичанам как можно быстрее развивать свои военно-воздушные силы.

В апреле 1935 г. Муссолини встретился с премьер-министром Великобритании Джеймсом Макдональдом и председателем Совета министров Франции Пьером Лавалем в Стрезе на берегу Лаго-Маджоре — для создания «единого фронта» против усиливающейся Германии. Как пишет Денис Мэк Смит, «это был Муссолини в своих наиболее умных и наглых проявлениях». Он ничего не стеснялся, так ему хотелось связать руки Англии и Франции. В результате так называемый «фронт Стрезы» был создан.

О готовящемся вторжении итальянцев в Эфиопию ходили разные слухи, но Муссолини (председательствовавший на встрече) убедил англичан и французов не обсуждать такую острую тему на официальном уровне. Конечно, Лондон (практически в частном порядке) предупредил Муссолини о том, что военные действия против члена Лиги Наций — Эфиопии — могут нарушить систему коллективной безопасности в Европе, но Муссолини и к этому был готов. По мнению Дино Гран-

ди, идея бросить вызов Лиге Наций привлекала его ничуть не меньше, чем идея завоевания Эфиопии.

«У меня двойное дно». Муссолини оставался собой. В мае 1935 г. он продолжал утверждать, что легко уничтожит Гитлера, если возникнет такая необходимость (он даже подписал секретное соглашение с французами о защите австрийской независимости), и одновременно информировал (тоже секретно) фюрера о том, что готов присоединиться к нему в будущей борьбе против западных демократий.

#### 4.

Самоуверенность дуче изумляла. Он знал, что три четверти вооружений и припасов для итальянской армии придется доставлять в Эфиопию морем, даже питьевую воду. А флот Англии даже тогда был сильнее. Мало ли как повернутся события. Зато, считал он, мы сильны духом фашизма!

Начало войны с «дикой» Эфиопией дуче обставил как грандиозное театрализованное представление. 2 октября 1935 г. итальянцы с изумлением и тревогой слышали звон многочисленных колоколов и вой сирен, созывавших людей на главные площади городов и поселков, где из громкоговорителей уже раздавался властный голос дуче.

Он говорил о войне, но никакого объявления войны не было. Объявить войну Эфиопии — это означало бы представить «дикарей» равной стороной конфликта. Только когда в далекой Африке итальянская воздушная армада поднялась в воздух, чтобы бомбить город Адуа (выбор цели объяснялся тем, что именно там в 1896 г. итальянская армия потерпела крупное поражение), Муссолини сообщил Лиге Наций, что Италия оказалась жертвой ничем не спровоцированной варварской агрессии.

#### 5.

Одной из эскадрилий бомбардировщиков, начавших налеты на города Эфиопии, командовал зять Муссолини — Галеаццо Чиано. Авиация — это престижно. Это очень престижно.

Дуче всегда выделял своего зятя и даже строго осуждал свою дочь Эдду, с которой у Галеаццо случались ссоры. В основном из-за азартных игр. В китайских казино (когда Галеаццо еще служил в диппредставительстве) Эдда проматывала большие деньги, конечно, втайне от мужа и от отца. Она постоянно залезала в долги. Возвращение из Китая ничего не изменило. «Дорогой Себастьяни, — время от времени писала она личному секретарю Муссолини, с которым дружила, — прошу Вас, если это возможно, и так, чтобы ни мой отец, ни муж не узнали, выслать мне пятнадцать тысяч лир. У меня непредвиденные расходы, и мне нужно немного денег».

Но война началась, и Галеаццо Чиано отправился в Эфиопию. 15-ю бомбардировочную эскадрилью сами пилоты скоро окрестили «Отчаянной» («La Disperata»). Зятю дуче и его напарнику Алессандро Паволини (будущему секретарю фашистской партии) выпала «честь» сбросить самую первую бомбу на обреченную Эфиопию. (Кстати, участвовали в войне и сыновья дуче — Витторио и Бруно, тоже пилоты.) 132 часа в воздухе, 32 боевых вылета, две серебряные медали «За храбрость» и лента колониального ордена Звезды Италии — вот военные трофеи Чиано. В конце 1935 г. он ненадолго отбыл в отпуск (в Риме шептались о изменах его жены), но через полтора месяца снова вернулся в Эфиопию. О его храбрости знали. Когда войска маршала Пьетро Бадольо (в ноябре 1935 г. заменившего Эмилио Де Боно) находились еще в нескольких километрах от абиссинской столицы, именно пилот Галеаццо Чиано лихо посадил свой самолет прямо на вражеском аэродроме в Аддис-Абебе. Лихачество могло закончиться плохо: самолет попал под перекрестный огонь орудий и пулеметов, но Чиано сумел взлететь, набрал высоту,

да еще и сбросил на главную площадь эфиопской столицы флажок с опознавательными знаками своей эскадрильи. Дуче телеграфировал зятю: «Горжусь твоим полетом над Аддис-Абебой».

Военные действия в Эфиопии действительно активизировались, когда командование принял маршал Бадольо. (Медлительность обошлась генералу Де Боно дорого. Теперь он должен был обращаться к дуче — «дорогой председатель», «дорогой глава правительства», тогда как другие иерархи обращались дружески: «дорогой Муссолини» или даже «дорогой Бенито». Правда, в утешение ему в январе 1936 г. присвоили звание маршала.) Под командованием Бадольо итальянская армия начала продвижение вглубь Эфиопии с севера. Инженерные части активно строили дороги и взлетные полосы, наводили переправы. Маршал не обращал внимания на фланги (в отличие от осторожного генерала Де Боно) и наносил стремительные удары по жизненно важным центрам эфиопов. Таким образом он выиграл сражение при Тембьене (январь), у Эндерты (февраль), в Кире (март). В то же время генерал Родольфо Грациани наступал с юга — из Итальянского Сомали.

Итальянцам удалось сломить сопротивление абиссинского негуса. 31 марта у озера Ашанги эфиопская армия потерпела серьезное поражение, берега озера Тана были захвачены. А 5 мая итальянские войска вступили в Аддис-Абебу. За эти победы маршал Пьетро Бадольо был пожалован титулом герцога Аддис-Абебского и званием почетного гражданина города Рима.

Конечно, большая часть Эфиопии оставалась еще не завоеванной, военные действия продолжались почти до 1939 г., но это было неважно. Эффект был достигнут. Даже Уинстон Черчилль восхищался. «Высадить армию в 400 тысяч человек на пустынном берегу, ввязаться в ужасную колониальную войну с народом, который оставался непокоренным целых четыре тысячи лет, — все это значило дать возможность итальянским солдатам доказать, что в мире нет им равных». Бальзам на сердце для честолюбивого дуче.

Взятие столицы Абиссинии позволило Муссолини объявить всех еще не завоеванных эфиопов мятежниками. Пленных, которые вдруг превратились в поданных Италии, теперь можно было просто казнить: во внутренние дела Италии международное сообщество не вмешивалось. Вот пленных и казнили: за каждого убитого итальянца — по десять повстанцев. К тому же генералы получили разрешение в схватках с эфиопами использовать отравляющие газы. Иприт и люизит против босоногих африканцев! Так европейская цивилизация опять (до этого — во время Великой войны) воспользовалась своими научно-военными достижениями.

Победа в войне с Эфиопией позволила Муссолини провозгласить, наконец, второе рождение великой Римской империи. Король Италии Виктор Эммануил III в торжественной обстановке официально принял титул императора, а Муссолини отныне стал именовался так: Его Превосходительство глава правительства, дуче фашизма и основатель Империи.

Да, конечно, в этой колониальной войне Италия потеряла почти пять тысяч человек, преимущественно цветных. Это огорчало дуче, но, комментируя потери в кругу иерархов, он заметил, что если бы итальянцев в ходе военных действий погибло ну хотя бы раза в три больше, то Эфиопская кампания выглядела бы веселее.

«Если бы итальянцев погибло раза в три больше...»

В этом весь Муссолини. Он хотел эффектов и добивался их.

Оценив результаты эфиопских событий, Англия, наконец, взялась за перевооружение своего флота, а Муссолини по-новому взглянул на возможный союз с Германией. Уже в марте 1936 г. он потребовал от своих министров мощной переориентации всей экономики на войну. Не «борьба за хлеб», не основание академий было теперь главным, а выпуск оружия и обмундирования.

О рождении второй Римской империи было объявлено 9 мая 1936 г.

На площади под балконом палаццо Венеция собралось почти 200 тысяч человек. «Дуче! Дуче!» — скандировали они. И, подняв руку, жестикулируя, Бенито Муссолини объявил итальянскому народу о великой победе.

«Италия обрела наконец свою Империю! Это фашистская Империя. На ней лежит неизгладимый отпечаток воли и мощи римских ликторов, она — реальная цель, к которой четырнадцать лет была направлена безграничная и целеустремленная энергия молодого, отважного поколения итальянцев. Это Империя мира, ибо Италия желает мира для себя и для всех и принимает решение воевать только тогда, когда ее вынуждают смертельные, непосредственные и настоятельные угрозы. Это Империя цивилизации и гуманности для всех народов Эфиопии. Это традиция мира, который, одержав победу, делил с побежденными народами свою собственную судьбу. Народ Италии создал Империю ценой своей крови<sup>5</sup>. Народ Италии оплодотворит ее своим трудом и защитит своим оружием. В этой бесконечной уверенности вздымайте, легионеры, свои знамена, свое оружие, свои сердца и приветствуйте, спустя пятнадцать столетий, возрождение нашей великой Империи на исторических холмах Рима. Будете ли вы их достойны?»

Дуче вызывали на балкон сорок два раза.

«Самое важное последствие этой победы [над Эфиопией], на мой взгляд, то, что Муссолини получил возможность в надвигающейся мировой войне оставаться нейтральным, поскольку принес своему фашизму победу, — указывал в одной из своих статей известный немецкий журналист и писатель Эмиль Людвиг. — Престиж Муссолини вырос, и он слишком дальновиден, чтобы упустить такой прекрасный шанс, какой ему даст нейтралитет. Теперь внутри страны у него мир на много лет. С другой стороны, Европа поняла, с каким удивительным дипломатом имеет дело. Муссолини удалось перенести в африканскую страну тот воинственный дух, проявлению и развитию которого он способствовал, и добиться победы с малым риском и малыми потерями. Поскольку итальянцы — это не немцы, победа не прибавит им жалости, но заставит почивать на лаврах».

Впрочем, Людвиг ошибся: почивать на лаврах Муссолини не собирался.

Дважды в неделю в безупречном темном костюме он приезжал во дворец Квиринал, чтобы представить королю подробный отчет о деятельности своего правительства. Король часто раздражал его, но в общем они теперь были настроены друг к другу достаточно дружелюбно, королю нравились простые манеры дуче, его патриотизм, его организаторский талант. Он, конечно, не гений, в свою очередь отзывался Муссолини о короле, но суждения его конкретны и здравы.

Италия широко праздновала победу. Экономические санкции никого больше не пугали. Владельцы ресторанов, до этого твердо придерживавшиеся правила — два дня в неделю вообще без мяса, теперь, как в самые лучшие времена, выкладывали на столики перед клиентами роскошные меню. Площадь Испании переименовали в площадь маршала Де Боно, бар Энтони Идена демонстративно закрыли. Из уст в уста передавался новый девиз, провозглашенный дуче с балкона дворца Венеция: «Книга и винтовка — вот символы настоящего фашиста».

## 6.

Но война шла. Чрезвычайно растянутые коммуникации (Суэцкий канал и Красное море) требовали новых расходов. Зато Муссолини, почувствовав свою силу, утверждал ее теперь любыми способами. Даже своим смелым солдатам-геро-

<sup>5</sup> Вспомним: «Если бы итальянцев в ходе военных действий погибло раза в три больше, то Эфиопская кампания выглядела бы гораздо веселее».

ям запретил распевать популярную песенку «Черное личико, красotka-абиссинка». Итальянцы превыше сантиментов.

С одобрения дуче Акилле Стараче установил правило, по которому всякий удостоившийся аудиенции должен был пересекать двадцатиметровое пространство огромного кабинета чуть ли не бегом<sup>6</sup>. Время дуче бесценно!

С того же 1936 г. началось сближение Муссолини и Гитлера. То есть дуче сделал, наконец, ставку на северного партнера, хотя недоверие его никуда не делось. Просто, рассорившись с западными демократиями, Муссолини лишил себя возможности маневра. Великобритания и Франция откровенно беспокоились, видя рост военного могущества Италии. Недоверие охватывало и США, где фашистов считали чуть ли не бандой гангстеров. Понятно, что, продолжая конфликтовать с Гитлером, Муссолини пришлось бы надолго забыть о своих грандиозных планах.

Девятого июня 1936 г. министром иностранных дел Италии был назначен граф Галеаццо Чиано. Возможно, свою роль в этом назначении сыграло то, что он в то время пользовался репутацией сторонника нацистов<sup>7</sup>. Но в рядах фашистских иерархов Чиано был все-таки человеком со стороны. Старая гвардия его не любила. Зато Муссолини он был чрезвычайно нужен.

Лига Наций осудила Италию как страну-агрессора, теперь возникшее напряжение следовало снять. Ведь Эфиопия все-таки сама являлась членом Лиги. Возник достаточно запутанный прецедент. Только благодаря частым дружеским консультациям с новым итальянским министром иностранных дел Пьер Лаваль, председатель Совета министров Франции, выступая на сессии Лиги Наций, заявил, что не стоит европейцам так уж сильно нападать на Рим: в конце концов, цивилизованная Италия ведет борьбу всего лишь с грубыми нецивилизованными племенами.

В итоге Эфиопия осталась членом Лиги Наций, но многие ее районы отошли Италии. Мысль об Империи больше не оставляла дуче. Ради Империи он был готов на все. Он уже открыто угрожал англичанам: «Италия — это остров, омываемый Средиземным морем. Это море (я обращаюсь здесь к англичанам, которые в эту минуту, возможно, слушают радио), это море для Великобритании — всего лишь дорога, одна из многих дорог, по которой можно добраться до периферийных территорий Британской империи. Но для нас, итальянцев, это жизнь. Мы говорили тысячу раз, и я сейчас повторяю это: мы не собираемся угрожать общей дороге, мы не намерены ее перерезать, но мы требуем, чтобы наши права и наши жизненные интересы были уважены...» С балкона палаццо Венеция говорил уверенный в себе человек.

«Черные рубашки! Жители Рима!»

Дуче знал, как обращаться к собравшимся.

Он знал, в каких местах следует выдержать паузу, где выкрикнуть слова в полный голос, а где, напротив, произнести их почти шепотом.

Актер? Несомненно.

Но актер талантливый.

Иногда он играл даже самого обыкновенного простолодыня, это многим нравилось: вон дуче! он свой парень! И фразы у него короткие, броские. Одни звучат как приказ, другие доверительно, почти задушевно.

Речами Муссолини восторгались.

*(Продолжение следует.)*

<sup>6</sup> Мильза П. Муссолини. Характер и путь. — СПб.: «Симпозиум», 2009. С. 235.

<sup>7</sup> Генри Э. Гитлер против СССР. Грядущая схватка между фашистскими и социалистическими армиями. — М.: Соцэкгиз, 1937. С. 126.

---

Владимир СКИФ

## С БАЙКАЛЬСКИХ БЕРЕГОВ

О Леониде Бородине

Нет Байкала без выдающегося русского писателя Леонида Ивановича Бородин и нет Бородина без Байкала. В последние годы жизни при всяком удобном случае Леонид Иванович стремился на родные байкальские берега, где среди фантастической красоты скал и деревьев, туманов и бескрайних горизонтов, в искрящемся сиянии многоцветного озера проходило его детство. Родители Бородина трудились в Маритуйской средней школе, и, конечно же, из первых маритуйских впечатлений выростала его звонкая, чистейшая проза «Год чуда и печали». Эти впечатления были самыми сильными и оставались рядом с ним всю его жизнь:

К Байкалу мы подъехали в ночь на третьи сутки. Тщетно я вглядывался в дверную щель. Темнота, как назло, была непроглядная. Но на первой же остановке я сразу обратил внимание на незнакомый шум. Что-то большое и тяжелое вздыхало не то сердито, не то угрожающе где-то совсем рядом с вагоном, и от этих вздохов несло холодом и сквозняком, и воздух был совсем не такой, как везде раньше, почему-то все время хотелось вдохнуть его как можно больше, и оттого кружилась голова и грудь распирало то ли свежестью, то ли сыростью, а запах, шедший оттуда, из темноты, не напоминал ни о чем знакомом и был так силен, что подавил все запахи вагона и как бы сам просился в ноздри. Несколькими часами мы ехали по берегу Байкала, хотя я никак не мог представить, как можно ехать по берегу и, тем более, как выглядит этот берег. Была такая же непроглядная темнота, когда отец возвестил, что мы приехали, и удивительно, что во тьме этой нас встречали. Двое мужчин влезли в вагон, жали руки отцу с матерью, поздравляли их с прибытием и меня тоже, а меня каждый из них хотел чем-то угостить, лез в карман, но ничего там не находил и обещал завтра: один — показать шкуру медведя, другой — покатать на лодке. Так много было новых впечатлений и ощущений, что я с какого-то момента впал в транс и плохо помню дальнейшие события. Помню, как в темноте разгружали вагон, перетаскивали вещи, по темноте меня вели куда-то, а с одной стороны теперь уже отчетливо и, казалось, где-то рядом, под ногами, вздыхало все то же неизвестное существо, и холод с той стороны, не летний, скорее позднеосенний, шел сплошным потоком и ощущался лопатками.

Всякий раз в дни праздника русской духовности и культуры «Сияние России», который вот уже в течение двадцати пяти лет проходит в Иркутске, мы отправляемся в путешествие по Кругобайкалке. Двигаться по берегу Байкала можно как со стороны Порты Байкал, так и со стороны Слюдянки и Култука. Я заметил, что каждый раз, попадая на станцию Маритуй, поезд стоит дольше, чем на других остановках. Позже я узнал, что в Маритуе наш поезд ждет встречного и уступает ему дорогу (путь-то один), а раньше мне казалось, что стоял он больше положенного времени



в угоду нашему земляку, большому московскому писателю и главному редактору одного из лучших русских национальных журналов «Москва» Леониду Ивановичу Бородину. У меня и тени сомнения не возникало в обратном, поскольку Бородина знали многие, а в Маритуе особенно — ведь это его малая родина. И если гостем праздника оказывался Леонид Бородин, то он максимально использовал полчаса времени на Маритуе, чтобы обойти родные места, и всякий раз за ним шла большая группа писателей, как иркутян, так и гостей «Сияния». А Бородин, оживленный и счастливый, шел вдоль станции, показывал на высокую гору, где он встречался со старухой Сармой, стариком Байколлой и девочкой Ри, вспоминал односельчан и одноклассников, здесь когда-то живших. А передо мной являлись строки из «Года чуда и печали»:

Помню, прежде чем войти в дом, на первой ступеньке крыльца я взглянул вверх на небо и ужаснулся: оно было обрезано по бокам темными громадами, и я догадался, что это горы, а дом наш внизу между ними. А место, где мы теперь будем жить, это... могила для тысячи слонов! — именно так мне подумалось. Стало страшно и захотелось спать. Проснулся я, как в сказке, совсем в другом, новом мире. В комнате было ослепительно светло, на стене напротив меня — это первое, что я увидел, — висел косою и теплый квадрат солнца. Комната уже приняла жилой вид, и я сам оказался не на матрасе в углу, где свалился ночью, а на кровати у самого окна, по краям которого уже висели знакомые занавески, на подоконнике стоял знакомый горшок с цветком, и в окно всей полнотой диска глядело солнце, так что и взглянуть было нельзя, и я совсем напрасно, прикрывая глаза ладонью, пытался рассмотреть, что же там, за окном. Но вспомнив, что это не вагон, что у дома есть дверь и что за нею всё в моем распоряжении и навсегда, — я тут же натянул брюки, рубашку, кое-как завязал шнурки на ботинках, еще не зная расположения дома, чутьем бросился к одной из двух дверей, попал на кухню и, не сказав ни слова маме, даже не взглянув на нее, даже носом не поведя на вкусные запахи с плиты, всем телом стукнулся по входной двери, затем по сенной и выскочил на крыльцо. «Могила для тысячи слонов» оказалась громадным ущельем, куда можно было упрятать и сто тысяч. Горы оказались намного выше, чем это угадывалось ночью, ничего подобного я и представить не мог. Крыльцо выходило в сторону ущелья, и справа от меня на самой вершине горы, на желтой отвесной скале сидело, свесив ноги, солнце. Сидело оно так удобно и уютно, что можно было подумать, будто в этих местах оно вовсе не ходит по небу, а весь день пребывает в каменном кресле, к ночи лишь прячась за его спинку. Оба склона ущелья снизу были покрыты кустарником, дальше начинался березняк, а еще выше хвойные деревья вплотную друг к дружке — и это была уже, наверное, тайга. Я еще не знал, что кустарник — это багульник, а хвойные деревья — кедры, а лес называется кедрачом, я еще ничего не знал о том, что вокруг, я только стоял на крыльце и шалел от небывалости и невиданности.

Я точно знаю, что ни у кого из писателей, живших или ныне живущих на Байкале и в Иркутске, в их очерках и рассказах нет описания ранних, детских впечатлений о великом море-озере. Каждый из тех, кто рассказывал о Байкале, рисовал картину, увиденную во взрослом состоянии, и эти впечатления, какими бы они ни были яркими и неожиданными, не передают чувств, какие испытал Леонид Бородин.

Впереди, где ущелье словно сходило на нет, поперек ущелья просматривалась другая гора, она казалась еще выше. А слева по каменистой ложбинке мне навстречу прыгала по камням речушка, и как только глаза мои притерлись к

увиденному, слух заполнился журчаньем этого горного ручья, бегущего куда-то за дом. Вдоль этого ручья-речки, дальше по ущелью, стояли дома, причем один над другим, между ними петляла и горбилась дорога и упиралась затем в большое двухэтажное здание в глубине ущелья; я догадался, что это школа. Левая сторона ущелья была ближе к нашему дому, и я снова окинул ее взглядом всю от подножья до горизонта, который так непривычно висел над головой. Тут я впервые испытал то чувство, которое сохранил на всю жизнь: горы существуют для того, чтобы на них взбираться. Не помню, сколько лет назад я последний раз забирался на какую-нибудь гору, но каждый раз, попадая в горную местность, каждую гору, каждую скалу примериваю и оцениваю: здесь бы уцепился, там подтянулся, тут перепрыгнул... И каждый раз, когда мне встречается решительно неприступная гора или вершина, это волнует меня, раздражает настолько, что может испортить настроение, хотя, наверно, для альпинистов не существует недоступных вершин. Но я никогда не был альпинистом, и покорение высоты при помощи веревок и прочих приспособлений мне представляется таким же кощунством, как если бы залететь туда на вертолете!

Полагаю, что станция Маритуй стала бессмертной благодаря слову Леонида Бородина. Как-то на «Сиянии России» мы выступали перед преподавателями и студентами Иркутского университета путей сообщения, и Леонид Иванович долго и вдохновенно рассказывал о железнодорожниках, о своей любимой байкальской станции, о необычайно трудной физической работе путевых ремонтных бригад. Рассказывал о быстрой безотлагательной замене на путях шпал и рельсов в труднопроходимых местах Кругобайкальской дороги, среди скальных навесов и камнепадов, до мельчайших подробностей вспоминал все перипетии этой работы, поскольку постигал ее своими мускулами и своим хребтом. Характеризуя тот давний период жизни, он называл себя в книге «Без выбора» «рабочим путевой бригады на родной Кругобайкальской дороге». Но это все впереди, а в начале жизни был приезд на глухую таежную станцию, постижение Байкала и окрестностей Маритуя как невероятных, таинственных субстанций, будто явленных из ниоткуда.

Тогда же, двадцать пять лет назад, все мое существо непосредственно откликнулось этой жажде подъема, и я, сбегав с крыльца, прыгая с камня на камень через речку, с ходу, с разбега начал забираться по склону ущелья, а он оказался много круче, чем виделось с крыльца, и только несколько первых шагов я сделал на ногах, затем уже на четвереньках, цепляясь за траву, мох, кусты, карабкался по прямой, пока совсем не выдохся, запала моего хватило едва ли на пятьдесят метров. Но когда остановился, выпрямился и развернулся лицом к ущелью, высота, на которой оказался, так напугала меня — особенно вид уменьшившихся домов, — что одышка перешла в спазмы. Я закачался и в тот момент впервые в жизни познал противоречие между устремленностью души к высоте и склонностью тела к падению. Я присел, вцепившись руками в мох, и никак не мог оторвать взгляда от крутизны под ногами и какой-то объемной пустоты передо мной. Но мне удалось наконец отвернуться, и я взглянул туда, куда еще не смотрел. Та сторона, когда я стоял на крыльце, закрывалась домом. Поперек опрокинутого треугольника ущелья высоченной насыпью проходила железная дорога, двухарочным мостом упираясь в самую горловину ущелья. Это было красиво, но это что! Это ерунда! Вот что было дальше, за полотном, за ущельем! Там было одно сплошное белое ничто! В учебнике географии для пятого класса я уже видел картинку, как представляли себе древние конец света. Чудак, высунув голову, видит за пределами мира хаос в виде разбросанных вещей и предметов. Ужасно нелогично: какой же это конец света, если там еще



что-то есть! Если бы конец всего действительно существовал, то он бы должен выглядеть именно так — сплошным белым ничто. Конечно, я не первую минуту жил на свете и догадался, что это туман! Но какой это был туман! Ведь чаще всего туман бывает клочьями, сгустками, полосами; здесь же ровное белое молоко, оставив в отчетливой яркости контуры склонов ущелья, сплошь до самого неба растворило в себе все, что за ним было, и пребывало в покое, который, если абсолютный, то тоже, наверное, есть ничто...

Мне довелось на протяжении многих лет встречаться и общаться с Леонидом Ивановичем в Москве, в Иркутске и на берегах Байкала, куда мы однажды втроем — Бородин, я и его иркутский племянник Олег — рванули на Олеговой машине. Стояла умопомрачительная байкальская осень с пронзительным солнцем и водой, кажется, бегущей по всему земному шару, так она широко разбегается перед глазами. Иногда начало октября на Байкале бывает удивительно мягким и по-летнему теплым, даже можно купаться, не боясь простыть, потому что байкальская вода не враждебна здоровью, а воистину целебна. Она пронзает нырнувшего в Байкал вспышкой холодного электричества, тысячами острых иголок охватывая все тело, и будто рождает тебя заново. Телу становится жарко, и даже если засвежит, подует ветерок, то он не знобит тебя, потому что тело горячо пылает, как будто растертое снегом. И вот какие чувства испытал маленький Леня от первой встречи с байкальской водой:

Я наконец пришел в себя и опрометью кинулся прочь из-под моста навстречу и в самые объятия чудесному туману. От моста пробежал не более двадцати шагов, как вдруг ноги мои обожгло. Не сообразив сразу, в чем дело, нагнулся и только тогда увидел воду. Когда же сделал несколько шагов назад, посмотрел перед собой и опять ничего не увидел, кроме белого тумана перед собой и везде впереди. Тогда я опустился на корточки и шажками стал подкрадываться к воде и обнаружил ее, притворившуюся тонким, светлым стеклышком. Зрение она могла обмануть, но осязание — нет! И когда я осторожно дотронулся до нее пальцами, она, словно устав от притворства, охотно расступилась, пропустив пальцы в свой нелетный холод, но замкнулась в стекло тотчас же, как только я убрал руку.

Долго я сидел на корточках и рассматривал камешки под стеклом, иногда вынимая тот или другой, словно проверяя, такие ли они в действительности, как видятся. Когда я поднял глаза, туман уже отступил достаточно далеко, хотя все еще стоял сплошной белой завесой, но все же отступал он уже прямо на глазах, и передо мной все больше и больше открывалось застекленное пространство, ни малейшим движением, ни единой морщинкой не выдававшее своей подлинной сути. И чем больше пространства открывалось впереди, тем упорнее создавалось впечатление громадного, бесконечного стекла, от ног моих уходившего к небу и перекрывшего всю остальную землю.

Стекло — это хрупкость! Жажда познания выявляется у детей потребностью проверки качества предмета, и я, нагнувшись, взял в руку большой камень. Притом ощущение было такое, будто стою перед окном с хулиганским помыслом. Помысел оказался непреодолим, и, размахнувшись, я кинул камень как мог дальше. Раздался типичный треск разбитого стекла, полетели вверх осколки, пошли круговые трещины, расходясь в стороны, как борозды грампластинок. Первая, самая крупная борозда достигла меня и укоризненно облизнула мои и без того уже мокрые ботинки. Но через мгновение от моего хулиганства не осталось и следа, след от удара зарос гладким, спокойным стеклом, как будто ничего не случилось. Если бы окна домов обладали тем же свойством, насколько счастливее было бы детство мальчишек!

В тот наш осенний приезд на Байкал мы оставили машину внизу, недалеко от заброшенной ныне судовой верфи, и взобрались на крутой берег. На самом краю стояло несколько могучих древних лиственниц, а слева на прочном пояске гористого выступа уже появились разношерстные новостройки. Бизнесмены не тратили времени даром, молниеносно захватывали экзотический берег поселка Листвянка. Вообще-то он, этот берег, захватывался с самого начала перестройки, и по всей Листвянке в невообразимой толчее, почти один на другом, с начала девяностых росли коттеджи и каменные дома-монстры, невообразимо безвкусные по архитектуре замки и гостиницы, рестораны и частные ночлежки.

Мы стояли на высоком берегу, вернее, не стояли, а парили над Байкалом. Внизу, в чутких, едва колышущихся волнах, серебрилось, золотилось и взлескивало разбитое в осколки солнце. Над морем стонала, то садясь и взлетая, то ныряя в Байкал, огромная стая чаек, и эти белые чайки, перемешанные с яркими блестками и перьями отраженных солнечных лучей, напоминали своим кружением и сверканьем какой-то неземной мистической танец то ли инопланетян, то ли шаманов.

Леонид Иванович, завороченный и молчаливый, смотрел вдаль и вспоминал свое детство, потом, повернувшись к нам, сказал:

— Не верится, что Байкал можно так просто умертвить. Хотя — кто его знает? Вон, даже отсюда виден черный столб дыма над Байкальском. С детства я, как тайну, храню свою привязанность к Байкалу, к станции Маритуй, к тем скалам и тропкам, по которым спускался или поднимался, и никому не рассказывал о своих чудесных снах и открытиях. Все то волшебство, которое со мной случилось и которое меня окружало на Байкале, оно как будто бы меня воцерковило, как воцерковляет человека православная вера. Эта религия Байкала стала первоосновой в моем понимании окружающего мира.

В тот день мы, насладившись Байкалом и собираясь отъезжать в Иркутск, сидели в машине, пили чай из термоса и ели пирожки с байкальскими грибами, и вдруг я увидел на причале хорошо знакомого мне Алексея Федоровича Тирских, который когда-то давно капитанил на огромном плотозове то ли «Севан», то ли «Балхаш», а сейчас трудился на небольшом «ярославце» у одного из частных владельцев. Я выскочил из машины и пригласил Тирских подойти к нам.

— Вот, Леонид Иванович, — обратился я к Бородину, — это наш портовый капитан Алексей Федорович Тирских, он когда-то жил в Маритуте и учился у ваших родителей.

Бородин заблестел глазами, радостно улыбнулся и, пожимая Тирских руку, пригласил его в машину. Они сели на заднее сиденье, а мы с Олегом, чтобы им не мешать, вышли.

В этой поездке на Байкал мы много говорили о политике, о том, что может случиться с Россией на ее поворотных путях и заносах. Бородин на все имел свою точку зрения:

— Советский Союз уничтожили прежде всего как основу национального государства! Русской державы почти нет, — говорил он жестко, — мне кажется, что грядет разрушение России, причем тотальное разрушение. Во времена доходящей до бешенства смуты, в дичайший век проходимцев и авантюристов, специально насаждаемого в стране бесчестия и бесстыдства, очень сложно выстоять.

Все то, о чем мы говорили, основные его мысли и предсказания впоследствии, к сожалению, сбывались.

Он был четок, упрям и в споре не уступал никому. Я помню эти неуступчивые с обеих сторон споры с Владимиром Личутиным в Иркутском гуманитарном центре



(библиотеке им. Полевых) или споры с пылью до потолка со Станиславом Куняевым в отстаивании главных направляющих линий журналов «Москва» и «Наш современник». Бородин был чрезвычайно убедителен, неумолим и держался стойко, надежно, не раскалялся добела, не опускался до оскорблений и не позволял себя оскорблять.

Однажды в Москве в его кабинете накануне 50-летия журнала «Москва» вся редколлегия отмечала успешную сдачу очередного номера в печать, и Бородин попросил меня поздравить редакцию журнала. Я поднял бокал и произнес тост за Леонида Ивановича, на что он мне ответил:

— Бородина нет без редколлегии, переадресуй свой тост.

И я поздравил всю редакцию журнала.

Леонид Бородин очень гордился тем, что его называли коренным сибиряком, иркутянином. Фамилию и отчество ему подарил отчим Бородин Иван Захарович, учитель, директор школы. Но и родной отец Леонида Бородина, Феликс Казимирович Шеметас — литовский офицер, осужденный в СССР за шпионаж и после второго срока в Соловках сосланный в Иркутск и расстрелянный в 1941 г., — тоже был учителем. Воспоминаний о родном отце у маленького Лени не осталось, да ему особенно о нем и не рассказывали. И лишь к двенадцати годам он кое-что узнал:

Отец ушел из моей жизни, когда жизнь моя только началась.

Его «забрали» однажды и навсегда и проделали это так добросовестно, что не осталось от него ни фотографии, ни письма и вообще ни строчки, и в итоге к тому времени, когда я научился задавать вопросы, повода для «вопроса» не существовало вовсе, потому что в доме не сохранилось ни единой, даже самой пустяковой, вещицы, принадлежавшей отцу. Самые первые мои воспоминания о себе связаны с присутствием в моей жизни отчима.

Это я сейчас так говорю — отчим. Говорю и тем словно обижаю человека, которого и по сей день именую отцом, и никак иначе, потому что дай бог каждому такого родного, каким был для меня неродной.

Я выросал с величайшим почтением к своим родителям. Мое уважение к ним было беспредельно. По сей день загадка — как им удалось произвести и ежедневно производить на меня такое впечатление. После Сталина мои родители были самыми умными и самыми работающими, самыми сознательными и самыми честными гражданами страны. По профессии учителя, они были в полном смысле слова одержимы своим учительством. Мы и жили чаще всего при школе, то есть в помещении школы. Разговоры в семье — об учениках и учителях. Споры в семье о том же. Скорее всего, именно одержимость работой и полнейшее отсутствие каких-либо иных интересов, хозяйственно-собственных к примеру, и было основанием моего глубочайшего уважения, почти преклонения, почти обожествления родителей. Мать, окончившая в свое время библиотечный техникум и какие-то учительские курсы, была для меня образцом образованности. Начитанность ее и вправду могла поразить кого угодно, а культ книги в нашей семье удивлял даже коллег-учителей. Отец (отчим — до чего ж дурное слово!) — сын крестьянина Орловской губернии — через те же учительские курсы выбился в учителя и, я бы сказал, воплотился, то есть обрел этот новый социальный статус, прекраснейшим образом сохранив в душе лучшее, что получил в крестьянском детстве, например, почти цыганскую любовь к лошадям. Он, отец (отчим) мой, за всю жизнь ни разу не выматерился, не курил и был решительно равнодушен к алкоголю. Имел он и многие другие достоинства, кои не потеряли ценность в моих глазах позже, когда научился смотреть на родителей своих трезво...

Но к двенадцати годам, то есть к тому времени, к тому дню и часу, когда случайно узнал о неродстве отца, был он для меня воплощением всех возможных человеческих достоинств, и удар, нанесенный полученной информацией, был столь силен, что только детство — это особое состояние души и психики, только оно спасло меня от надлома, которого не избежать бы в том же юношеском возрасте. Я попросту не понял, что значит быть неродным сыном отцу или неродным отцом сыну. Неродной отец — это же нелепость! Он — отец или не отец. И я — сын или не сын. Слово «неродной» не имело самостоятельного смысла. И мое отношение к отцу (теперь отчиму) не изменилось ничуть, как и его ко мне.

Но и любопытство к тому, другому, от которого в доме ничего не осталось, оно, это любопытство, также поселилось в душе, тем более что, как оказалось, тот отец был литовских кровей, и этот факт имел ко мне какое-то отношение, которым я даже несколько кокетничал, ведь вокруг все сплошь были русские, а я — вот нате вам! — не так...

В пятнадцать лет с благословения (или с согласия?) родителей я предпринял некоторые розыски следов того отца, нашел знавших его, получил не очень внятные мнения о нем (как-никак — враг народа!) и, сколько помнится, был вполне удовлетворен достигнутым. Во всяком случае, факт «двуотцовства» ни в малейшей степени не отразился на моих первых самостоятельных шагах по жизни.

Мама Валентина Иосифовна и отчим Иван Захарович, действительно, были самыми любимыми, самыми преданными ему людьми. Они воспитывали в своем сыне любовь к ближнему, добропорядочность, справедливость и осмотрительность, но совершенно особенный след в жизни будущего выдающегося писателя оставила бабушка Ольга Александровна Ворожцова, дочь небогатого сибирского купца, тоже учительница и, как говорил сам Леонид Бородин, «энциклопедистка». Она преподавала в Иркутском сиропитательном приюте, а в русско-японскую войну служила санитаркой в офицерском госпитале при штабе генерала Куропаткина. Потом она будет работать на первой байкальской метеостанции в Маритуге, ставшем для юного Лени Бородина отправной точкой его жизни и творчества. И главной здесь будет бабушка.

Это она научит и приучит меня всему, что нужно детству — от трех лет до одиннадцати. Первое и главнейшее — жить с книгой. Она же в самом моем раннем детстве сумеет нарисовать по уровню понимания моего картину русской истории, ту, что началась в незапамятные времена, где-то с «царя Салтана», трудно, но славно длилась тысячу лет, а в семнадцатом году только запнулась о колдобину накопившейся человечьей злобы — и, как говорится, рожей в грязь; да на то Божии дождики, чтобы отмываться и светлеть ликом более прежнего.

Русская культура, книги и фольклор, музыка и поэзия — все это формировало Бородина как творческую личность. Воистину незаменимой в его жизни станет книга.

«Как ныне собирается...» знал в восемь, «Песнь про купца...» в девять, в это же время — «Тарас Бульба» и «Капитанская дочка». Фет, Тютчев, Майков, Полонский — это во время наших с ней постоянных прогулок по ближайшим лесам. (Когда позднее начинал читать Маяковского — словно гвозди заглатывал.) Горестные ямщицкие песни — перед сном. Мировой оперный репертуар — весь до двенадцати лет. Дочь девятнадцатого века, она не изжила романти-



ки народовольчества, и некрасовский плач о страдальце-народе образом «несжатой полосы» прочно окопался в душе, формируя ту самую «отзывчивость», каковая в итоге и образовала мою жизнь так, как она прошла.

Много мне поведала купеческая дочь, но ни слова о Боге и ни слова о советской власти. Пока она была жива, мы существовали с ней вдвоем в несколько странном национальном поле, куда злоба или доброта дня длящегося не залетала. То было поле духа, единого национального духа, но, как понял много позднее, духа все же ущербного, ибо без высшей явности духа — Духа Свята; о Его присутствии в мире мне поведано не было. И эта ущербность воспитания так и осталась до конца не преодоленной. По молодости она компенсировалась особенным, иступленным отношением к Родине, в чем, безусловно, был изъян, поскольку в моем взыске к Родине первичной была требовательность: как у любимой женщины, у нее не должно быть недостатков. При обнаружении таковых я испытывал почти физическую боль, потому что, в отличие от взаимоотношений с женщинами, которых любил, любви к Родине у меня не было, не могло быть, ибо в сознании вообще не существовало разделения на субъект — объект. Если б кто-нибудь спросил, люблю ли я Родину, то, конечно, какой-нибудь ответ прозвучал бы, но сам вопрос остался бы непонятым по существу. Как можно любить или не любить то, чего крохотной, но все же неотъемлемой частью являешься сам? Разве в любви дело? Дело в соответствии: если я плох (а я не сам по себе, я часть), то своей плохотой я уплошаю и все, от чего неотрывен...

В 2003 г. Леонид Иванович издаст книгу автобиографической прозы «Без выбора», в которой расскажет о своей непростой жизни, наполненной самыми разными событиями, настолько поразительными, что кажется, будто это жизнь не одного человека, а нескольких. Леонид Бородин не только выдающийся русский прозаик, он еще и настоящий, истинный поэт. Вот одно из самых ранних стихотворений, которое он скромно называл «стишок»:

*Страна моя! В твоём просторе  
От тех дорог до тех дорог  
Сто иностранных территорий  
Я б без труда упрятать мог.  
Страна моя — кусок что надо!  
Не на аршин, не на пятак  
Авансом выдана награда.  
И жить хочу не просто так!*

А вот уже совсем другие стихи, написанные через пятнадцать лет, и, как пишет сам Бородин: «легко ль ли поверить, что написаны они в камере Владимирской тюрьмы на шестой день голодовки — по поводу чего, уже и не помню»:

*Мне Русь была не словом спора,  
Мне Русь была — судьба и мать.  
И мне ль российского простора  
И русской доли не понять,  
Пропетой чуткими мехами  
В одно дыхание мое.  
Я сын Руси с ее грехами  
И благодатями ее.  
Но нет отчаянья предела,  
И боль утрат не пережить.*

*Я ж не умею жить без дела,  
 Без веры не умею жить,  
 Без перегибов, перехлестов,  
 Без верст, расхлестанных в пыли.  
 Я слишком русский, чтобы просто  
 Кормиться благами земли.  
 Знать, головою неповинной  
 По эшафоту простучать...  
 Я ж не умею вполонину  
 Ни говорить и ни молчать...*

Путевой рабочий на Кругобайкальской железной дороге, учащийся школы милиции в Елабуге, студент-историк Иркутского госуниверситета, студент пединститута, бурильщик на Братской ГЭС, проходчик норильского рудника, учитель и директор школы в селе Серебрянка Лужского района Ленинградской области, сторож базы зверопромхоза в сибирской тайге под Култуком и Слюдянкой, кочегар, конюх и дворник в Иркутском медучилище, поэт и прозаик, философ и мыслитель, публицист и главный редактор журнала «Москва», преподаватель Литературного института имени А. М. Горького, член Общественной палаты Российской Федерации, писатель-классик, автор семитомного собрания сочинений — это все Леонид Иванович Бородин.

А еще — член «Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа» (ВСХСОН), знаменитый диссидент, «сиделец», политический заключенный, отмотавший два срока в советских лагерях. Первый срок — с 1967 по 1973 г. — за «антисоветскую пропаганду и агитацию» отбывал в исправительно-трудовой колонии ЖХ 385/11 (Мордовия), а с 1970 г. — во Владимирской тюрьме, куда был переведен по требованию лагерного начальства. Освобожден в феврале 1973 г. после полного отбытия срока.

Самыми счастливыми годами жизни Леонид Иванович считал годы работы вместе с женой Ларисой в сибирской тайге на базе зверопромхоза в районе Култука, куда они, счастливые и влюбленные, отправились 11 июня 1973 г. В этих благословенных местах они фактически были хозяевами огромного кедрово-таежного пространства, и все остальные, кто приходил в тайгу с наступлением сезона на шишкобой или сбор грибов и ягод, действительно, относились к ним как к хозяевам, с уважением и почетом. Здесь Бородин написал совершенно удивительную повесть «Третья правда», сюжет которой он обдумывал еще во владимирских камерах.

Там, в сиятельной тайге, в трудах и заботах по обустройству таежного лагеря, в благолепии природы, во взаимной радости и любви обретал себя будущий великий писатель Леонид Бородин. Испытания и радость взаимного бытования, неурядицы и романтика — все шло рядом.

«Поедем, красotka, кататься!» — предлагаю я жене и седлаю обеих лошадей. От базы вдоль гривы километра на четыре укатанная тракторная дорога. Без седла я не усiju на лошади и километра, зато в седле хоть так, хоть этак, то есть боком, хоть с уздой, хоть без. Монголки рысью не умеют, с шага сразу в галоп. Зато не галопируют — стелются вдоль дороги. Все это конспективно объясняю жене, до того видевшей лошадь в основном в кино. Возмущен ее робостью, оскорблен неразделенностью настроения. Не уговариваю, заставляю водрузиться на кобылу. Ну как же! Такая луна и дорожка прямая! Это ж на всю жизнь запомнится! При посадке лошадь наступает копытом жене на ногу, я слышу вскрик, но не обращаю внимания: я уже вижу, как мы вдвоем скачем по ночной безлюдной, луной высвеченной тайге.

<...>

Мы уходили от тумана  
 на длиннохвостых кобылицах,  
 росу копытами сбивая,  
 в росе копытами звеня.  
 Сквозь удила храпели кони,  
 хлестали гривами по лицам,  
 и в нашем радостном побеге  
 ты не отстала от меня!  
 Мы уходили от тумана,  
 и мы неслись, и мы летели...  
 и все случилось, как случилось  
 в забытых юношеских снах, —  
 мы в этом яростном галопе  
 смогли познать на самом деле,  
 что могут двое, если двое  
 на стременах!  
 Без колдовства и без обмана  
 вдруг стала явью небылица —  
 в одном рывке, в едином вихре  
 навстречу призрачности дня  
 мы уходили от тумана  
 на длиннохвостых кобылицах,  
 и в нашем радостном побеге  
 ты не отстала от меня!

Но 13 мая 1982 г. Бородин был повторно арестован и осужден. Как «рецидивист» приговорен к десяти годам заключения и пяти годам ссылки. ТАСС сообщило, что Бородин «в течение многих лет вел незаконную деятельность... хранил и распространял работы, содержащие клевету на советский государственный и общественный строй, переправлял на Запад по нелегальным каналам собственные клеветнические произведения, которые публиковались в издательстве НТС «Посев» и незаконно ввозились назад в СССР для распространения». Отбывал срок уже в другой исправительно-трудовой колонии, в Пермской области (политическая зона Пермь-36), откуда освобожден в 1987 г. после решения Политбюро ЦК КПСС об освобождении (помиловании) осужденных по статьям 70 и 190-1 Уголовного кодекса. Писать прошение о помиловании Леонид Иванович Бородин отказался.

В камере второго срока он напишет жене ободряющие стихи:

*Обмануты вещими снами,  
 Поверим, что жизнь не окончена.  
 Все злое случилось не с нами,  
 А с кем-то, прошедшим обочиной.  
 И снова дорога брусничная  
 Кедровым кореньем подкована,  
 Все главное, важное, личное  
 У нас в рюкзаках упаковано.  
 Во все, до сих пор невозможное,  
 Мы снова уверуем истово.  
 Распахнутся пади таежные,  
 Расстелются тропы змеистые...*

По прошествии многих лет он будет снова и снова вспоминать былые годы, свою малую родину, Сибирь, куда он приезжает все реже и реже, и однажды на больших ногах заберется в Маритуге на знаменитые, сохраненные в памяти и в книге «Год чуда и печали», скалы...

И нынче грустно и умильно смотрим на сохранившиеся фотографии, снимки подтверждают, свидетельствуют — оно было, стихийное, нерелефное счастье, иначе зачем бы их хранить, фотографии эти...

Или вот еще: стоим мы с женой на том самом месте, где великая Ангара выпадает-вытекает из великого Байкала. С другой стороны ангарского пролета, из-за горы, что над поселком Листвянка, выплывает-возносится красный шар луны. Он так огромен, как бывает огромен, рассказывают, только в африканских пустынях. Только в пустынях, сколь ни велик шар, он все равно далеко. А тут — рукой подать — красно-оранжевое чудище с таинственной ухмылкой... И тотчас же с того ангарского берега к нашему — красно-оранжевая дорога, и прямо в ноги упирается, если ноги у самой воды. Иноприродная плотность лунной дороги до того обманчива, что от отчаяния вопиешь к разуму, чтоб не ступить и не зашагать... От соблазна шаг назад. А шар висит над горой в раздумье: дескать, ну что им еще надо, людишкам — мотылькам вечности...

Вспоминаю один из приездов в Москву. Пошел к Бородину в журнал и встретил его прямо у дверей редакции: он вместе с водителем ремонтировал старую редакционную «Ниву». Увидев меня, улыбнулся:

— Вот видишь, старушку-легковушку чиним, авось доведет нас до хорошей жизни.

Никого не довезла старушка «Нива» до хорошей жизни. Жизнь стала еще горше, еще разрушительней, чем та, которую предрекал Леонид Иванович Бородин в своей публицистике.

...Меня с ласковой улыбкой встречает бывшая заведующая редакцией Саша Соловьева, которая сегодня работает в книжной лавке журнала «Москва», радуется нашей встрече, предлагает новые книги и среди них — собрание сочинений Бородина. Мы вспоминаем Леонида Ивановича, и мне почему-то не хочется подниматься в редакцию, где его нет.



Тамара БУСАРГИНА

## О ТВОРЧЕСТВЕ ЕВГЕНИЯ БОГОМОЛОВА

Так уж получилось, что с искусством Евгения Богомолова я впервые познакомилась по фотографиям с его работ. Потом, при посещении выставки «Независимый формат» в Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева, я была немало удивлена: что на фотографии я почитала короной, на самом деле оказалось кольцом.

По опыту я знаю: значимость, образное и смысловое наполнение любой по размеру пластической вещи хорошо проверяется таким способом. Что-нибудь неимоверно большое в оригинале в фотографическом воспроизведении умалется до малой пластики — хоть на комод поставь. Евгений Богомолов и на прошедшей в художественном музее эффектной выставке мэтров иркутского авангарда не потерялся, а ведь среди экспонатов были вещи (например, В. Соколова) в метровом измерении.

Работы Е. Богомолова даже на самый первый взгляд производят впечатление художественной основательности, без чего все ухищрения ремесла не имеют смысла. Работы хотелось рассматривать: не только украшения, но и станковые чеканные пластины сработаны честно, с ювелирной точностью деталей. При несомненной его мастеровитости, художник не забывает, что мастерство приобретает для того, чтобы суметь отобразить самое главное: поэтический смысл вещей.

Мастерству Е. Богомолова удивляться не приходится, ведь он прошел хорошую

школу. Еще до поступления на факультет изобразительного искусства Иркутского государственного педагогического университета он изучал ювелирное дело у иркутских мастеров, учился способам работы штихелями, гравировке по серебру, золоту, меди, латуни и стали, а также увлекался мелкой пластикой по дереву, бивню мамонта, рог оленя и т. д. Профессор В. Г. Смагин поощрял стремление студентов к освоению техники, приемов работы с различными материалами, что сделало выпускников факультета монументально-декоративного искусства художниками широкого творческого диапазона. Дипломная работа Е. Богомолова — витраж в технике тиффани — в 2008 г. была удостоена бронзового диплома на международном смотре-конкурсе творческих работ «Золотая пропорция». В более благоприятные для монументалистов времена Е. Богомолов был бы, несомненно, значимым автором. И все-таки любовь к металлу была неизбывной. После окончания университета он вплотную занялся чеканкой, прошел мастер-классы по этой технике в Европе, Марокко и Камбодже.

Известно: пластика всех видов издревле служила делу воплощения, как говорили в старину, «важных, строгих и полных мудрости идей». Идеи эти не обязательно должны были воплощаться через какие-то «величественные» темы. О вечном может сказать и самый простой бытовой мотив. Вот и Е. Богомолова интересуют образы,

связанные с бытом, городские пейзажи, натюрморты, а также темы искусства, литературы, музыки. Но даже самые простые по сюжету его работы могут погрузить нас в раздумчивый мир тишины, достоинства, красоты. Вне зависимости от того, где протекает эта обычная жизнь, она, не теряя своей конкретности и единственности, в чеканках Е. Богомолова стремится выйти на такую меру обобщения, когда быт воспринимается бытием, как в «Сторожке Аскольда» (2009, чеканка, медь) или «В жилище Богодула» (2009, чеканка, медь, стекло), в натюрморте «Гранаты» (2009, чеканка, медь, стекло), в «Сельских новостях» (2009, чеканка, медь), «Лисичках» (2008, чеканка, латунь) и др. В этих работах (большинство из которых, кстати, выставлялись на международных выставках в Москве, Чехии, Португалии и т. д.) автор прибегает к классицистическим приемам композиционного построения. Гармония вертикалей и горизонталей в натюрмортах являет образ основательности и цельности жизни, крепкую вплетенность всякой вещи в совокупное житье-бытье — при совершенной самодостаточности всех этих рыб, кружек, ламп, кувшинов. Импульсом для творчества тут, безусловно, послужило непосредственное переживание природы. Но даже и здесь мотив подвержен той мере стилизации, которая должна быть у художника, имеющего дело с «вечным» материалом.

В других вещах этого же периода повествовательность, узнаваемость деталей не мешает более широким ассоциациям, дает простор для метафоричного толкования мотива. Не знаю, что автор имел в виду, но я, глядя на работу «Сон благородного, Елена Дьяконова и...» (2009, чеканка, медь), связала в единый узел русскую культуру и Сальвадора Дали, который всегда ощущал ее магнетизм. Его творчество получало русский импульс как бы с двух сторон: от нашего великого Достоевского (книга и свеча на столе, где он спит, вполне дополняли его образ) и от жены, Елены Дьяконовой...

Мое восприятие работы оказалось неверным: спал то, оказывается, сам автор, Евгений, в переводе с греческого — «благородный». Позже из рассказа Е. Богомолова я узнала, как он пришел к этому сюжету: в готическом квартале Барселоны, в ресторане «Четыре кота», где когда-то собирались знаменитые поэты и художники, автор уснул и увидел всю эту сцену: Дали держал в одной руке трубку, источающую необыкновенный аромат, а в другой живописный холст со слонами на длинных ногах. Напротив Дали стояла Галя в образе медузы Горгоны. Это как раз тот случай в изобразительном искусстве, когда смысл произведения раскрывается в полной мере лишь тогда, когда зритель уяснил авторскую «программу», обозначенную им в названии работы. А в отсутствие автора можно дать себе полную свободу — просто оценить композиционное решение, полюбоваться мастерством в отделке деталей, удивиться, как прямо на твоих глазах раскаляется медь в выпуклостях пластины, отметить, как хорошо удалось художнику заключить в круг, образованный ритмической группой из рук трех персонажей, кусок крошечной тьмы. Это «пустое» пространство в середине рельефа тоже может иметь свое, основанное на биографии Дали, зрительское толкование. Чеканка «Сон благородного...» заняла первое место в Берлине на конкурсе скульптуры, посвященном «Дням славянской письменности и культуры» (номинация «Классическое искусство»).

Другая скульптура — барельеф «Довольно грустить» (2010, чеканка, медь, олово, стекло) — посвящена джазовому стилю босанова, начавшемуся с музыкальной композиции под таким названием. Помимо деталей, говорящих о том, что речь в скульптуре идет о музыке, композиционное, цветовое и ритмическое решение — разделенное диагональю грифа контрабаса пространство барельефа, его необычно насыщенный цвет, яркий акцент рубинового стекла, тоже разделенного надвое, — все

живет характером латиноамериканской музыки с ее вечной темой противоборства и притяжения двух стихий — мужской и женской.

В другой работе — «Нашествие 1492» (чеканка, латунь, стекло) — тоже есть кое-какие знаковые детали, раскрывающие смысл изображенного. Но здесь другой ход — Е. Богомолов художественными средствами дает почувствовать горестный итог нашествия на Мезоамерику европейцев: расколотое надвое лицо, выполненное из двух пластин зеленого стекла, представляет собой образ расколотого мира этой некогда великой и самобытной доколумбовой цивилизации (чеканка получила первые места на международных конкурсах в Москве и Риге). Таким образом, в творчество Е. Богомолова входят сюжеты не только из русской истории. К слову сказать, художник много путешествует по Европе и Востоку — не только из туристического любопытства, но прежде всего из похвального желания осмыслить жизнь человеческую и опыт ее отображения в европейском и восточном искусстве, в различных видах круглой пластики и рельефа. Изучение традиций работы с разными материалами, с разными техниками, освоение мирового опыта сочетания чеканки с гравировкой, изучение способов, которыми пользовались средневековые и современные мастера для выявления декоративных свойств металла, его сочетания с камнями, стеклом — все это дало свои плоды. Думаю, что художник, познавая мировой опыт, укрепился во мнении, что, в независимости от техники и материала, надо везде искать образный смысл. Даже там, где его искать и непривычно. Например, в так называемой «ювелирке».

Ничего более необычного в этом жанре мне, честно говоря, видеть не приходилось. Меня удивило, как можно так свободно соединить в одном эзотерическом талисмани строго графический, полный утонченных деталей солярный знак в центре композиции с барочным обрамлением, а всю подвеску совершенно архаическим — «варварским»

— способом прикрепить к держателю-ожерелью. И как необычен и в то же время привычен «Крест православный», где барочное волнение большого нижнего креста умиряется классически строгим рисунком восьмиконечного канонического православного креста. И это смешение стилей и стихий не смущает — все красиво. Вот уж где гедонистическая струя творчества Е. Богомолова дала о себе знать во всю мощь.

То обстоятельство, что художник учился на монументально-декоративном отделении, определило пластическую мощь и декоративную роскошь его колец, брошей, подвесок и браслетов и их значительность, самодостаточность вне утилитарности. Я, честно говоря, не очень представляю, «как все это будет носиться», хотя в наше время ломки стереотипов найдутся смельчаки, которые не побоятся надеть на шею прелестно имитирующий пелену образок «Господь Вседержитель» или подвеску с изображением Андрея Первозванного. Почему бы и нет — эти небожители особенные, не строгие и не такие уж канонические, совсем «обрусевшие», так по домашнему они смотрят на нас в оконце из березовых полешек. Эти иконки сродни эзотерическим талисманам и кольцам художника («Цивилизация майя», «Египетский бог-Сетах», «Египетский бог-Геб»). Автор открывает какой-то новый подход к утилитарности и именно поэтому обрабатывает и даже нагружает смыслом невидимую часть изделия — можете носить, можете просто любоваться, вникать в образный строй и красоту. Таковы кольцо «Цивилизация майя» — с пластинами, изображающими хорошо известные майянские росписи, или «Египетский бог-Сетах» — со знакомым мотивом египетского креста. В работе с малыми формами художник показал основательное знание фактурных возможностей золота и серебра, он свободно играет с драгоценными камнями и стеклами различных конфигураций и цветов, его камни являются нам то в привычных

обработанных формах, а то и так, как будто их только что вынули из породы, как, например, в garniture «Гауди». Вместе с тем все взвешено и продумано. Живые формы, иногда с небольшими намеками на натуру, а иногда и вовсе без них, но неотделимые от природных стихий, делают некоторые украшения, может быть, излишне взволнованными, и тогда, как бы преграждая путь их безудержному напору, непривычному для такого рода искусства, художник вносит во все это некое усмирение — спокойной квадратной формой изумруда, графикой подписей и клейма, ритмом камней, геометрией крестов и т. д.

В станковых работах более позднего периода по мере роста мастерства художник позволяет себе большую детализацию, поверхность приобретает богатую светотеневую вибрацию. Е. Богомолов умеет извлечь из материала все его светозарные возможности, и тогда многие станковые вещи, на мой взгляд, приобретают некое промежуточное звучание — настолько они живописны. Таковы «Благородный мир» (2013, чеканка, гравировка, латунь), «Автопортрет» (2012, чеканка, латунь), «Il Maestro — Леонардо да Винчи» (2012). На последней работе хочется остановиться более подробно. В ней, как и в двух предыдущих, мы видим множество деталей, помещенных автором в особый культурный контекст. Леонардо да Винчи узнаем сразу — нам вполне знаком портретный облик великого итальянца. Но первое, на что обращаешь внимание, — его голова, вписанная в крест. Этот мотив символизирует художническую судьбу Леонардо, его понимание служения искусству как крестного служения. Поверхность, сотканная из множества тщательно

сработанных примет времени (письмена, например, хочется разглядывать бесконечно), звучит ностальгически и благородно — манера чеканки и гравировки заставляет вспомнить мятежных художников, смиряющих свою гордыню в искусстве дисциплиной ренессансных регламентаций. (На международном конкурсе современного искусства в Москве в 2013 г. работа получила второе место.)

Умение сконцентрировать в небольших по размеру работах творческое напряжение, а с другой стороны — сдержанность, усмирить авторское волнение тщательно продуманными, продиктованными вкусом и чувством меры средствами, умение выбрать из широкой палитры выразительных средств только те, что согласованы с замыслом, тактично подобрать размер и формат, безусловный дар композиции, щедрое разнообразие ритмических мотивов — все это говорит о том, что Е. Богомолов состоялся как художник. В его творчестве видна культура и некое, я бы сказала, целомудрие, что по нынешним временам редкость.

Напоследок мне бы хотелось выразить некоторое сочувствие автору и организаторам больших, в том числе и зональных, выставок: Е. Богомолов, как, видимо, и другие чеканщики, прикладники, требует какого-то другого, отличного от картинного, способа экспонирования. Впрочем, его творчество, независимо от вариантов показа, не теряется в современном арт-потоке. Евгений Богомолов — участник множества различных городских, областных, российских, зарубежных выставок и лауреат четырнадцати международных конкурсов. Его работы находятся в частных коллекциях в России, Франции, Израиле, США, Германии.



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Болдырев Андрей Владимирович** родился в 1984 г. в Курске. Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Нева», «Сибирские огни», «Эмигрантская лира», «Кольцо А» и др. Лауреат Волошинского конкурса (2015) в номинации «Рукопись неопубликованной книги». Член Союза писателей Москвы. Живет в Курске.

**Бусаргина Тамара Георгиевна** родилась в Иркутске. Окончила Иркутский государственный университет и факультет теории и истории искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Кандидат искусствоведения. Автор более сорока работ по истории искусства Сибири, детскому художественному творчеству. Живет в Иркутске.

**Игнатъев Андрей Николаевич** родился в 1985 г. в Устинове (ныне Ижевск). Окончил Ижевский государственный технический университет. Работает инженером Российского федерального ядерного центра (ВНИИТФ). Живет в Снежинске Челябинской области.

**Краснов Борис Николаевич** родился в 1953 г. в Ленинграде. Работает ведущим инженером в ПАО «РИМР». Публиковался в журналах «Нева», «Северная Аврора», «Родная Ладога» и др. Автор пяти книг стихов. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

**Кузнецова Надежда Леонидовна** родилась в 1961 г. в Семипалатинске. Училась в Новосибирском государственном университете на историческом факультете, позже — на филологическом факультете Семипалатинского педагогического института. Преподавала в школах Искитима, Бердска, в Новосибирской консерватории, печаталась в сибирской прессе. Автор семи книг прозы и девяти пьес. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Гильдии драматургов России. Живет в Санкт-Петербурге.

**Мамонтов Евгений Альбертович** родился в 1964 г. во Владивостоке. Окончил

Литературный институт им. Горького. Работал киномехаником, стрелком ВОХРа, преподавал историю литературы и драмы, культурологию. Публиковался в журналах «Дальний Восток», «День и ночь», «Октябрь» и др. Живет в Красноярске.

**Нацентов Василий Павлович** родился в 1998 г. в с. Каменная Степь Воронежской области. Учится на географическом факультете Воронежского университета. В десять лет начал печататься в районной газете. В пятнадцать стал внештатным корреспондентом областной. Пять лет — в археологических экспедициях по Среднему Дону. Публиковался в журналах «Подъем», «Наш современник», «Москва», «Кольцо А» и др. Дипломант литературного форума им. Гумилева «Осиянное слово» (2016, 2017). Живет в Воронеже.

**Прашкевич Геннадий Мартович** родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорокий», «Теория прогресса», биографических книг о Жюль Верне, Уэллсе, Брэдли и др. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат ряда отечественных и международных литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.

**Скиф Владимир Петрович** родился в 1945 г. на ст. Куйтун Иркутской области. Окончил отделение журналистики Иркутского госуниверситета. Служил на Дальнем Востоке в морской авиации. Автор 27 поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий. Стихи переведены на сербский, венгерский, болгарский языки. Живет в Иркутске.

**Соловьев Сергей Владимирович** родился в 1956 г. в Ленинграде. По профессии — математик. Автор романа «День ангела», книги стихов и прозы «4+1», биографии Дж. Р. Р. Толкина (в соавторстве). Рассказы публиковались в журналах «Литературная учеба», «Химия и жизнь» и др. Живет в Тулузе (Франция), преподает в местном университете.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 06.06.2018 г. Дата выхода № 7 за 2018 г. в свет 09.07.2018 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.